

"Живу"

Статьи, очерки павлодарского журналиста Юрия Поминова печатались в казахстанских газетах, журналах "Простор", "Нива" и других. Он автор коллективных сборников "Лик земли", "Талант владеть землёй", "Отцовское поле", собственных книг "Крупяной клин", "Помню и люблю", "Характеры", выходявших в Алма-Ате, Акмоле, Павлодаре.

В новую книгу Юрия Поминова вошли новеллы и зарисовки, публиковавшиеся ранее, а также написанные в последние годы и не известные читателю.

В своём творчестве автор остаётся верен главным для него темам - детству, родному краю, людям, с которыми его сводила судьба. В книге также отражены некоторые события нашего далеко не простого времени. Можно сказать, что именно время - один из главных героев новой книги Юрия Поминова "Живу".

Слово к читателю

Всю свою жизнь я пишу одну книгу. Книгу о своей жизни. Она пробивалась во мне тоненьким росточком детских ощущений, памяти о том времени, когда весь мир вокруг был ясен и светел и когда ты сам был неотделим от него, потому что был частью этого мира.

Потом возникла потребность в осознании того, кто ты есть, и, словно сами собой, родились новеллы о близких - бабушках и дедушках, родителях. И у того самого тоненького ростка будто окрепли корни, он мало-помалу стал превращаться в ствол...

Затем на нём прорезались ветви - это была моя собственная полувзрослая и взрослая жизнь, события, в водовороте которых я оказался и люди, с которыми меня сводила судьба...И, наконец, листва - яркие мгновения бытия, без которых жизнь потеряла бы всё своё многоцветие...

Может быть, правильнее было бы сказать так : сама жизнь пишет эту книгу, а я лишь один из участников этого процесса.

Как бы там ни было, оно живёт во мне - это дерево жизни, ещё не старое, но уже и немолодое, разрастается вширь и ввысь, шелестит листвой дней и событий.

Впрочем, каким оно уродилось, судить теперь не мне, а вам - всем тем, у кого в руках окажется эта книга.

Автор.

"Мне кажется, что со временем вообще перестанут выдумывать художественные произведения. Будет совестно сочинять про какого-нибудь вымышленного Ивана Ивановича и Марью Петровну. Писатели, если они будут, будут не сочинять, а только рассказывать то значительное и интересное, что им случилось наблюдать в жизни". Лев Толстой.

Помню и люблю

Такая долгая жизнь

I

Мою бабушку по отцу звали Мария Петровна. Родилась она ещё в прошлом веке, запомнила название деревни - Новое Красивое Село в Ефремовском уезде Тульской губернии. Так что вполне возможно, в детстве она могла видеть самого Льва Толстого...

В начале нашего века, в пору великого переселения, бабушка вместе с родителями оказалась в Сибири. Её память хорошо сохранила это время, а более всего то, как она девочкой жила в услужении у купцов Красноусовых. О тех годах бабушка всегда вспоминала едва ли не благоговейно - похоже, то была самая счастливая пора в её недолгом отрочестве. Хотя, насколько я теперь могу судить по её стародавним рассказам, в той "красивой" жизни хватало всякого. Обязанностей было много, одна из самых неприятных - сеять муку. Красноусовы требовали, чтобы это делалось на самом мелком сите, муки надо было много, а рабочее место - холодные сенцы... В студёные зимы девчоночьи руки, по бабушкиному определению, "заходились" и отказывались держать сито. Она пыталась хитрить, меняя сито на более крупное, но тут же была поймана. "Ах ты, дрянь паршивая" - всякий раз говаривала хозяйка, будучи сильно недовольна прислугой. Но зато никогда не била, непременно подчёркивала бабушка, давая понять, что недовольство было заслуженным, и всегда вспоминала о подарках, которыми Красноусовы одаривали её на рождество - о цветном полушалке, поношенной кофточке, кулёчке конфет и связке баранок.

В 16 лет бабушку выдали замуж, и службу пришлось оставить - Красноусовы держали в прислугах только девочек и незамужних девиц.

Революция, как таковая, в бабушкиной памяти не сохранилась (на все мои расспросы по этой части она отвечала "не знаю" и всякий раз пыталась уточнить: "Это когда царь Николай отрёкся?" Зато ей хорошо запомнилась гражданская война и приход анненковцев (она говорила "анненков отряд"). Всех сочувствующих советской власти анненковцы вывели в лес за деревню, изрубили шашками и, распоров им животы, набили зерном - ешьте, краснопузые... Моего деда, впоследствии секретаря здешнего Совета, среди казнённых, к счастью, не оказалось - бабушке чудом удалось его спрятать в заброшенном колодце...

Коллективизация навсегда впечаталась в бабушкину память незамысловатой деревенской частушкой:

Иванов, Иванов,

Как твои делишки?

Отобрал у нас коров -

Плачут ребятишки!

Иванов был сподвижник деда - организатор первого колхоза, обобществивший весь деревенский скот. Ну, а плакали в ту пору по этому поводу, как мы теперь хорошо знаем, не только ребятишки.

У деда с бабушкой уже ко времени анненковского рейда было двое детей. Потом родятся ещё двенадцать. И всё это время будут уходить из жизни - в младенчестве, детстве и совсем взрослыми. Маленьких косили корь и скарлатина, над взрослыми будто злой рок витал...

Дочь Сару в неполных четырнадцать лет задавила грузовая машина - одна единственная на всю округу.

Сыну Сергею шел девятнадцатый год. Он был красавец, спортсмен. Вся деревня сбегалась смотреть, как Сергей "крутит солнце" на турнике. Однажды сорвался, ударился головой о стылую землю. Отлежался, думали - обошлось... А он заболел в дороге. Сняли с поезда на одной из станций. Там он и умер в больнице, не приходя в сознание. Где похоронен - не известно... Оплакивая его, бабушка уходила в лес, чтобы никто не видел и не слышал, и криком кричала, пока оставались силы и голос.

Сын Никита был глухонемой. Любимец всей деревни, добрая душа, лучший работник в колхозе. Зарезали корову, начали подтягивать её к перекладине, чтобы освежевать. Перекладина переломилась, а Никита оказался прямо под ней... Стал жаловаться на голову, потом слег. Как-то бабушка с дедом собрались ещё затемно на базар и объясняют ему это на пальцах. Он в ответ показывает: возвращайтесь быстрее, а то я умру сегодня - как солнце встанет. И в самом деле - на рассвете умер. В 27 лет.

Сын Фёдор был на год младше Никиты, уже женат. Молотили зимой пшеницу. Фёдор работал наверху, развязывал снопы, подавал их в молотилку. Его нечаянно толкнули, и он упал - головой вниз. Болел, продолжал работать. Однажды совсем занемог - даже к завтраку не встал. Пришёл бригадир звать его на работу, он попытался подняться и не смог... В тот же день скончался.

Сын Виктор, 27 лет, утонул в озере Чаны. Вот как это было. Они - несколько молодых мужиков - переходили озеро по неокрепшему льду. Поднялся ветер и стал ломать лёд. Они бросились к берегу. Виктор почти добежал, когда услышал крик из полыни: "Не бросай, брат!" Вернулся. Протянул товарищу ружьё, вытащил его на лёд. Тот снова провалился, увлек за собой Виктора и уже не дал выбраться ему самому... На берегу всё это наблюдали человек двадцать, но помочь они ничем не могли. Виктор с товарищем утонул в конце октября, а нашли его только в мае. Он, на удивление, хорошо сохранился, а бабушка одно время в эту пору начала заговариваться.

Бабушка пережила и оплакала тринадцать из четырнадцати своих детей. И ещё мужа, без которого она прожила больше сорока лет. Последним бабушка хоронила моего отца, единственного из её детей, прошедшего войну и вернувшегося после победы живым и невредимым... Теперь осталась лишь её младшая дочь, моя тетка, которую бабушка родила в 46 лет.

II

У меня с бабушкой сложились особые отношения. Мне теперь трудно судить, почему так вышло, но факт остаётся фактом: чуть ли не с трехлетнего возраста она всюду таскала меня за собой. Несмотря на свой возраст, она недалеко, но много ездила, и я побывал вместе с ней на некогда знаменитом Купинском базаре, где она в молодости торговала своей несравненной чубаровской ряженкой, цепenea от страха, катался на моторке с каким-то её родственником по неоглядному озеру Чаны; вместе с ней совершил первое в жизни далекое путешествие по железной дороге в Красноярск, а оттуда - в Дивногорск, где буквально в двухстах-трёхстах метрах от её комнаты в обычном городском доме начиналась самая что ни на есть дикая тайга - с настоящим буреломом, жарками и черемшой, чем-то напоминавшей наш дикий чеснок...

Жаль, что воспоминания о тех поездках сохранились бессвязные, отрывочные. Куда лучше помнятся наши хождения за грибами...

Уже тогда моторизованные грибники устремлялись за ними как можно дальше, а бабушка, наоборот, промышляла только в окрестных лесах. Бывало, отогнав в стадо корову, часам к шести утра она возвращалась домой с грибной добычей в завязанном сверху узлом переднике, и я просыпался уже под неповторимый аромат грибной похлебки.

Мне хорошо известно, что сегодняшний грибник привередлив: ему подавай непременно белые, подосиновики, грузди. А бабушка уважала гриб всякий. Она не брезговала почти сплошь ныне презируемыми хрупкими сыроежками, именуя их краснушками, синюшками и чернушками, - в зависимости от того, какой цвет преобладал на шляпке. Волнушки она звала волвешками. Валуи, в зависимости от "сорта", слюнявыми (их жёлтые, бледно-розовые или коричневатые шляпки были покрыты слизью) либо скрипицами (определение удивительно точное - не только крепкая ножка упруго скрипела при срезании, но потом скрипел сам гриб, когда его раскусываешь в готовом виде). Одну из разновидностей сухих степных груздей бабушка называла белянками. Они и впрямь были изумительно белыми, а отдельные экземпляры - даже с легкой голубишной, которая, впрочем, нисколько не портила вид гриба, скорее придавала ему особое очарование. Найдя первую белянку средних размеров, бабушка разрезала ножку на несколько колец и, бережно уложив шляпку в ведро, кольца беспечно отправляла в рот.

- Ты что, отравился! - испугался я, увидев подобное впервые.

- Как же, - засмеялась она и отломала мне кусочек, - попробуй лучше!

Я с опаской пробовал - и тут же выплевывал: сырой гриб мне решительно не нравился. Но бабушка, впрочем, и не настаивала.

Подберёзовики у бабушки были обабками, шампиньоны - их мы собирали прямо в поле через два-три дня после дождя - печерицами. Не часто, но попадался и влажно тяжёлый изжелта-бледный, реже молочно-восковой, ворсистый, настоящий, или сырой груздь... Бабушка почему-то говорила "грузд" (без мягкого знака) и начинала священнодействовать: сразу не рвала, ставила ведро, начинала оглядываться... Мы с ней тщательно исследовали всё пространство вокруг, особенно бугорки под приподнявшимися прошлогодними листьями, и чаще всего находили ещё три-четыре груздочка, а если улыбалась удача - то и с десяток... Любопытно, что не всякий червивый гриб бабушка выбрасывала. Очень часто, обнаружив единственную норку, оставленную в корне или шляпке нашим расторопным конкурентом, бабушка как-то очень ловко вырезала испорченные фрагменты, а оставшуюся часть гриба забирала. Иногда виновник этой хирургической операции, бледно-розовый червячок с красной головкой, обнаруживался сам. Бабушка небрежно выковыривала его, а гриб брала, объясняя:

- Ничего, это косяничник - он не вредный.

... Через час-полтора с полным ведром, а если повезёт - то и с довеском - узелком из передника, отправляемся домой. Тут всякому грибу находится применение: сыроежки пойдут на суп, обабки будут изжарены, а их корни отправятся на сушку, белые (они у нас водились не каждый год, а бабушка их называла попами - наверное, за стать, особую осанку) годятся и на суп, и на жарёху, и на сушку, и на маринад, ну, а уж грузди после первой очистки будут отмочать в воде - потом мыться и чиститься, а потом долго-долго томиться в рассоле под гнётом...

Немного походил я с бабушкой за грибами, а страсть к этому тихому промыслу сохранилась на всю жизнь. И меня, давно городского жителя, не удержать дома, едва только промелькнёт слух о том, что кто-то где-то видел, а тем более рвал первые грибы.

III

Бабушка была верующей. Она знала все главные православные праздники, раньше всегда постилась, на пасху обязательно пекла куличи и красила яйца. Носила простенький крестик, была у неё и икона. Я одно время всё допытывался у неё: как это понять - Христос воскрес. Она, как могла, объясняла: нехорошие люди распяли его на кресте (подробности распятия она упускала и, понимаю теперь, не случайно). А как пришло время его хоронить - он оказался живой и показал пришедшим крашеное яичко - отсюда, мол, и обычай - яйца красить. Впрочем, находясь в нашей сугубо атеистической семье, бабушка никогда не делала никаких попыток приобщить нас, своих внуков, к Богу. Наверное, понимала всю бесперспективность этого занятия.

Бабушка была неграмотной. Учиться ей вовсе не довелось, и она с трудом печатными буквами могла написать свою фамилию. Письма бабушкиным родным писал за неё я. Она говорила, а я записывал, и поскольку бабушка излагала своё житьё-бытьё неспешно, обстоятельно, я (каюсь теперь!) хитрил, спрямляя изложение части событий, сокращая по ходу письма приветы её многочисленной родне. Теперь я уже не в силах воспроизвести бабушкину речь. Но как же хорошо она говорила! Она говорила - как пела. Это был чистый, живой, не замусоренный никакими суррогатами и заимствованиями язык, какого теперь почти не встретишь. Мне не раз приходилось видеть бабушку рассерженной, но никогда не слышал из её уст ругани (хотя её муж и мой дед, Пётр Петрович, которого я совсем не помню, наоборот, был матершинником). И когда живущая по соседству женщина "заводилась" на пьяного мужа:

- И чтоб тебя три грозы гремучих разбило! И чтоб тебя какая-нибудь корючка закорючила! И чтоб ты издох...

- бабушка просто пугалась - по её понятиям это значило гневить Бога. Крайнюю степень недовольства у неё самой выражала фраза, которую мне ни от кого больше слышать не доводилось...

-Кишки-т-твои перемотайся!

Или - реже:

-Кишки-т-твои лопни!

Но ни первое, ни второе, как правило, никому конкретно не адресовалось, а носило отвлечённый характер. Бабушка знала не только свою ближайшую, но и всю дальнюю родню: кто кем кому доводился, кто на ком женат и кто за кем замужем. Было в высшей степени любопытно слушать, как они изъяснялись с моим отцом, называя подчас диковинные, ничего мне не говорящие фамилии, связанные, тем не менее, в некую стройную систему. Чаще всего упоминались Поминовы, Дроздовы, Чурсины. Но были ещё Чубаровы, Даничкины, Кострикины, Шукайловы и великое множество других... Звучали названия деревень, ласкающие слух: Чубаровка, Лягуши, Сергеевка, Мальково, Чумашки... Путешествия отца с бабушкой по густым ветвям нашего генеалогического дерева, как правило, заканчивались разладом: на каком-то этапе оказывалось, что кто-то из них кого-то забыл, что-то напутал, и им приходилось возвращаться в исходную точку...

Когда бабушка вела долгий рассказ, она время от времени делала недлинные паузы, сопровождая их характерным "да-а". А если касалась какой-то очень большой темы, заканчивала неизменным "и-эх-жизнь!" и надолго замолкала, отрешённо глядя в одну точку. Когда я, особенно в далёком детстве, чем-то приятно удивлял, радовал бабушку, она всплскивала руками и восклицала: "Господи ты мой! Милай-сливай!" Я не задумывался о смысле последних слов - думал - это у неё прибаутка такая, и лишь спустя годы понял - так она произносила слово милостивый.

Её руки умели всё на свете. Она пряла, вязала и шила. Долгими зимними вечерами я любил сидеть на скамеечке у её уютно, с переливами жужжащей прялки и наблюдать простой и одновременно непостижимый процесс превращения бесформенных клочков шерсти из кудели в прочную шерстяную нитку, которая несколько дней спустя становилась уже моими носками или варежками. Я до сих пор помню её тончайшие, как кружева, таявшие во рту блины. Она умудрялась испечь хлеб в нашей отнюдь не приспособленной для этого дела домашней печке. Она учила меня лепить пельмени с фигурной бахромой... Она делала ароматную, густую, с коричневатой пенкой - вкуснейшую ряженку. Чубаровская ряженка - так грубовато-нежно

поддразнивал бабушку мой отец. И все мы знали, что он имеет в виду. Именно так когда-то зазывала бабушка покупателей на базаре в Купино, где торговала ряженкой. И этот её чубаровский (по названию деревни) товар всегда пользовался спросом и разбирался очень быстро. Случалось, продав свою ряженку, бабушка выручала соседей, выдавая их продукт за собственный.

Поразительно, что люди это до сих пор помнят. Недавно разговорился со своей городской знакомой. Вдруг оказалось - мы земляки, а сама она из Купино. "Ну, а мои родители из деревни по соседству, - сказал я, - из Михайловки". "Так это теперь Михайловка, а раньше называлась Чубаровка, - возразила она, - её жители торговали у нас на базаре ряженкой, так помню и кричали - чубаровская ряженка, чубаровская ряженка!" ... Нет теперь ни ряженки, ни того базара. Да и сама Чубаровка, то бишь, Михайловка, дышит на ладан...

IV

До 96 лет бабушка жила одна, в своей избушке, сама управлялась по хозяйству. Моя городская квартира, где она провела последние годы жизни, откровенно тяготила её. Но она крепилась, не показывала вида. Пережив всех своих сверстников, она до последних дней сохраняла ясный ум, острую память и поразительный интерес к жизни. Не изменяла своим привычкам: нюхала табак и требовала на рождество рюмку водки вместо предлагаемого ей фужера вина.

Умерла бабушка 14 декабря 1998 года, лишь несколько недель не дожив до 98 лет и не доставив нам, её родным, почти никаких хлопот.

Дед Тимофей и бабушка Акулина

Хорошо помню деда с бабушкой по материнской линии. Дед Тимофей - высокий, кряжистый, строгий. Бабушка Акулина - маленькая, хрупкая, добрейшая душа.

В их молодости бабушку не хотели отдавать за деда. Выдали за другого, из соседней деревни. С мужем бабушке не повезло - он обижал её, без повода ревновал. Однажды в приступе ревности привязал, беременную, к оглобле и рысью погнал лошадь. Была зима, бабушка обморозила колени, а через несколько дней родила мёртвого недоношенного ребёнка.

Родня забрала её к себе. Наш дед сказал своему отцу, что хочет взять её в жёны, но тот почему-то не разрешал. Тогда упёрся "жених" - пять лет не женился, пока, наконец, не добился своего.

Всё это я знаю со слов матери, благодаря которой выжили, когда деда мобилизовали в армию, и бабушка, и трое материных сестёр. Мать была старшей и в 14 лет пошла в колхозную бригаду поварихой. Семья их в ту пору обнищала до крайности.

Когда вернулся дед (никто не знал - жив ли он или погиб), бабушка упала в обморок. Остальные будто онемели. Дед спрашивает мою будущую мать: "Что же ты, дочка, ничего не говоришь?" А она никак не может в себя прийти. "Вот, - отвечает, - на базар собралась фуфайку покупать, денег 1200 рублей скопили..." "На, - говорит дед, - возьми мою..." Он в фуфайке пришёл.

Такая была встреча. Служил дед на Дальнем Востоке и единственное, что привёз с собой, - чемодан китайского шёлка. По тем временам дорогой товар, который можно было выгодно продать. Но бабушка на радостях нашла из него дочерям платьев. Очень красивых платьев, которые через несколько недель "полезли" - дорогой шёлк совсем не годился для повседневной носки.

Мать считает, что этот случай, как никакой другой, характеризует и деда и бабушку, не сумевших распорядиться даже этим единственным богатством, попавшим в их руки. Иногда она в сердцах называла деда с бабушкой неудельными, то есть людьми, лишёнными практической сметки, или, в нашем привычном понимании, - не умеющими жить... Впрочем, это не мешало матери относиться к своим родителям с величайшим уважением и почитать их до самой смерти.

Судя по рассказам матери, жили дед с бабушкой тихо, незаметно. Никогда не скандалили. Тут скорее всего бабушкина заслуга - она ни в чём не перечила деду, позволяя себе лишь изредка незаметно посмеиваться над ним. Правда, и он её не обижал. Однако случалось, возвратясь домой изрядно навеселе, будил среди ночи: "Вставай, Акуль!" - "Ну, чего тебе!" - "А давай, песни поиграем!" Значит, надо было вставать и петь с ним, что она и делала, вероятно, ругая при этом деда в душе последними словами. Любопытно, что и сам он, будучи трезвым, никогда не пел.

У деда с бабушкой, в небольшой - в одну длинную улицу - сибирской деревне Чубаровке, я проводил каждое лето. И память хорошо сохранила их всегда чисто выбеленную избушку с плоской пластяной крышей и глиняным полом (раз в неделю бабушка его обязательно мазала); наполовину вросшую в землю крошечную баньку; ветхий плетёный сарай с крутобокой коровой и обязательным ласточкиным гнездом на столбе, державшем крышу сарая; нежнейшую траву-мураву, расстилавшуюся от самого порога, и огород с цветущей картошкой, сбегаящий вниз, к пересыхающему озеру...

Помню немудреные бабушкины угощения, вкусный терпкий запах дедова самосада - он сам растил табак, рубил в деревянном корыте, сушил.

Помню, как басовито, тревожно и гулко гудели провода в Чубаровке, когда приложишь ухо к высушенному до звона, нагретому солнцем столбу.

Помню посвист любопытствующих сусликов и то, как смешно, подбрасывая зад, они улепетывали к себе в нору.

Помню развалины старых саманных домов - где-то на задах единственной Чубаровской улицы. Меня почему-то тянуло к этим полуразрушенным, заросшим травой саманушкам. В их щелястых выветренных стенах селились воробьи и трясогузки, они очень тревожились из-за каждого моего прихода.

Хорошо было у деда с бабушкой. Но я всё равно скучал по дому. Я находил открытое место и часами смотрел - не идёт ли в сторону Чубаровки с Хомичевой гривы машина. Машины шли редко - и всё мимо... Мне кажется, то были не худшие годы для деда с бабушкой. Дети выросли, худо-бедно определились, вот уже и внуки наезжают на лето. Наверное, мы им, оставшимся вдвоем, нужны были в ту пору не меньше, чем они нам... Но и мы вырастали и все реже навещались к ним, не понимая, как дорог им каждый такой приезд...

Бабушка умерла первой. Умирала в страшных муках - последние несколько месяцев не вставала с постели, плакала, просила, чтобы мать отравила ее - избавила от мучений... Как все же несправедлива бывает судьба к человеку: в своей жизни бабушка видела очень мало хорошего - неужели она хотя бы легкой смерти не заслужила?

Оставшись один, дед не захотел пойти ни к кому из детей. Жил сам. Утром выходил из дома, садился на завалинку, встречая и провожая всех проходивших мимо. С кем-то перебрасывался одной-двумя фразами, с кем-то просто здоровался. Ему этого было достаточно - он был у себя дома, на своей земле.

В последний раз мы навещали деда Тимофея втроём: старший брат Шурка, я и младший, Петька.

Строговатый, не очень ласковый дед, не привыкший выставлять напоказ свои чувства, был искренне рад нашему приезду. И не скрывал этого - наверное, чувствовал, что больше с нами тремя ему вряд ли доведется побывать.

Иногда, желая обратиться к одному из нас, он окликал другого, но поправляясь, снова ошибался и тогда у него выходило:

- Шурк-Юрк-Петьк!

Он смеялся:

- Совсем запутался с вами...

И мы смеялись: нам очень нравилось это наше тройное имя.

... А хоронить деда из нас троих довелось одному Петьке...

О матери

Хочу рассказать о матери. Это непростая задача. О своём детстве мать вспоминать не любит из-за его беспросветности. Помню, она всегда спорила со свекровью, моей бабушкой, когда та начинала говорить, что "старая жизнь" была хорошая. Тут, наверное, дело в том, что родственники по материнской линии - Чурсины - всегда жили беднее отцовых - Поминовых. И ещё в том, что бабушкина юность пришлась на дореволюционную пору, когда крестьяне-переселенцы из Центральной России успели хлебнуть вольной жизни в Сибири после Столыпинской реформы. А мать родилась уже в пору коллективизации - то было время великого перелома со всеми его прелестями. К тому же её отец, мой дед Тимофей, колхозную идею не принял, остался единоличником. Приличного хозяйства деду, разумеется, создать не удалось (кому это в то время удавалось?), жили Чурсины (а по деревенскому Красновы) беднее бедного, из нужды не выбирались. Валенки были в семье одни на всех. И мать, старшая из четырёх сестёр, собиралась изредка зимой к подружкам на вечерку, одевала вместо них дедовы лохмашки - что-то вроде рукавиц из собачьей кожи... Отцов брат Михаил, сам познавший беспросветную нужду и единственный из родни "выбившийся в люди" (служил в соседнем Алтайском крае в милиции), решил во что бы то ни стало избавить от этой жизни племянницу. Около года мать прожила в его немногочисленной семье в Славгороде, училась в школе. Жилось ей тут не слишком сладко (не жаловала тетка), но посытнее, чем дома. Запомнила, как приезжал ее дед, отцов отец Алексей - с коровой, чтобы подкормить внучку. Мать пасла ее в посадках вдоль железной дороги. Может быть, и прижилась бы тут, но началась война, и вскоре после того, как дядю Михаила призвали, тетка, сославшись на то, что одной ей племянницу содержать будет трудно, отправила мать домой.

Так и закончилось ее недолгое (до 7 класса) учение, а вместе с ним и мечта о "другой" жизни.

Летом 1942 года, в сенокос, привезли повестки 17 чубаровским мужикам, в том числе и деду. Это были последние мужчины в деревне - до этого в 1938 году забрали их сразу человек пятнадцать. Ночью. Взяли даже деревенского дурачка Федю Попова. Он имел обыкновение, забравшись на крышу, кричать: "Мужики, японцы идут!" Может, за то и пострадал. Что с арестованными стало, никто не знает: ни писем, никаких других вестей от них не поступало. И ни один обратно не вернулся...

Любопытная деталь: повестки деревенским мужикам привезли ближе к обеду, а вручили только вечером. Они работали на покосе, и нельзя было допустить, чтобы полдня у них пропало. Всё продумали: ночь - на провода, а утром - в военкомат...

Из тех мужиков после войны тоже мало кто вернулся. Деду Тимофею, материному отцу, повезло по одной единственной причине - из-за слабого здоровья в действующую армию не попал - всю войну пробыл на Дальнем Востоке, при лошадях. Но родным от этого было не легче - писать дед не умел, письма приходили редко (в лучшем случае два - три раза в год), не раз думали, что сгинул...

Возвращение его домой было для семьи столь неожиданным, что бабушка потеряла сознание. Матери в подарок досталась дедова фуфайка - он в ней вернулся.

Выжила вся семья благодаря моей матери. Она, оставив учёбу, пошла работать в колхозную бригаду поварихой. Готовила на 60 человек. Одна. Уматывалась - едва с ног не валилась. Зато тут и хлеб был. Сама ела, да когда-нибудь бригадир сунет буханку: "Бери, Тоньк, своим..." Знал - голодают, и она брала, потому что "свои" хлеба почти всю войну не видели: бабушка была не работница, все болела, а три сестры - мал-мала меньше... Еще, случалось, прихватывала зерна в карманах... Это считалось смертным грехом: как раз в ту пору двум колхозным девчонкам, чуть постарше матери, дали - одной восемь, другой - десять лет. Счет был простой: по году за каждый килограмм... Бабушка плакала: "Поймают тебя - повешусь..." Бог миловал... Саша кормилица уработывалась так, что, придя раз-два в неделю домой, засыпала за столом. Главной едой

была картошка, которая в войну, как назло, не родилась - горох и горох... Варили ее чаще всего в "мундире". Чтобы быстрее накормить мать, младшие сестры Нинка с Каткой помогали ей чистить эту картошку: они чистили, а она ела, тут же засыпая... Любопытно, что одна из сестер - Нина - до сих пор зовет мать нянькой - как в детстве...

Потом и война кончилась, дед вернулся, а жизнь лучше не становилась. Заболела вторая после матери по возрасту сестра - Зоя. Лечили от сердца, а оказалось туберкулез. Пока дошла очередь на рентген (год стояли!), было уже поздно - в легких образовались огромные каверны. Ей требовалось хорошее питание, дед, бывало, проработав день, по всей ночи охотился неподалеку от деревни на Кегевом озере... Иногда приносил чирка, реже крякву, а зачастую приходил ни с чем. Младший из детей, единственный сын Николай, доглядывал за больной сестрой утиные косточки. Бабушка плакала, боялась, что и он заразится, но больше кормить последыша было нечем...

Когда Зоя умерла, поминальный обед сделали из бараньих голов (больше не из чего было), и мать с тех пор их видеть не может. Даже в традиционном казахском бешбармаке...

Николай же вырос на загляденье, один из всей семьи выучился. Вот, только живет теперь далеко, за Полярным кругом, и письмами сестер не балует.

Словом, матери есть от чего не любить и свое детское, и свое девичье прошлое - так мало было там хорошего...

Не удавалось выбиться из нужды и в первые годы замужества. В поисках лучшей доли мой отец несколько раз менял место работы и жительства. Пошли дети, а своего угла у семьи все еще не было...

Наша старшая сестра Люба умерла, не дожив до пяти лет. По материному выражению, "её скарлатина задавила". Жили так бедно, что хоронить девочку оказалось не в чем. Тогда взяли наволочку с подушки, бабушка (отцова мать) распоролла её и сшила из белой материи платице. Но покойницу надо было ещё и чем-то укрыть. И тогда взяли занавеску. Это были обычные бинты, скреплённые между собой нитками (в целях экономии материала и для того, чтобы придать занавескам "эстетичный" вид). Из занавески и сшили смертное покрывало. Потом, правда, кто-то из родни принёс платок - ещё и им накрыли...

Если и есть у матери какие-то светлые воспоминания, то они чаще всего связаны с её дедом (а моим прадедом) Алексеем. Он любил мать, выделяя её из других внучек, жалел. В трудные минуты жизни защищал и поддерживал. Я его, кстати, немного помню - небольшой, иссушенный годами, седой, как лунь... Он совсем недолго не дожил до ста лет. В последние годы сильно ослабел, но не пропускал ни одной бани, куда его водил сын, мой дед Тимофей, и парил...

Дед Алексей поболел перед смертью дня три. Сказал дочери, у которой жил: "Полька, ты сбегай за Тимошкой, я сейчас помирать буду..." - "Да ты что, пап?" - "Беги быстрее, а то не успеешь..." Она к деду Тимофею.

Пришли, а их отец и вправду умер.

Теперь и сама тётка Полька умерла. К ней мать тоже до последних дней испытывала чувство благодарности и очень переживала, что не смогла похоронить. Та ей наказывала: "Ты, Тоньк, смотри, приезжай меня хоронить, а то по мне и плакать-то некому будет..." Мать обещала, но не смогла и сильно из-за этого горевала...

Свой дом мать с отцом занимали, уже нажив нас троих, на целине. Это был не слишком просторный камышитовый дом из трёх комнат, в котором все мы выросли. Теперь его нет - остались одни развалины. Мать, пока мы были малы, сидела дома. Потом начала работать - как-то надо было сводить концы с концами. С группой других совхозных женщин она выполняла разные хозяйственные работы. То есть они были разнорабочими: летом пололи картошку, ухаживали за садом, чистили и ремонтировали животноводческие помещения, осенью перелопачивали зерно на току. Зимой самой "выгодной" работой была разгрузка вагонов с углем. Вагоны приходили на ближайшую от совхоза железнодорожную станцию Мынкуль, и четверо женщин уезжали туда на целый день. Это была адова работа, на которой не всякий мужик выдержит, а некоторые женщины (и мать в том числе) за неё охотно брались - тут были самые высокие расценки, и за каждый разгруженный пятидесятитонный вагон им начисляли по шесть рублей 40 копеек - почти трёхдневный обычный заработок...

Как-то зимой не пришла на станцию машина, чтобы увезти их обратно. И они вчетвером - у всех были маленькие дети - рискнули пойти пешком. 15 километров - не так уж много, им приходилось одолевать и больше. Но они не учли того, что целый день работали, что было минус тридцать и что ветер, как всегда бывает в подобных ситуациях, оказался навстречу... Уже к середине пути они поняли, что могут не дойти... Но поворачивать обратно было поздно. И они пошли дальше, плача на морозе от бессилия. Они шли, держась за руки и не давая друг другу упасть, и всё-таки дошли - уже под утро...

Полегче матери стало много позже: она выучилась на ветеринарного санитаря и одно время даже исполняла обязанности ветеринарного техника. Хотя это тоже была работа без выходных - без проходных: днем и ночью к ней домой шли как к Айболиту - у кого-то заболела корова, у кого-то свинья, у кого-то лошадь, а мать никому не отказывала.

Когда мать вышла на пенсию, мне стоило больших трудов уговорить ее перебраться к нам в город. Первое время она скучала, плакала, готова была вернуться. Потом привыкла.

Со временем в Павлодаре образовалась целая колония бывших совхозных жителей. Они регулярно созваниваются, обмениваются новостями, стараются быть вместе и в радости, и в горе.

Что же касается нашей семьи, то мать - душа ее. И этим все сказано.

Моя мать- человек особого дара. На все случаи жизни у неё есть своя поговорка или поговорка, присловье или присказка. И мне кажется, что это тоже по-своему характеризует её, как истинно русскую мудрую женщину, немало повидавшую в жизни, а потому хорошо знающую, что в ней почём.

* * *

Семья у нас была по деревенским меркам средняя: двое взрослых да четверо детей. Главной пищей на зиму считалась картошка, и садить её полагалось много. Впервые приехав в поле уже как работник, я оббежал по периметру наш участок в двадцать соток и не утерпел:

- Неужели мы всё это выкопаем?

И услышал в ответ материно:

- Глаза боятся - руки делают.

И сколько же раз в жизни так бывало: приступая ко всякой большой работе, думал - ни за что не осилить. Но как-то так выходило, что картошка пропалывалась и выкапывалась, воз сена и соломы наполнялся, а гора берёзовых дров оказывалась перепиленной и переколотой...

И в университет оказалось возможным поступить, и закончить его - тоже... И всякое новое дело, за которое брался с неравнодушным сердцем, оказывалось по силам...

Как всё бесконечно просто, бесконечно мудро. И теперь уже я говорю своим детям в минуты жизни, когда они родеют (или ленятся) перед значительной для них работой:

- Ничего: глаза боятся - руки делают.

* * *

В субботу у нас по распорядку генеральная уборка. Обязанности давно распределены: жена стирает, я иду на рынок и в магазин за продуктами, старшие сыновья, поделив комнаты, моют в них полы. Димка обычно заканчивает первым. Иногда мать устраивает ему инспекторскую проверку и, найдя огрехи, начинает стыдить:

- Дима, ну разве так моют - нарочно?

- Да я мыл, баба, - канючит он, - мам, скажи...

Тут же следует бабушкино железное:

- Моим глазам свидетелей не надо!

И брак приходится переделывать.

* * *

Сидим за столом. На ужин у нас "непопулярная" у детей пшенная каша. Младший, Пашка, бросает на бабушку умоляющие взгляды, её сердце не выдерживает:

- Ладно, иди возьми в холодильнике сметану...

- А сметана домашняя или магазинная? - он почему-то предпочитает магазинную.

Мать - к слову - спрашивая у воображаемого собеседника и ему же отвечая:

- Лежень-Лежень, на яичко!...

- Да кабы лупленное...

* * *

Димка у нас единственный из всех сыновей смуглый. Вот он помылся в ванне (как всегда наскоро), и жена начинает его подозрительно осматривать - хорошо ли промыл уши, чистые ли руки... Он обижается, уворачиваясь от неё.

Мать добродушно:

- Да ладно обнюхивать - черного кобеля не отмоешь добела.

Эту поговорку приходилось от неё слышать и по другому поводу. Её дальняя родственница приняла обратно своего бывшего мужа - шалопая и забулдыгу - и убеждала мать, что он стал другим человеком. Вот тут-то мать и произнесла опять эту фразу.

* * *

Про людей, не умеющих устроить свою жизнь. не приспособленных ни к какому ремеслу, всё делающих по принципу "тяп-ляп", мать говорила так:

- Неудельное дерево!

Или ещё так:

- Эх ты, родила тебя мать, да не облизала!

* * *

К старшему сыну пришли друзья. Акселераты - один здоровее другого.

Мать тут же отреагировала:

- Ну и дети пошли: в зад плюнуть - и то не достанешь.

Вообще же говоря, эта часть человеческого тела фигурирует в её образной речи довольно часто. Так, например, одну мою городскую знакомую, легкомысленную и ветреную, мать охарактеризовала так:

- В поле ветер, в ж... - дым!

* * *

- Разуй глаза - обуй лапти.

Это её частая реплика в ответ на поиски кем-то вещи, лежащей на самом видном месте.

* * *

Про человека, попавшего меж двух огней и вынужденного с этим мирится:
- Богу молись и черта не гневи!

* * *

Приехала родственница, рассказывает матери о несчастьях своего сына: только устроился работать шофером
- попал (не по своей вине) в аварию, долго лежал в больнице, выписался - сократили, теперь вот осталось полгода до армии, а на работу нигде не берут...
- Это уж так, - вздыхает сочувственно мать, - как бедному жениться - так и ночь коротка.

* * *

Про общую знакомую, живущую вполне благополучно, однако вечно сетующую на несуществующие болезни, трудности жизни:
- То хромая, то с родин (т.е. после родов), то кривая - глаз один.

* * *

Классе в шестом я устроился на работу - полоть лесопосадки. Вставать надо рано - в полшестого, а не хочется. Мать тормозит, приговаривая:
- Вставай, вставай... Кто рано встает - тому Бог дает.

* * *

Встретил в городе совхозную материну подругу: на лицо помню, а фамилию забыл напрочь. Дома пытаюсь матери обрисовать ее, но безуспешно - она никак не поймет, о ком речь...
- Ну, вроде твоей двоюродной сестры, - делаю последнюю попытку.
- Ну, да: вроде Володи под вид Кузьмы, - тут же откликается она.

* * *

- Ешьте, дети - хватай кум!
Это одна из присказок, наиболее часто употребляемых матерью за столом, когда она видит, что мы не страдаем отсутствием аппетита и мигом сметаем все, что попадает. По-моему, фраза не нуждается в особых объяснениях: вполне ясно, каковы дети и как следует вести себя куму, чтобы не остаться голодным. В случае, если кто-то из внуков сидел за столом с брезгливо-надутым или обиженным видом, мать говорила так:
- Губа толста - брюхо пуста...
То есть будешь дуться - можешь остаться голодным, ведь в крестьянских семьях ели из общей чашки. Бывало еще так: кто-нибудь отнекивался, не садился за стол, а потом ел с завидным аппетитом. Мать в таких случаях добродушно комментировала:
- Вот так это и бывает: нехотя зять у тещи поросенка съел.
Или вот еще - про отменный аппетит:
- Наша невестка все трескает - мед и тот жрет!
Не любит, если кто-то занимает ее место за столом. Всегда говорит:
- С чужого коня - середь грязи долой!

* * *

Мать признает только близкую родню, с которой поддерживает связь, чем может, ей помогает. Бывает, кто-то с явным преувеличением говорит о своих родственных чувствах к родне дальней, а она знает, что это неправда. Подобную степень родства оценивает так:
- Мы с ним такая родня: у него плетень горел, а я руки грел.

* * *

О близком человеке, бездарно потратившем жизнь:
- Прожил - как за пнем высрался.
Убийственная характеристика.

* * *

Димка у нас невысок, щупловат. Но зато легкий характером, незлобив, отходчив. Мать, видя, как он подчас нарочито бодрится, с удовольствием констатирует:
- Худому горе не вяжется.

* * *

Иногда мне кажется, что у нее есть присказка на все случаи жизни.
Вот я опять пришел с работы не в лучшем виде - проблемы, нелады с начальством. Она - между делом:
- Не горюй: не отпадет голова - прирастет борода.
И вроде полегчало.

* * *

Всю жизнь прожив в селе и только на склоне лет волею судьбы оказавшись в городе, мать недолюбливает тех деревенских, кто "строит из себя" городских, говорит:

- В конюшне сидят, а по-горничному кашляют.

* * *

О человеке незначительном, мелком и тем не менее подчеркивающим свою значимость, вес, влияние, образованность:

- Не вошь кусает, а гнида!

При этом "вошь" звучит в ее устах как "увошь". Но та же самая фраза могла адресоваться и нам, ее близким, когда в каких-то случаях нам изменяло чувство меры или кто-то явно преувеличивал свои достоинства и заслуги.

* * *

О любом, на ком хорошо сидит одежда:

- Нашей Кате всё кстати.

* * *

Кто-то из внуков допытывается:

- Баб, а ты помнишь, ба, ну помнишь, ты говорила...

Она, или вправду забыв, или не желая говорить на эту тему:

- Я столько помню - сколько ты забыл...

* * *

Внуки препираются, показывая ей, что один опростоволосился меньше другого.

Она отвечает им такой репликой:

- Ну, кум и раздолбай: как только корову продал, у него сразу деньги украли, а у меня - только к вечеру...

* * *

После телевизионной передачи об очередной презентации, где "новые" русские именуют друг друга господами, мать вздыхает:

- И-эх, господа, вы, господа - засратые...

* * *

Пришла соседка, о чём-то рассказывает, ругает сына, попавшего в очередной раз в неприятную историю.

Мать, желая её успокоить или не вполне разделяя возмущения:

- Ну, ты это не скажи: на грех мастера нет.

То есть не горячись и не зарекайся: жизнь - штука такая, любой может оступиться, сам того не желая.

* * *

Друг отца, дядя Саша Агеев, пришел как-то к нам, чтобы "раскрутить" куму на опохмелку.

- Что, кум? - подшучивает над ним мать. - В голове шумит, а в кармане тихо-тихо?!

* * *

Сидим за столом. Завтракаем. Мать что-то пригорюнилась и к еде не притрагивается.

- А ты почему, баба, не ешь, - спрашивает младший внук Пашка.

- Ешь, пока рот свеж, - тут же отвечает она, - а завянет - и собака не заглянет.

* * *

Купили Пашке на барахолке китайские кроссовки. С неделю поносил - стали разваливаться. Мы с женой сокрушаемся - мать посмеивается: "Так вам и надо - дешевая рыбка - поганая юшка.

То есть не экономьте там, где не следует.

* * *

Пришла в гости материна подруга, рассказывает о последних совхозных новостях. Одно из известий - о том, что их общий знакомый, уже в годах, снова женился - вызывает у матери особое возмущение.

- Ну, ты посмотри: у него уже пол гроба из зада торчит, а тута же!.. - сердится она.

* * *

- Мать с кем-то говорит по телефону. Видно, ей жалуются. Мать, похоже, соглашается, вздыхает:

- Это уж так: скажешь правду - потеряешь дружбу!

* * *

Димка по какому-то поводу пререкается с бабушкой. И каждая сторона, похоже, стоит на своем.

- Как ты не понимаешь, баба, она же крепкая, - убеждает Димка.

- Крепка тюрьма, да черт ей рад, - тут же следует в ответ.

Пашка мастерит из бумаги самолет. Режет, клеит, сопит, торопится... Что-то у него не выходит - надо браться

заново.

Мать - как бы между прочим сама с собой:

- Акуля, что шьешь не оттуля?

- А я, маменька, еще пороть буду.

* * *

Жена утром собирается на работу:

- Какой сегодня день? Неужели среда?

Мать ей в тон:

- Среда подошла - неделя прошла.

Записки о моём отце

Не без душевного смятения приступаю я к этим строкам. Об отце хочу написать давно, но одолевали и одолевают сомнения. Достаточно ли я его для этого знаю? Смогу ли сказать то, что хочу сказать? Имею ли на это право? Что, наконец, движет мною?

Во всяком случае, не чувство вины и не запоздалое раскаяние... Мне кажется, что отец считал свою жизнь не вполне удавшейся. Так это или нет - не мне судить. Моя задача куда более проста: я хочу рассказать о близком человеке, о той части его жизни, что успела открыться мне и некоторым другим.

Я не буду ограничивать себя никакими жанровыми рамками, не буду заботиться о сюжете и композиции. Я буду писать, как будет писаться. И пусть напишется - как напишется...

У отцовской матери, моей бабушки - Поминовой Марии Петровны - было 14 детей. Отец родился двенадцатым. Бабушка пережила почти всех своих детей. Отец был тринадцатым из них, кого она схоронила. Единственный из всех он прошел Великую Отечественную и вернулся с неё живым и невредимым, если не считать контузии. Многочисленные дядьки и тётки не дожили до моего рождения: они умирали в младенчестве и детстве, трагически погибали взрослыми...

Как бабушка пережила всё это и, сохранив рассудок, дожила почти до 98 лет, моему уму непостижимо.

Теперь в живых из прямой отцовской родни осталась одна моя родная тётка - Людмила Петровна, которую бабушка родила в 46 лет.

Я мало что знаю об отцовском детстве. Бабушка рассказывала, что он долго не говорил. Думали - будет, как его брат Никита, немый. А он лет в пять начал - и сразу с мата. (Тут, видно, сказалось влияние отца, Петра Петровича, отъявленного матершинника.) Разумеется, радости в доме по поводу прорезавшегося у отца голоса было куда больше, чем огорчения в связи с тем, что он сказал...

Учиться отцу почти не пришлось: он закончил всего четыре класса начальной школы. Впоследствии, ведя с нами, почти взрослыми, умные разговоры на особо сложные политические и иные темы, он всячески подчёркивал это обстоятельство: чего, мол, с меня взять - у меня четыре класса образования. Тут он слегка лукавил, поскольку был человеком весьма начитанным. Страсть к чтению у него осталась со времени первого ученичества. Зачастую именно в их избе собирались мужики и просили: "Почитай, Митьк!". И он читал по несколько часов к ряду - газеты, брошюры, книжки. Почти сплошь неграмотным мужикам (не знала грамоты и сама его мать, моя бабушка) это было в диковинку, и засиживались они допоздна. Одиннадцатилетний грамотей читал при керосиновой лампе до рези в глазах. Мужики отчаянно дымили самосадом, и это не считалось предосудительным... Всякий раз дело кончалось тем, что бабушка, видя, что отец вот-вот заснёт прямо за столом, закрывала "избу-читальню", чувя не выталкивая мужиков на улицу. ("Продымили всю избу, анчихристы, - хоть топор вешай, и ребёнок вуть измаялся..." Так или примерно так она при этом приговаривала - сама много позже вспоминала.)

После "четырехлетки" отцу еще раз довелось поучиться - незадолго перед войной - в Колывани, под Новосибирском. Учился на продавца. Тут, вероятно, сыграло свою роль бабушкино представление об этой профессии - как об одном из самых почетных человеческих занятий. Дело в том, что несколько лет до революции, еще девчонкой, бабушка провела в услужении у местных богатеев - купцов Красноусовых. Они держали несколько лавок, в одной торговал их сын Константин (меж собой родители-Красноусовы его называли Котей), облик которого и впечатался в бабушкину память как образец для подражания. (Во всяком случае, в ее рассказах мне о том периоде своей жизни, который был, безусловно, самым ярким и впечатляющим в ее недолгом отрочестве, Котя фигурировал непременно).

Потом очень недолго отец успел проработать продавцом (или помощником продавца), но, судя по всему, это дело вряд ли пришлось ему по душе. У меня самого эта недлинная часть его жизни ассоциируется с одним его воспоминанием - о том, как он в первый день своей работы в новом качестве объелся конфет - "подушечек" и потом несколько месяцев на них смотреть не мог...

Ещё отец недолго учился перед войной в Томском кооперативном техникуме. Попав в этот город спустя сорок лет (заехал к сыну, моему младшему брату Петру, студенту здешнего университета), узнал в городе это самое место и даже дом, в котором был техникум. Брат потом долго поражался: обошли несколько соседних домов, всё спрашивали у местных жителей - был тут кооперативный техникум или нет - и никто не знает. Пока наконец одна древняя старуха не подтвердила: да, был именно в том доме...

Такой отец обладал зрительной памятью и памятью вообще.

Действительную отец служил на Дальнем Востоке, в частях, кажется, морской пехоты. Оттуда же, в самом конце 1942 года, их часть была переброшена на фронт. Деревня Чубаровка, в которой жила семья отца,

находится в нескольких десятках километров от стоящей на Транссибирской магистрали узловой станции Татарская. (В разговорах меж собой отец с бабушкой всегда называли её Татаркой). Составу, в котором ехал на фронт отец, её никак было не миновать. Он успел написать об этом бабушке, и она целую неделю дневала и ночевала здесь, встречая все проходящие поезда. Но отца так и не повидала: их состав проследовал Татарскую без остановки...

О фронтовой жизни отца разговор особый. Тут скажу лишь о том, что войну он закончил в Восточной Пруссии и вернулся после победы домой с тремя главными трофеями: наградным именованным пистолетом, цейсовским артиллерийским биноклем и финкой в ножнах с яркой наборной ручкой. Пистолет вскоре пришлось сдать в военкомат. Отец после фронта какое-то время работал председателем колхоза. Но поднять порушенное, доведённое до ручки за годы войны хозяйство ему оказалось не под силу, к тому же от сильной нагрузки стали проявляться последствия контузии - обострились головные боли, появились приступы необъяснимой ярости, иногда ни с того ни с сего он засыпал днём, сидя за столом... Решил пистолет сдать - от греха подальше. Кстати говоря, отец всегда очень жалел о том пистолете - видно, он был дорог ему как память о фронтовой жизни. А финку потеряли мы со старшим братом Шуркой, играя где-то возле дома. Долго искали, но так и не нашли. Теперь остался только бинокль, который хранится у меня дома, и чаще других его просит посмотреть мой младший сын Пашка, вообще не знавший деда, - он родился уже после его смерти. Вскоре после войны отец женился на нашей будущей матери. Мать однажды рассказывала о том, как они оказались вместе на Купинском базаре, и отец - в знак расположения, или это была форма ухаживания - великодушно предложил: "Купить тебе конфет?" - "Ну, купи", - согласилась она...

Ухаживание, вероятно, было недолгим. Да и чего было, спрашивается, выбирать, особенно матери: фронтовик, хорош собою, статен, к тому же язык подвешен как надо... Впрочем, и она была не из дурнушек... Но вышло так, что мать пришлась Поминовым как бы не ко двору. Дело тут, вероятнее всего, в бабушке, Марии Петровне: их семья, несмотря на свою многочисленность, небедствовала. Дед одно время работал на маслозаводе, а это было сытное место; бабушка была рукодельницей, полдеревни обшивала - словом, как-то выкручивались. Другое дело - материна семья. Чурсины жили беднее бедного - бабушка Акулина все время болела; когда деда Тимофея мобилизовали, старшей из четырех дочерей - матери - едва исполнилось 14 лет... Пять лет без отца... Обнищали совсем - на всю семью оставались одни валенки. Как говорит моя мать, ее свекровь и моя бабушка считала Чурсиных не ровней Поминовым и в душе была убеждена, что ее сын, красавец и фронтовик, достоин лучшей пары.

Но сами молодые, мне кажется, считали иначе. Наверное, им думалось, что счастье у них в руках, или, во всяком случае, совсем рядом.

Отец с матерью поженились в 1948 году. У них не было своего жилья, почти ничего - из вещей, зато был велосипед. На нем они иногда по воскресеньям ездили из Чубаровки в Купино.

Ехали они так: отец доезжал до макушки гривы (так здесь называют возвышенную часть складок местности) - чтобы видно было оставленный велосипед - и дальше шел пешком. Мать, добравшись до велосипеда, садилась и ехала вперед, обгоняя отца, затем оставляла велосипед ему... Так они, меняясь по несколько раз, за час с небольшим одолевали восемь километров, разделявших Чубаровку и Купино. А уж по нему шли вместе, отец просто вел велосипед... Точно так же возвращались обратно.

Мне за этим нехитрым способом передвижения видится теперь нечто значительное, романтическое... Куда потом это все подевалось?

... Мне как-то не пришлось говорить с отцом о том, какие чувства он испытывал, возвращаясь с войны, какие строил планы. Но ведь это и так, в общем-то, ясно. Фронтовики возвращались со страшной из войн - победителями, и особенно те, кому посчастливилось избежать серьезных ранений, наверное, видели себя настоящими хозяевами жизни. В самом лучшем смысле этого слова. И отец тут вряд ли был исключением: главное цел и невредим, есть голова на плечах, все самое страшное позади, теперь только жить и жить... Что же касается матери, то, кроме всего прочего, она, вероятно, связывала с замужеством надежду выбраться из той крайней нужды, в которой до сих пор находилась...

Но жизнь у отца с матерью, похоже, сразу "не пошла". С председательством в колхозе пришлось расстаться, дома (а жили молодые сначала у родителей отца) тоже мира не было - свекровь донимала невестку... Решили уехать. Но нигде долго не задерживались. Хотя уже и дети пошли. Старшая дочь, Люба, не дожив до пяти лет, умерла. (Мать говорила так: "Скарлатина ее задавила".) Потом родился Шурка, спустя три года - я, оба в совхозе "Купинский" Новосибирской области. Через полтора года сестра Наташа - в деревне Окуневке Омской области. Уже по этим адресам можно судить, что отцу на месте не сиделось - не мог он себе найти подходящее занятие. А мать с нами тремя мыкалась, мотаясь за ним - своего собственного угла у них все еще не было.

И тут грянула целина.

Хотя отец к этому времени был уже по горло сыт романтикой (последним местом его работы была нефтегазоразведка), решил рискнуть еще раз. Мать, впрочем, считает их десант на целину своей заслугой: мол, надоело колесить, жить на чемоданах, мотаться с места на место...

Так отец в начале 1955 года с комсомольской путевкой оказался на месте будущего целинного совхоза "Михайловский" Павлодарской области. А через несколько месяцев прибыла и мать с нами. Отцу по этому поводу (а он к тому же был и незаменимым специалистом - радистом) дали палатку. Правда, ее скоро забрали, и нам всем довелось какое-то время жить в шалаше. Мать часто вспоминает, как я по утрам искал солнышко, чтобы согреться; а отец - как мою сестру Наталью заедали комары - глаз не могла открыть. Так что мы тоже хлебнули прелестей целинной жизни.

К первой зиме выстроили землянку - пластанку. А уже ко второй зашли в камышитовый дом, в котором мы

вместе прожили больше 20 лет. Тут уже и наш младший брат Петька родился...

* * *

Я не помню, чтобы отец когда-нибудь играл с нами, когда мы были маленькими. Наверное, потому, что этого не было. С нами больше занималась мать, а когда она стала работать, мы росли сами. Я думаю, с нами - маленькими - отцу просто было неинтересно.

Мне почему-то помнится лишь одна сказка, которую он, будучи в наилучшем расположении духа (или слегка под градусом), рассказывал детям - и своим, и чужим. Это история о том, как козел ходит "по ельничку - по березничку" и спрашивает у всех попадающихся ему животных: "Ах ты, зверь, ты зверина, ты скажи свое имя - ты не смерть ли моя, ты не съешь ли меня?". Пока кто-то (уже не помню - кто) так и не заявляет козлу: "Я смерть твоя, я съем тебя", - после чего ему удается сбежать.

Это осталось в памяти, и совсем недавно я задался целью выяснить, откуда эти строки, чьи они? И среди многочисленных книжек своих детей обнаружил: оказывается, это русская народная песенка в обработке Корнея Чуковского...

Любопытно, что к нашим детям, своим внукам, отец относился уже по-другому. Чего тут было больше - проснувшегося зова крови или нерастроченной доброты, мне судить трудно. Но отец, одного взгляда которого было достаточно для того, чтобы нас в детстве как ветром сдувало из-за стола (считалось почему-то, что у него тяжелый взгляд), ложился среди комнаты на пол, и мои Данька с Димкой по нему с удовольствием лазили. Димка, тот просто любил отдохнуть, лежа на дедовом внушительных размеров животе.

Как-то отец был в гостях у моего старшего брата. Сноху решили отпустить в кино, а сами посидеть мужской компанией - друзья брата пришли познакомиться с отцом. Только выпили по одной - запризничала недавно родившаяся, еще грудная Тонька, Шуркина дочь. Компания была солидная - все отцы семейств, Тоньку передавали с рук на руки, но она расходилась так, что с ней не было никакого сладу.

- Эх, вы, отцы, придется деду спасать компанию, - вздохнул отец и... лег на пол, - давайте ее!

Тоньку положили ему на живот, и - поразительное дело - минут через десять она уже спала...

Правда, обращаться с пеленками, распашонками, колготками, как, впрочем, и играть с детьми - в общепринятом смысле - отец так и не научился.

Что же до нас самих, его детей, то мы сами стали отцу интересны гораздо позднее, в пору своего собственного взросления.

Не припомню, чтобы отец следил за нашей учебой - это было больше делом матери. Он оставлял за собой право гордиться нашими успехами. Как-то я, учась на три класса младше Шурки, что-то ему подсказал, кажется, по математике, и оказалось - впадал. Отец то ли присутствовал при этом, то ли ему кто-то рассказал, но потом он при всяком удобном случае приводил этот факт, как пример моих выдающихся способностей. (Стоило, например, кому-нибудь заметить: "А Юрка-то у вас - ничего, башковитый парень", - как отец тут же небрежно подхватывал: "Чего, мол, там: что правда - то правда - еще в пятом классе Шурке помогал решать задачи за восьмой... " При всем при том Шурка сам учился вполне прилично - во всяком случае, был одним из лучших в классе).

Любая наша беспомощность, любое проявление слабости отцом резко и безоговорочно осуждались.

"Барчук, барчонок, - цедил он в таких случаях сквозь зубы, и это выражало высшую степень презрения.

Вообще же он нас в детстве не слишком жаловал - ему было как-то не до нас. И я, наверное, погрешу против истины, если скажу, что мы его в детстве любили. Вернее будет сказать - уважали и побаивались...

Иногда он нас удивлял. Однажды вечером в доме погас свет. И это не пробки перегорели - тут бы он устранил поломку в два счета (соседке, тете Вере Шарубиной, как-то даже ложку пристроил в счетчик - вместо отсутствующей пробки). Случилось что-то серьезное, и у нас почему-то не оказалось керосиновой лампы (или керосин кончился). "Ничего, мы сейчас сделаем по-фронтальному", - как-то непонятно для нас сказал отец.

Мать принесла из кухни сковороду с остатками свиного жира, он обвалил в нем кусочек суконной тряпки, конец ее пристроил на край сковородки. И, к нашему великому изумлению, самодельный фитиль загорелся.

Правда, он отчаянно дымил, трещал, но горел и светил - и мы чуть не визжали от восторга. Чувствовалось, и он сам был доволен произведенным эффектом.

Еще помню его "фирменное" блюдо, которое все мы любили. Бралась замороженная свиная ляжка, от которой он нетолстыми ломтями строгал мясо. Потом обливал его раствором уксуса (у нас аж в носгах свербило - такая была концентрация) и бросал на сковороду, где мясо в течении нескольких минут доходило до кондиции. Еще к нему полагался лук, нарезанный крупными кольцами, и хлеб. Шурка, я, Наташка - все мы садились вокруг и с небывалым аппетитом поглощали это полусырое-полуподгоревшее-полусоужженное уксусом кушанье (а оно именовалось шашлык), отчего мать приходила в ужас, а отец - в благодушное состояние, несмотря на то, что "шашлык" готовился, как правило, в состоянии легкого подпития.

... Мы теперь у себя дома завели традицию: при открытии дачного сезона и после завершения сельскохозяйственных работ обязательно жарим на даче шашлык. Моим детям, жене, да и мне самому очень нравится этот ритуал. Правда, почти никогда не удается накормить их досыта - как и нас в том далеком детстве...

* * *

Я бы не сказал, что отец был физически очень сильным человеком. Но он был очень здоровым человеком. Не могу припомнить, когда бы он серьезно болел. Наоборот, почти всю зиму ходил без рукавиц, шапку никогда

не отворачивал, шарфов не признавал, воду пил ледяную - со снегом. Его красные - с мороза - шея и руки остались для меня с тех пор как бы олицетворением здоровья. Прибавить иногда он начал уже ближе к пенсии, но тут случай особый - это были кожные раздражения на нервной почве.

Тем более запали в память несколько дней, которые он провел в спальне, не вставая с кровати. Его сильно избили неподалеку от дома, на огородах, некие братья Рудики. Фамилия почему-то запомнилась, а подробности нет. Но, кажется, это было связано с его работой на току - он не разрешил кому-то бесплатно взять оттуда зерно. Они его "перестрели"(это бабушкино выражение) вечером, когда он, спрямляя дорогу, огородами шёл домой. Били, видимо, долго, кое-кто видел, в том числе из мужиков, но вступить боялись... Сам отец, как я теперь понимаю, защититься был не в состоянии, он вообще драться не умел (хотя на фронте не раз ходил в атаку), и они могли его забить до смерти или оставить замерзнуть на снегу (дело было зимой)... Спасла отца соседка, не побоявшаяся ночью двух мужиков, подняла крик...

Я не помню, как выглядел избитый отец, что он говорил. Но помню атмосферу в доме - какую-то тревожную, придавленную, неуютную. Мать без конца носилась из кухни в спальню, меняя мокрые полотенца, таскала туда какие-то чашки с водой и со льдом, а со всеми подходящими разговаривала почему-то шепотом, каждому рассказывая о случившемся.

Подробности в моей памяти не сохранились, но я точно знаю, что отец не "рассчитывался" с обидчиками и они не были осуждены, но через какое-то время уехали из нашего совхоза.

Характерно, что отец, несмотря на свое фронтовое прошлое, почти не переносил вида крови. Кур, уток, гусей всегда рубила мать. Когда надо было резать свинью, обязательно кого-нибудь звали, а отец, если была какая-то возможность, увиливал от собственно "забоя", помогал лишь потом, когда тушу смалили, мыли, разделявали. И только уже ближе к пенсии он сам начал резать овец...

Его служебные неприятности оставались как бы за пределами нашего детского (моего, во всяком случае) сознания. Кроме одной. Сгорела животноводческая ферма на третьем отделении совхоза. Причина - какие-то неполадки по электрической части, а он был инженером-электриком и к тому же в то самое время отмечал на этом отделении с друзьями, которых у него всегда было великое множество, какое-то событие. Разумеется, отца освободили от должности (тогда говорили - сняли с работы), и он стал простым электриком. Врезалось почему-то в память материна фраза, которую она шепотом сообщала наиболее близким знакомым: "Нефедьев (начальник райсельхозуправления) сказал: снять - и на пушечный выстрел не подпускать к руководящей работе!"

Не помню, переживал ли отец по этому поводу. Скорее всего, переживал: могли ведь при желании и дело завести. Но помню опять же атмосферу в доме: какое-то гнетущее затишье... С нами на эту тему он, мне кажется, не разговаривал, даже со старшим - Шуркой, а мне было, наверное, лет двенадцать-тринадцать... Любопытно, что когда у меня самого начались нелады с начальством на недавно обретенном редакторском посту, я в отчаянии пытался что-то объяснить своему Даньке: так, мол, и так, неприятности на работе, тяжело... Он никак на это не отреагировал: или не понял ничего, или не приучен был к тому, чтобы с ним говорили на подобные темы... А мне почему-то в тот момент было обидно. Глупо, наверное, но, тем не менее, это так...

* * *

Я учился в шестом или в седьмом классе, когда в доме появился мотоцикл. Одноцилиндровый красавец "Иж-Планета". Это было целое событие. Мотоцикл, если не ошибаюсь, стоил что-то около шестисот рублей - целое состояние для нашей семьи. Я это пишу безо всякой иронии. Наша семья, разумеется, не была самой бедной в совхозе, мы жили по тогдашним меркам средне (говорилось - "как все"). Но я помню, например, что, став в восьмом классе комсоргом школы, на первые пленумы райкома комсомола я ездил в фуфайке. Новой, но фуфайке. Когда я рассказываю об этом своим детям, они посмеиваются (Данька, например, всегда добавляет: "Ты еще скажи, что, как дядя Петя (младший мой брат), с трех лет баранов пас... "). Между тем это чистая правда и говорится она лишь к тому, что большинство людей в ту недавнюю пору довольствовались совсем малым. Так, личных автомашин в совхозе не было почти ни у кого, владельцы мотоциклов с колясками считались в меру зажиточными, а те, кто, как мы, имели мотоцикл попроще, вполне могли претендовать на средний класс...

Кстати говоря, и первый телевизор в совхозе появился аж в 1967 году. Я это хорошо помню, потому что учился тогда в седьмом классе и ходил на первые телесеансы к своему однокласснику Ленке Маноскину. Его отец занимал в совхозе престижную должность электросварщика и сумел сварить для своего дома высоченную антенну, благодаря чему и стал возможен прием одной из телепрограмм. Другие тоже могли позволить себе купить телевизор, но лишь для украшения квартиры - ни у кого не было антенны, как у Маноскиных, а ретрансляторов в ту пору в нашем краю не водилось. После каждого сильного ветра антенна у Маноскиных загибалась буквой "г", потом целая ватага мужиков её в муках распрямляла, уже на земле, опять устанавливала...

Тем не менее, обладатели телевизора Маноскины были так же знамениты в совхозе, как братья Давыденко - владельцы единственных в районе (а может, и во всей области) настоящих, "всамделишных", как мы тогда говорили, аэросаней. Какой-то их родственник якобы работал на авиазаводе и сумел по большому благу достать списанный (или бракованный) двигатель от самолета-кукурузника - с пропеллером и кабиной.

Аэросани стояли на трех лыжах. Но самое поразительное было в том, что они ездили - и довольно быстро. Когда воскресным утром Давыденки запускали свои аэросани, на всю округу поднимался такой треск, напоминающий стрельбу, что можно было подумать - началась война. Полсовхоза сбегалось к их дому на окраине, чтобы проводить аэросани в первый путь - Давыденки ездили на них на охоту.

Ревел мотор, набирал зверские обороты уже невидимый пропеллер, вдыхая снежную пыль; аэросани

подрагивали всем своим корпусом, но с места никак не двигались. Наиболее осведомленные зеваки сообщали тем, кто только пришел, что это и составляет главную сложность - тронуться с места. А уж потом они пойдут как по маслу... И наступал тот самый момент, ради которого мы, пацанва, сбегались сюда и подолгу морозили соплю... Аэросани трогались, обдавали нас снежным вихрем и, набирая скорость, уносились по белой равнине вдаль.

Только теперь понимаю, сколь беззащитна была в нашем малолесном краю любая живность перед этим беспощадным быстроходным изобретением, не знающим усталости. Рассказывали - даже волк не уходил: гнали от колка к колку, а когда выбивался из сил, хладнокровно добивали, прямо из кабины.

Но, впрочем, я отвлекся...

Логично было бы предположить, что, приобретя мотоцикл, эту столь дорогую для нас вещь, отец станет ею и единолично распорядиться. Тем более у нас было другое транспортное средство - еще не старый велосипед. Но - нет. Шурка, а он учился в девятом или десятом классе, стал пользоваться мотоциклом почти на равных с отцом.

Мне было впервые позволено сесть за руль в седьмом классе. Правда, иезуит- Шурка поставил условие: если сдам на "отлично" переходные экзамены. А когда это произошло, он доверил мне руль, сам перебравшись на заднее седло. Перед этим был короткий инструктаж: надо выжать муфту, левой ногой включить первую скорость и, добавляя газу, плавно отпускать муфту правой рукой. Я устно повторил последовательность операций, и мы приступили к практическому вождению.

Кажется, я сделал всё, что полагалось, но вместо того, чтобы плавно тронуться, мотоцикл почему-то взревел и прыгнул с места, как горный козёл. Шурка оказался на земле, а я - что удивительно - ехал, отчаянно газуя и думая только о том, как бы остановиться... А ведь ещё предстояла расплата...

Но всё как-то обошлось. В конце концов я догадался нажать на муфту и на тормоз одновременно, и мотоцикл остановился, а когда я сбросил газ, он и вовсе заглох... В тот раз мне даже не попало...

... Ездить я всё же научился. И, без ложной скромности, скажу: неплохо. Во всяком случае, мать предпочитала, чтобы её отвозил в поле на летнюю дойку (она в то время работала ветеринарным техником) именно я. На мотоцикле я исколесил всю совхозную округу, выискал все грибные и ягодные места.

Вообще мотоцикл стал ещё одним членом нашей семьи. Отец строго следил за тем, чтобы мы его не перегружали во время обкатки, и он нам после служил верой и правдой почти десять лет. Отец совершал на нём и дальние поездки - в Железинку, в Купино, километров за 100-120.

У большинства людей от детства всегда остаётся в памяти не мало приятных страниц. И мои собственные детство и отрочество не было бы такими яркими, не будь у нас мотоцикла. Пишу эти строки и вижу: едем из лесу, Шурка за рулём, я сзади, но не держусь - нечем - в руках у меня по полному ведру грибов. Или ещё...

Раннее сентябрьское утро, на улице прохладно до лёгкого озноба. Собираемся в "Весёлую Рощу", к проходящему автобусу, на котором я доеду до райцентра, где после школы начал работать в местной газете. Отец заводит мотоцикл, и мы знакомой улицей Абая, влажноватым после росной ночи просёлком, мимо осыпающих последние листья колков - едем... Серебрится инеем трава по обеим сторонам просёлка, стелится вслед за нами над землёй голубоватый мотоциклетный дым (мне даже запах его приятен!)... Передо мной плотная широкая отцовская спина в старой фуфайке. Он едет небыстро. Мне как-то спокойно, уютно-надёжно... Только не хочется уезжать из дому...

* * *

Из животных отец отдавал предпочтение собакам и лошадям. В совхозе у него была слава человека, который поладит с любой собакой. И он не раз это доказывал, запросто подходя к самым что ни на есть свирепым, сидящим на цепи псам. Но, впрочем, никогда этим особенно не козырял.

И у нас дома - сколько себя помню - всегда были собаки. И почему-то все обязательно Шарики. Один Шарик как-то даже оценился.

Мне отцовский дар общения с собаками в полной мере не передался. Я это отчетливо понял, когда меня сильно покусал соседский Букет. А было так. Наши соседи Шарубины его взяли щенком и сразу посадили на цепь. Он хорошо знал меня и даже, когда подрос, свободно подпускал к себе. А потом я уехал на месяц в деревню к Чурсиным - деду с бабушкой, материным родителям. И когда вернулся, Букет меня решительно не узнавал - забыл начисто. Разумеется, я с этим не мог примириться и пытался приручить его заново, считая, что чем больше я буду находиться в непосредственной близости от него - тем лучше. Так в один из дней я прохаживался по соседскому двору с прутиком перед сидящим на цепи Букетом невзирая на его предупреждающий рык. Когда я оказался совсем близко, Букет прыгнул и, порвав ошейник, укусил меня сбоку - сзади, чуть пониже спины... Надо отдать ему должное: одного укуса оказалось вполне достаточно для удовлетворения его собачьего самолюбия. После этого он отошел назад к будке и спокойно лег.

Все произошло так быстро, что сначала я даже испугаться не успел. Только потом ноги стали ватными, а руки затряслись. Боялся, что еще и мать поддаст, ведь не раз предупреждала: не дразни Букета - укусит.

... Лечили меня способом своеобразным: у Букета состригли клоч шерсти, затем мать с тетей Верой жгли её и пеплом присыпали мне рану, приговаривая: "Зарастай, как на собаке, зарастай, как на собаке!"

Заросло, конечно... А отец, узнав о случившемся, усмехнулся, глянул тяжело и сказал: "Я знаю, как подходить к собаке - и подхожу. А ты не знаешь - и не лезь". Было не совсем понятно, но зато перед глазами ещё стоял практический урок...

С тех самых пор собак я не то чтобы боюсь - побаиваюсь...

Одно время отец работал бригадиром в животноводстве, руководил группой доярок, обслуживающих гурт дойных коров. И по должности ему полагалась служебная лошадь. Это был конь по имени Мальчик. Когда он только достался отцу, на него жалко было смотреть - худой, облезлый, плешивый. Но отец его жалел, холил,

к тому же сильно не гонял, и скоро Мальчика стало просто не узнать. Он был так хорош, что мне все время хотелось подойти и погладить его. При этом он всегда вздрагивал кожей, косил глазом, изгибая шею - к ласке, как я теперь понимаю, приучен не был.

В качестве прилощенные к Мальчику отцу полагались летом дрожки на резиновом ходу, а зимой кошева - красивые вместительные сани на деревянных полозьях, подбитых железными планками.

Мальчик, помимо всего прочего, оказался очень резвым конем. "Как пуля", - заметил как-то наш сосед дядя Саша Черняков, следя за его легким, стремительным бегом. А дядя Саша понимал толк в лошадях. Около них он провел едва ли не всю свою жизнь. Я сам не раз ездил вместе с его детьми Колькой и Сашкой пасти (они это говорили с ударением на "а") табун. Кстати сказать, дядина Сашина любовь к лошадям особо передалась одному из его детей, по-моему, Петьке, и стала причиной его отчаянных распрей с родней. Изрядно "поддав", он изливал мне душу: "Юра, я коней (упирая на "о") люблю, - чуть не плакал он, - а они говорят: я их позорю... " Родня никак не хотела мириться с тем, что он надумал быть конюхом...

Но я, впрочем, опять отвлекся...

Отец, по-моему, был весьма горд тем обстоятельством, что он располагает именно (а никому другому в совхозе Мальчика эксплуатировать не позволялось) лошадью. Всё же какой-никакой транспорт. В мою обязанность входило распрячь Мальчика после рабочего дня и отогнать его в конюшню. С этим делом я научился справляться довольно быстро, а вот научиться запрягать долго не удавалось. Отец, когда добродушно посмеиваясь, а когда и злясь, показывал: он был нетерпелив и с трудом переносил непонятливость... Лошадь теперь сразу вряд ли запрягу, а все элементы упряжи помню - уздечку, хомут, вожжи, чересседельник, сбрую, оглобли...

Тогда же учился ездить верхом. Притом, без седла, что куда сложнее. Какое-то время ходил со сбитым задом, а потом ничего - приноровился. Много неприятностей на первых порах доставлял мне и сам Мальчик, потому что он оказался не только резвым, но довольно норовистым конём. Для того, чтобы лошадь была более послушной и управляемой, в уздечке есть одно приспособление - стальные удила. Это мундштук - металлический стержень, который заправляют коню в рот, к обеим его концам через специальные кольца, крепятся ремни уздечки- поводья. Дёргая за правый или левый ремень, всадник даёт животному знать, в каком направлении двигаться; натягивая поводья, он заставляет его останавливаться.

Увидев в первый раз Мальчика, грызущего зубами удила, я сразу же его пожалел и решил для себя, что буду ездить на нем, исключительно разнузданном (то есть в уздечке, конечно, но освободив его от удил). Но не тут-то было. Уже во второй раз, примерно в середине пути, Мальчик вдруг отказался мне повиноваться, а когда я попытался слегка "пришпорить" его ногами в валенках, он слегка кинул задом - и я оказался на снегу. Коварство было столь неожиданным, что я даже растерялся. Оглянувшись по сторонам - не видел ли кто моего позора, я подвел Мальчика к ближайшему забору и с его помощью вновь взгромоздился на лошадиную спину. Но ситуация тут же повторилась - Мальчик вовсе не желал слушаться. Так я наглядно убедился в том, что такое на практике означает разнузданность.

- Ах, ты так, - разобиделся я, - не хочешь по-хорошему? Ну, ладно...

Минуту спустя Мальчик был мною решительно взнуздан и безропотно доставил меня на конюшню. О своем позоре я, разумеется, никому не сказал ни слова.

Иногда отец отправлял меня за Мальчиком и на конюшню. Мне это не совсем нравилось. Дело в том, что на конюшне содержался не один десяток лошадей. И нужно было заходить прямо в табун. Я этого побаивался, а особенно боялся Лысана - злого и коварного совхозного жеребца, который, предупреждали мужики, может и ударить задом, и укусить... Хорошо, если в конюшне оказывался кто-нибудь из взрослых. В таком случае я просил - и мне ловили моего Мальчика. Но однажды, никого не дождавшись, я отважился сделать это сам. Мне удалось отбить Мальчика от остальных, оттеснить его в угол и накинуть на голову уздечку, после чего он уже не сопротивлялся. Домой на этот раз я возвращался особенно гордым. И с Мальчиком с тех пор у нас установились отношения какого-то доверия: я всегда старался сунуть ему что-нибудь лакомое - кусок хлеба, дробленки, хорошего сена, а он давался мне в руки в конюшню и уже не сбрасывал по пути, даже если я забывал его взнуздать...

Но, пожалуй, самое яркое впечатление тех лет связано с нашей с отцом зимней поездкой на Мальчике на ближайший от совхоза железнодорожный полустанок "Осенний". Отец куда-то уезжал, и именно мне почему-то было доверено сопровождать его, чтобы обратно пригнать Мальчика.

Помню морозный день - уже на склоне к вечеру. Слегка возбужденный от скорого путешествия отец (а ездить он всегда любил и ездил много) наказывает мне бросить в кошеву пахучего житнякового сенца (чтобы мягче и теплее было в дороге). Сам он выносит из дому огромный овчинный тулуп, примеривает. Тулуп даже на рослом отце стелется полами по снегу, приподнятый роскошный воротник скрывает отцовскую голову в кожаной шапке. Я в теплом пальто "москвичке", подшитых валенках, шапке с опушенными ушами, теплых рукавицах. Мальчик, предчувствуя дорогу, грызет удила, нетерпеливо перебирает ногами.

Отец поправляет в кошеве принесённое мною сено и садится первым, подстилая под себя одну полу тулупа. Вторая предназначена мне. Я сажусь на нее, ей же запахиваюсь. Таким образом, одного тулупа вполне хватает, чтобы укрыться нам обоим.

(Этому тулупу была уготована долгая жизнь. Он не один год служил отцу, потом из него вышла роскошная шуба для моей жены, которую отец выделял из других снох; и, наконец, теперь из нее выкроили полушубок для моего младшего сына Пашки...)

... Красное, как будто настывшее за день, солнце еще парит над землей, когда мы, наконец, трогаемся.

Мальчик стрелой пронесит нас улицей - только кошеву подбрасывает на ухабах - и, направляемый отцом, устремляется по санному следу в заснеженную степь. Отец не торопит Мальчика, тот сам бежит легкой рысью. Натруженно поскрипывают в морозном воздухе полозья, летит в нашу сторону из-под копыт снег;

обжигает лицо, перехватывая дыхание, встречный ветер. Хорошо!

Но исподволь начинает точить душу мыслишка. Туда-то хорошо - с отцом, а как обратно? Одному, да еще к ночи...

- Ничего, доедешь, - как будто прочитав мои мысли, вдруг говорит отец, - только воли ему не давай - держи крепче вожжи.

На разъезде в ожидании поезда греюсь у раскаленной докрасна печки. Отец, купив билет, спешит отправить меня домой, потому что уже наступают сумерки. Сам усаживает меня, заворачивает в тулуп, вручает вожжи.

- Ну, давай, с Богом!

Мальчик с места берет рысь и, явно почуяв облегчение, стремглав несет кошеву по знакомому следу домой. Я, вцепившись в вожжи, думаю только о том, как бы не вывалиться на одном из поворотов. Мне жутковато немножко от того, что я вечером в поле один, мне мерещится что-то тревожное. Но к этим чувствам стремительная езда в надвигающейся ночи добавляет какого-то непонятного, отчаянного веселья. Мне страшно и хорошо одновременно...

Кажется, домой я приехал куда быстрее, чем ехали с отцом туда. Сам распрягаю Мальчика - он весь закуржавел после поездки - в инее круп, ноздри и даже грива; и хлопаю на прощанье по спине: "Ну, а теперь сам на конюшню". Он будто в раздумьи проходит несколько шагов и вдруг ложится и начинает кататься по снегу. Я испугался, что это с ним? Но оказалось - ничего страшного - лошади иногда любят устраивать сами себе подобный моцион.

Не очень долго побыл у нас Мальчик. То ли отец сменил работу, то ли ещё что-то случилось, но его передали другому человеку. Тот относился к нему плохо и, говорили, довёл его до ручки. Но я Мальчика больше не встречал - не довелось. Может, это и хорошо...

* * *

Люди, знавшие отца близко, знали и о его довольно тяжелом характере - взрывном, подчас неуправляемом, а иногда и вздорном. Наверное, виной всему и война, перепахавшая двадцатилетнего парня, искалечившая его психику; и контузия, да и последующая, не слишком безмятежная жизнь. Он был достаточно тяжел для семьи, и я не хочу это скрывать. Каков был - таков был...

... С людьми отец сходилась очень быстро - с ходу, а отношение к ним у него было очень неровным. Как бы теперь сказали - не всегда адекватным. Если уж он невзлюбил кого-то за что-то (если было за что), то упорно нес эту нелюбовь по жизни. Выражалось это в том, что отец, подобрав для такого человека наиболее уничижительные (как ему казалось) определение, кличку, потом многократно, подчас без всякого повода, повторял ее. Например, соседскую Людку он чуть не до самой свадьбы звал не иначе как "заготовитель яиц". А суть в том, что они (кажется, с нашей сестрой Натальей) лазили в куриные гнезда и таскали оттуда яйца. Еще в его лексиконе были "гундосая Нюрка" (какая-то баба с дефектом речи) из деревни, где он когда-то жил; Брежнев для него был "орденопросец". Один из наших общих знакомых имел такую нелестную характеристику - "в шапке дурак и без шапки дурак". Родною он также не жаловал: бабушку иногда звал "чубаровская ряженка", намекая на ее прошлое, в котором она торговала на Купинском базаре вкуснейшим и знаменитейшим на всю округу деревенским деликатесом собственного производства; ставшую веттехником мать именовал "доцентом" (причем оттенки всякий раз у этой клички были разные - от горделивых до презрительно-уничижительных).

К сожалению, теперь многое выветрилось из моей памяти, а жаль. Ведь и в этом он тоже был весь: с известным недостатком внутренней культуры и с совершенно очевидным природным умом, богатым воображением. В нем поразительным образом могли ужиться заурядная мужицкая грубость и известная прямо-таки интеллигентская деликатность, несколько при этом друг другу не мешая. Сам часто обижал людей, особенно почему-то близких, он и сострадать умел как никто другой.

На нашей улице, наискосок от нашего дома, жили Хомутовы. Дядя Петя - коренастый невысокий крепыш, гармонист, и тетя Катя - на две головы выше его, необычная, как баобаб. Один из их детей - Сашка - был неизлечимо болен. Его били припадки, и, наверное, поэтому он отставал от других детей в умственном развитии. Раз я случайно оказался свидетелем страшной сцены. До этого тихо стоявший рядом, он вдруг как-то странно изогнулся, задергался, упал и начал биться в судорогах - прямо на пыльной дороге... Почти все в совхозе знали о Сашкиной болезни. Взрослые сочувствовали ему, но как-то так, "про себя"; мы, ребяташки, его избегали. Родители на него особенного внимания не обращали, он был сам по себе.

И вот с ним у отца установились совершенно особые отношения. Их стержнем, насколько я теперь понимаю, было полное равенство, вернее, равноправие. В какой-то мере Сашка себя считал даже главнее, позволял себе критиковать отца и даже воспитывать его. А тот принимал это как должное. И Сашка, сразу потянувшись к отцу, потом ходил за ним, как теленок.

Вот характерная картина. Отец идет с работы на обед, а Сашка по обыкновению сидит возле дома на лавочке. - Здоров, Помин пузатый! - явно задираясь, окликает Сашка отца.

- Здравствуй, Саша, - как ни в чем не бывало отвечает отец, сам подходит и протягивает руку. Тот дает свою. Начинается разговор, возможный только меж ними, в ходе которого Сашка вполне может выговорить отцу за то, что видел его нетрезвым, или за какую-то другую (действительную или несуществующую) провинность... Мне теперь кажется иногда, что эти беседы, это ненавязчивое опекуновство отцу были нужны не меньше, чем Сашке. Для чего? Ведь нельзя сказать, что он был добрейшим из добрейших. И обижал, повторяю, многих. А тут - такое... Видимо, была какая-то душевная потребность. Может быть, этим он в какой-то мере, сам о том не подозревая, устанавливал внутри себя некий общий жизненный баланс добра и зла, компенсируя своим особым отношением к Сашке обиды, наносимые им другим людям.

* * *

Каким отец был работником? Тут, пожалуй, однозначно не ответишь. Повседневную домашнюю работу он не жаловал. По хозяйству больше управлялась мать, а потом, взрослея, мы. Если мы что-нибудь делали с ним вдвоем, например, пилили дрова, и у меня это не выходило (не хватало силенок, торопился, "кривил"), он начинал злиться. Я это чувствовал, это усиливало мою неуверенность, и работу порой приходилось бросать. Но когда мы вместе ездили за сеном, я со стороны любовался им, видя, как он играючи вздымает с земли и забрасывает на тракторную тележку или в кузов автомашины огромные навильники сена. Мне нравилось ездить с ним на лошади за дровами - валежником и сушняком. В лесу он менялся, как-то мягчел, что ли. Часа за два-три мы, бывало, набирали приличный воз: я таскал сухие березу, осину, тальник, он не спеша, старательно и сосредоточенно укладывал, увязывал. Возвращались зачастую так: он, идя рядом с возом и держа вожжи в руках. Я, гордый, сидел наверху.

Наверное, можно сказать так: он знал основную крестьянскую работу, умел ее делать, но она не была его душевной потребностью. Повседневность, серая обыденность были чужды ему. Видимо, отчасти этим объясняется и тот длинный перечень профессий и должностей, которые он перепробовал за те неполные 30 лет, что довелось ему прожить на целине. А был он радистом, заведующим совхозным током, заместителем директора совхоза по хозяйственной части, бригадиром в животноводстве, председателем рабкоопа и председателем профсоюзного комитета, инженером-электриком, просто электриком и, наконец, инженером по технике безопасности...

Мать, не раз в сердцах упрекая отца за то, что его сгубили "водка и глотка" (имелось в виду его известное пристрастие к спиртному и неумение молчать, когда молчать желательно), не могла не оценить и его патологической честности... В жизни он запросто мог приврать, но взять чужое, тем более у родного государства, которое его самого всю жизнь обирало, - никогда. В разное время в его руках были и деньги, и товары, и продукты, и другие ценности, а мы едва концы с концами сводили, во всяком случае, пока мы чуть-чуть не подросли, и мать не начала работать сама. "Где уж слишком досужий, а где, прости господи, простодыра", - ругалась на отца мать, в очередной раз убедившись в том, что в дом от него ничего не дождешься.

Да, я думаю, и характер, и известная тяга к спиртному, которая, впрочем, не достигала степени болезненной страсти ("Ну, любит человек выпить", - так тогда говаривали), конечно, немало вредили отцу в жизни. Но не это было главной причиной всех его служебных перемещений. Убежден: он чувствовал в душе силы, и силы немалые, но не находил им применения. За каждую новую работу он брался с охотой, а познав ее тонкости, скоро терял к ней интерес.

Конечно, играло свою роль и то обстоятельство, что он не получил даже среднего образования. Уже на целине, когда партком предписал ему учиться в вечерней школе ("Как это так - фронтовик, на руководящей должности и с начальным образованием?"), он с горячностью взялся за это дело. Я сам, не помню поры его ученичества, но старший брат Шурка уверяет, что он относился к этому поручению с величайшей добросовестностью. Потом как-то раз отец подзагулял, пропустил занятия, потом еще, и в конце концов с учением было покончено. И этот факт тоже его характеризует: способный на порыв, к постоянной систематической работе он был мало годен, размеренность его тяготила.

Мне до сих пор кажется, что какие-то главные его качества, его неповторимый природный талант остались в значительной степени невостребованными. Может быть, именно поэтому он так ревниво следил за нашими с Шуркой первыми шагами на журналистском поприще. У меня сначала не все ладилось, долго не мог найти хоть какое-нибудь пристанище в райцентре (никто почему-то не брал меня на квартиру). Приехал однажды после очередных безуспешных поисков домой на попутной машине и лег в спальне. Отец зашел, сразу все понял. И только сказал:

- Ну, что, не передумал работать в газете?

Тут была и легкая ирония ("Что, мол, чуть-чуть не получилось - и сразу раскис?"), и сочувствие ("А ты как думал - жизнь она такая... ") одновременно. Я это оценил, потому что успокаивать и жалеть у нас было не принято.

Отец помогал мне собирать материалы для моих первых публикаций, особенно затрагивающих войну. Он встречался по моей просьбе с фронтовиками, записывал их рассказы, следил, чтобы в моих материалах на эти темы не было несуразностей.

Уже учась в университете, я вдруг загорелся идеей написать серию статей об истории совхоза, его первых целинных годах. Раскопал в столичной библиотеке старые газеты - районную и областную, кое-какие материалы мною были собраны раньше. Но не хватало свидетельств очевидцев тех событий двадцатилетней давности. И собрать их быстро было никак нельзя: я в Алма-Ате, а они за полторы тысячи километров в совхозе. Я попросил об этом отца, написав ему письмо.

На скорый ответ не рассчитывал. А недели через две уже получил два объемистых конверта. В них были и его собственные воспоминания, и записки тех, кто приехал на место будущего совхоза в числе первых и еще жил в нем; там были фамилии, имена, даты, события - поистине, бесценные сведения, о которых мне и не мечталось. Я ходил по городу, ощупывал конверты, перечитывал... Они до сих пор хранятся в моем небольшом архиве.

И очерк о совхозе я тогда все же написал. Он назывался, по-моему, "Так начиналась целина" и был опубликован в трех номерах нашей районки "Ленинское знамя".

Так что отец был весьма обязателен, когда дело касалось серьезных вещей. Но, впрочем, я опять отвлекся, ведь речь сейчас о том, как работал он сам.

Мне трудно анализировать эту сторону жизни отца, поскольку она была большей частью скрыта от моих глаз. Встречались мы главным образом дома, о работе он много не говорил, да я этим сильно и не интересовался. А

закончив десятилетку, уехал из дома - сначала за сто километров в райцентр, потом поступил в университет... Сейчас, когда пишутся эти строки и когда мне самому вот-вот стукнет сорок, я думаю, что его жизнь могла бы сложиться иначе, если бы сначала война, а потом и другие "шероховатости" судьбы не помешали ему развить лучшие свойства его натуры, способности, которым он по большому счету так и не нашел применения. Он много читал, у него была прекрасная память, хорошая речь и со своим четырехклассным образованием он мог, нисколько не напрягаясь, свободно общаться с любым собеседником. Он был достаточно независимым человеком, но мог в известных обстоятельствах "подпустить леща" начальнику сына. Брат Шурка называл это свойство его натуры простодушной крестьянской хитростью. Но отец мог и начисто испортить свои отношения с собственным начальством из-за сущего пустяка и потом стоять на своем до последнего.

Мне кажется теперь, ему бы пришлось вполне в ту пору профессорская кафедра в университете. Судя по его цепкой, образной памяти и живой речи, он мог бы стать литератором. Если так можно выразиться, в жизни ему удавалось комиссарствовать - в самом хорошем смысле этого слова. Сколько помню себя в детстве, ни один наш школьный пионерский костер в лесу не обходился без его участия.

Как сейчас вижу его - ладного, уверенного в себе, в защитного цвета галифе, в сапогах, вельветовой куртке с замочками на груди и карманами по бокам. Слушали мы, пацанва, его с жадным вниманием, открыв рот. А я при этом успевал им гордиться...

Много лет закадычным другом отца был дядя Саша Агеев - маленький, худощавый, медлительный и невероятно упрямый. Когда-то, в первый год целины, Агеевы зимовали вместе с нашей семьей в нашей же землянке-пластанке (я потом прикидывал: практически в одной комнате жило где-то около десяти человек). Тогда и подружились. Свою жену, тетю Тосю, дядя Саша звал "моя опасна", а отца - кумом. Отец именовал дядю Сашу "чалдоном желтопупым". Их объединял одинаковый социальный статус, а кроме того, роднила склонность к выпивке и страсть к рыбалке.

В приятелях у отца числились два директора нашей школы, которых мы, ребята, боялись, как огня. Был у него друг - директор совхоза, парторг, управляющий отделением. С первых лет целины он дружил с местным казаком Камзой Мардановым, вечным совхозным завхозом. Когда мы построили свою баню (о ней рассказ особый), приятелей и знакомых резко прибавилось - среди них даже оказался председатель райисполкома... Но самым близким всю жизнь оставался, пожалуй, дядя Саша Агеев. Он тоже остался верен этой дружбе, и когда встал вопрос о том, кому ехать в соседний райцентр, чтобы забрать тело отца из морга, поехал он - вместе с моим старшим братом.

Отцовские знакомства, наверное, не имели прямого отношения к его работе, но, как мне кажется, они помогают лучше понять какие-то свойства его натуры, в известной степени объясняют весьма непростой и извилистый путь его профессиональных продвижений.

На склоне лет отец, похоже, меньше всего был озабочен своей профессиональной принадлежностью. Но он весьма ревниво следил за нами, его детьми, чей успех, по-моему, ему был важен чрезвычайно. Так, он со сдержанной одобрительностью отнесся к моему желанию поступить в университет. Одобрительность, думаю, понятна, а за сдержанностью крылась, скорее всего, первородная крестьянская предусмотрительность - как бы не сглазить... Отец с матерью сами отвозили меня в Алма-Ату, чтобы устроить на квартиру к своим знакомым - на время экзаменов. Приют мне понадобился всего на несколько дней - уже после первого экзамена по литературе, отсеявшего значительную часть конкурентов, освободились места в общежитии. Договорились с родителями, что я не буду сообщать им о результатах каждого экзамена. А то может получиться так: пока мое письмо с известием об успешной сдаче одного экзамена доберется до дома, я вполне могу "завалиться" на другом.

Телеграмму дал сразу после того, как состоялось зачисление. Домой ее принесли, когда вся семья была в сборе. Пили чай. Отец схватил телеграмму, несколько раз прочитал и почему-то пошел в наступление на мать: "Ну, что я тебе говорил... Это ж Юрка! Я знал... " Потом налетел на Шурку с Наташкой: "А вы? А вы?" Потом на Шурку отдельно: "Что, опять тебя Юрка обскакал?" В возбуждении он чуть ли не бегал по двору в одной майке, и, наверное, не было в эти минуты человека счастливее его...

Я тут ничего не придумываю, хотя сам, разумеется, при сем не присутствовал. О реакции отца на мое поступление я знаю со слов Шурки, который в это время гостил дома. Но я лично знаю, как горд был отец, когда Шурка несколько лет спустя стал слушателем высшей партийной школы... Помню, как мы в только что полученной мной квартире (первой в жизни!) встречали Петьку, с немалыми приключениями поступившего не филфак КазГУ. Я поехал за младшим братом в аэропорт, а отец в это время, по причине отсутствия моей жены Ольги, готовил на кухне праздничный ужин: жарил нашу с Петькой любимую картошку на сале. И на этот раз мы даже позволили Петьке немного выпить вместе с нами - за эту первую в жизни большую удачу. Отцу очень нужны были наши успехи. Он очень верил в нас и ждал их. Меня назначили заместителем редактора областной газеты (что было для меня совершеннейшей неожиданностью) вскоре после его смерти. С тех пор много воды утекло, я теперь лучше многих других знаю все "прелести" редакторства, как и то, что за все в жизни надо платить. Я не строю иллюзий относительно собственной исключительности, но все же, как говорит один мой университетский друг, "мы не последние слоны в этом стаде", и мне порой поразительно охота, чтобы отец узнал, кем я стал к своим сорока годам, что успел сделать. Я знаю - он бы сумел это оценить.

* * *

Говоря об отце, нельзя не коснуться его взаимоотношений с матерью, моей бабушкой, Марией Петровной. У меня есть небольшие отдельные заметки о бабушке, которая была женщиной яркой, самобытной, душевно богатой. Но, как говорят, с характером, что также наложило отпечаток на всю ее жизнь.

Одно время, пока мы были маленькими, бабушка жила у нас - сначала отдельно в избушке-пластанке, потом в

доме. Потом уходила к дочери, моей тетке, потом уезжала и снова возвращалась, опять жила у нас и снова уходила. Вышло так, что последние два года жизни бабушка провела в моей городской квартире, по иронии судьбы - под присмотром и уходом моей матери, с которой бабушка все время почему-то не ладила. С матерью мы ее и хоронили.

Одно время, живя у нас дома (еще в совхозе), бабушка отдельно держала корову. Удивительно, но я ее хорошо помню: большая, крутобокая, высококорая, она была не чета нашей собственной, явно проигрывавшей бабушкиной и статью, и удою. Я тайком таскал для бабушкиной коровы "наше" сено (мне почему-то было жаль ее), я не мог спокойно смотреть в ее большие печально-влажные глаза. В конце концов бабушкину корову пришлось продать - двух буренок наша семья "не потянула"...

Мои воспоминания об отношениях отца с бабушкой относятся, в основном, к последним восьми-десяти годам их жизни, тому времени, когда я сам кое-что начал понимать и анализировать. Думаю, стойкое неприятие бабушкой и матерью друг друга (хотя внешне приличия, разумеется, всегда соблюдались) доставило в жизни отцу немало беспокойства. Скорее всего, он сначала пытался примирить "враждующие" стороны, но, убедившись со временем в бесперспективности этой затеи, оставил ее. Так и жили: то вместе, то врозь - как получится.

Отношения отца с бабушкой были совсем иные - грубовато-нежные. Она, безусловно, любила его, единственного уцелевшего из всех рожденных ею сыновей. "Ишь, какой фабрый!" - не раз говорила она мне, исподволь наблюдая за отцом, собирающимся на какое-нибудь торжество. "Фабрый" в ее устах означало - статный, видный, хороший собою. И все это было в отце, даже когда ему перевалило за шестьдесят. Он рано погрузнел, но и большой живот был ему к лицу, добавляя стати, а походка оставалась все такой же легкой, быстрой. У него был высокий лоб интеллигента, темные, слегка вьющиеся волосы, правильные черты лица. Думаю, определение "интересный мужчина" к нему вполне бы подошло.

Бабушка жалела отца, недостатки его характера списывала на войну и контузию. Что, впрочем, не мешало ей распекал его за пристрастие к спиртному. Она всегда звала его только Митя.

Отец относился к бабушке внешне грубовато. Бывало, приходя навеселе, "цеплялся": "И зачем ты меня, мать, родила?" (Мол, жизнь-то не удалась). Уже привыкшая к этой фразе бабушка, притворно сердилась: "Несешь, сам не знаешь что, идол седой..." Так они могли лениво переругиваться довольно долго. Отец при этом поминал разную бабушкину родню, имеющую те или иные недостатки, иронизировал над бабушкиной жизнью в услужении у купцов Красноусовых. Она сначала с достоинством отвечала и, только убедившись в том, что разговор этот исключительно для куража, обиженно поджимала губы, замолкала, а то и вовсе уходила в другую комнату. Но если и сердилась на него, то недолго. Они не могли друг без друга.

Одно время отец жил вместе с бабушкой, в ее избушке. Приезжая из университета на каникулы, я обязательно их навещал. Как-то летом решили попить чаю прямо на улице. Бабушка раздула огромный - вполведра - самовар, отец сбежал за поллитрой. Тут же соорудили нехитрую снедь: свежие огурцы с огорода, зеленый лук, соленое сало, яичницу. Отец принес разнокалиберную посуду: пузатый стакан, стограммовую стопку и совсем крошечную рюмку.

- Конечно, себе, как всегда, стакан, а мне "мензюрку", - с мнимой обидой поддела отца бабушка (она до последних дней предпочитала бокалу вина рюмку водки).

- А говоришь - плохо видишь, - живо откликнулся отец, - не проведешь тебя, чубаровская ряженка.

Весь этот домашний спектакль разыгрывается исключительно для меня.

... Вечереет. По улице бредут из стада коровы и овцы, наполняя округу мычанием и бляением. Пахнет пылью и дымком из самовара. Мне хорошо с отцом и бабушкой: они рады мне, а я - встрече с ними... И никто из нас троих, конечно, не догадывается, что я скоро останусь без отца, а бабушка схоронит своего тринадцатого ребенка, последнего сына...

... Мне кажется, теперь я точно знаю, что больше всего роднило отца с бабушкой. Это было их отчаянное жизнелюбие.

* * *

Он не часто говорил со мной о войне, хотя, конечно же, она отложила отпечаток на всю его жизнь. Говорят, точно подсчитано: мужчин его года рождения (1922-1923 года) в живых после войны осталось лишь около трех процентов. Не знаю, думал ли он когда-нибудь о том, что ему выпало счастье жить не только за себя, но и за тех 97 из каждой сотни...

В детстве он никогда не заводил с нами разговор о войне. Может, считал - рано еще, а может, сам хотел забыть... И лишь спустя много лет, в семидесятых, когда стали праздноваться военные юбилеи, создаваться ветеранские штабы, он начал списываться с однополчанами, ездить на встречи с ними. Радовался тому, что разыскал командира своего батальона Гальперина, жившего в Одессе, друга-разведчика Федора Шаповалова, с которым не раз ходил за линию фронта, со многими переписывался... Письма и открытки приходили и когда отца не стало - сестра всем отвечала...

Насколько я могу судить, отец хватил фронтового лиха полной мерой. Довольно долго он служил в батальонной разведке, приходилось ходить в тыл к немцам - за языками. Но сам он языков не брал. Их с напарником задача заключалась в том, чтобы проделать проходы в минных полях - своих и чужих. Особенно трудно приходилось зимой. Никаких рукавиц на минном поле сапер не признает, работает только голыми руками. Когда руки, деревенея на морозе, становились нечувствительными, отца менял напарник. Пока тот работал, отец согревал ладони за пазухой, после чего они опять менялись местами.

Однажды отец спас генерала. Вышел вечером зимой из землянки по малой нужде и увидел его, непонятно как оказавшегося на минном поле. Мгновенно сориентировался: "Стоять, не двигаться!" - "Что такое? - обиделся генерал. - "Как разговариваете?" - "Там мины!..." С полчаса пришлось тому простоять, не шелохнувшись, пока

отец смог пробраться к нему. И обратно вел за собой - след-в след...

Отец рассказывал, как после неудавшегося рейда в немецкий тыл они несли с собой раненого разведчика - под жесточайшим минометным обстрелом. Тому, раненному в пах и истекающему кровью, поочередно отрывало минными осколками одну, потом другую ногу, затем руку. Он непрерывно кричал, молил не мучать его - пристрелить... И судьба, будто смилостивившись над ним, послала-таки смерть - очередным близким разрывом ему снесло голову... А четверо разведчиков, которые тащили его (среди них был и отец), добрались до своих позиций без единой царапины...

Как-то я сам попросил его вспомнить о наиболее тяжелом фронтовом эпизоде. И он рассказал, как их, нескольких совсем молодых парней (ему тогда исполнился 21 год), послали на нейтральную полосу собирать документы убитых наших солдат. На задание уходили глубокой ночью, сдав свои собственные документы... Одеревеневших на морозе трупов были не десятки - сотни. Ползали от одного к другому, расстегивали нагрудные карманы, а если нельзя было расстегнуть - впарывали ножом, доставали бумаги и, вернувшись, сдавали... А потом пили до утра - сколько хотели, вернее, сколько могли... Хотелось одного - забыть и забыть...

Может, оттуда и берет свое начало не лучшая из отцовских привычек, немало навредившая ему в жизни и сократившая в итоге срок ее?

С фронта отец вернулся с орденами - солдатской "Славы" третьей степени, "Красной звезды", медалями "За отвагу", "За боевые заслуги", "За взятие Кенигсберга", "За победу над Германией" (на ней сталинский профиль и его фраза: "Наше дело правое, мы победили"). Отец дорожил своими фронтовыми регалиями, по праздникам обязательно надевал. В будни на выходном пиджаке носил орденские планки.

Старший брат Шурка, не лишенный поэтического дара, много лет назад написал стихи об отце, которые начинаются так: "А папке было девятнадцать, когда он уходил на фронт... " Есть там и другие хорошие строки, например, такая: "Он пол-Европы по-пластунски исползал вдоль и поперек... " Но больше всего мне нравится концовка:

"А в день, когда наступит праздник,
Наденет папка ордена.

В совхозном клубе речь он скажет
И вспомнит: "Да, была война... "
И стопку водки выпьет горькой,
Расправит плечи, как боец...

А сколько их в России, сколько -
Таких мужчин, как мой отец!"

Отцу тоже нравились эти стихи. Он долго хранил затрепанную шушенскую районку, где они впервые появились, просил меня сделать копию и был очень доволен, когда Шурка вновь их напечатал в одной из сахалинских газет. Отец любил фронтовые праздники, всегда их отмечал. "Поддав" с друзьями, мог и спеть, хотя голоса не имел: "Артиллеристы, Сталин дал приказ... " Кстати, о Сталине. К нему отец относился без особого пиетета. И, насколько я понял, не только после хрущевского доклада на XXII съезде партии (коммунистов с этим документом знакомили на закрытых партсобраниях)... К счастью, никто из близкой отцовской родни не пострадал от сталинских репрессий, но он хорошо помнил, как из их деревни один за другим исчезали люди, в основном мужчины, и как бились в беспросветной нужде оставшиеся без кормильцев семьи... Впрочем, на эту тему он особенно не распространялся...

Безусловным фронтовым авторитетом для отца был Жуков. Когда я, став работать в районной газете, сумел достать и подарить ему на 23 февраля мемуары Жукова, он был растроган и читал их запоем. Наверное, правильнее всего будет сказать, что о своем фронтовом прошлом отец вспоминал как о работе. Тяжкой, неприятной, но неизбежной работе.

Конечно, ему не нравилось то, что происходит вокруг памяти о войне, и в особенности непомерное раздувание весьма скромных фронтовых заслуг полковника Брежнева. Старший брат как-то сказал ему с укоризной: "Что ты, отец, всем недоволен - у нас же в мире не осталось достойных противников, кроме Америки. Думаешь, не осилим в случае чего?" На что отец неожиданно заметил: "Да они, сынок, нас и безо всякой войны без штанов оставят... " Как в воду глядел.

Тот же Шурка, когда мы с ним говорили об отце, вдруг выдал: "Знаешь, может, это кощунственно, но я иногда смотрю вокруг и думаю: хорошо, что отец до этих времен не дожил - как бы он весь этот абсурд переносил?" Я не смог ему ничего ответить, не знал, что сказать. В самом деле: что может чувствовать человек, прошедший войну и чудом уцелевший, читая объявления, которыми сегодня пестрят газеты: "Куплю в коллекцию ордена и медали... " Как бы сейчас ощущал себя отец, получив продуктовый набор (бутылка водки, пачка чая, килограмм дешевой колбасы) к Дню Победы, который фронтовики не без горькой иронии окрестили "набором победителя"?

Когда-то, еще в союзные времена, многих моих знакомых потрясли результаты опроса в американских школах. На вопрос: "Что вы знаете о второй мировой войне?" - большинство школьников высказалось в том смысле, что то ли немцы напали на русских, то ли русские на немцев, а победители в этой войне, конечно, американцы...

А совсем недавно прочитал в газетах: польские парламентарии всерьез дебатировали вопрос о том, чтобы Германию и СССР равно считать агрессорами по отношению к Польше... Той самой Польше, которую освобождал русский парень из Сибири... Мой будущий отец, которого поляки из хутора, где какое-то время стояла их часть, почитали за сына и за брата...

Приходится в очередной раз с грустью констатировать - сколь коротка и неблагодарна бывает человеческая память...

Отцовские фронтовые награды, орденская книжка, справка о том, что за успешное выполнение задания командования ефрейтор Поминов награждается велосипедом, некоторые другие документы тех лет хранятся у меня дома. Мои старшие сыновья относятся к дедовым орденам и медалям философски - прохладно. А младший Пашка, не знавший отца, частенько просит: "Посмотрим медали деда Мити?" - "Посмотрим", - всегда говорю я.

* * *

Недавно я сделал одно невероятно поразившее меня открытие: на совхозном кладбище у меня теперь куда больше знакомых, чем в самом совхозе. И у этого феномена есть два весьма простых объяснения. Во-первых, из совхоза я уехал давно, больше двадцати лет назад; за это время успело родиться и вырасти целое новое поколение целинников, кто-то уехал, кто-то умер; идя теперь знакомыми улицами, я мало кого узнаю. А во-вторых, я не очень давно начал ходить на наше совхозное кладбище и, став делать это, понял, что я почти всех тут знаю и почти всех помню. Теперь я понимаю, почему люди постарше могут ходить на сельские кладбища как к себе домой - в этом общежитии мертвых (может быть, это и неудачное определение, но другого не нашлось) им все знакомо и близко. И я сам теперь, будто выполняя запоздалый долг, прихожу к могилам тех, кого знал когда-то и с кем не смог вовремя проститься.

Кто они, эти люди?

Вот дядя Вася Шарубин. Наш сосед - балагур и весельчак. Как-то он, прицепив к своему колесному трактору тележку, насадил в нее баб и ребятишек (человек двадцать - не меньше!) и повез километров за сорок на соленое озеро - за самородной солью. Озеро было натурально-розовое, и очень крупные кристаллы соли (мне таких никогда больше видеть не приходилось) тоже были слегка розоватыми. Мы с Шуркой ходили по колено в воде и, разрушая пружинящую под ногами корку, собирали соль в ведро. Потом, когда соль на ногах и руках стала подсыхать и стягивать кожу, было больно, но домой мы вернулись победителями, неся с собой два полных ведра... А дядя Вася вскоре умер - от элементарной язвы желудка. И мать ходила к Шарубиным, чтобы сообщить им эту страшную вещь. У тети Веры, лучшей материнной подруги, осталось шестеро детей: старшая, Анька, только заканчивала школу, а младшую, Иринку, еще не отнимали от груди... Всех их тетя Вера поднимала одна...

Вот Леха Клименко - мой закадычный школьный друг. Он появился у нас в классе четвертом (их семья переехала из Донбасса), и мы как-то очень быстро сошлись. Леха был умен, смел, дерзок - мы соперничали и в учебе, и в спорте. В первом он мне редко уступал, а во втором был явно сильнее - и на волейбольной площадке, и на футбольном поле, и за теннисным столом. Леху сгубила водка. Пили его родители, зачастую вместе. Класса с восьмого и его с собой сажали. Из вещей в доме почти ничего не было, а на выпивку отцовской шахтерской пенсии вполне хватало. Лехе не помогли ни женитьба, ни рождение дочери, ни многочисленные уговоры друзей. Кажется, он даже не успел дожить до тридцати...

Вот Толик Пастухов. Пастуховы жили на нашей улице, и Толик у них был старшим. Он бывал у нас, а я у них. Вместе играли в футбол, теннис. Теннис у нас стал настоящим поветрием, и ему был подвержен не меньше нашего отчим Толика - дядя Вася; уже взрослый мужик, он мог по полдня гонять вместе с нами за столом целлулоидный шарик. И еще мы обменивались книгами. Толик вслед за моим братом Шуркой и его одноклассниками (все они, выросшие на излете хрущевской волны, были отчаянными романтиками) строил город-памятник в Шушенском, на месте знаменитой ссылки Ленина. Потом Толик окончил военное училище и уже офицером приезжал в совхоз. Аккуратный, подтянутый, розовощекий, в новом обмундировании он казался сошедшим с рекламного плаката... А однажды двое сопровождающих привезли в дом к Пастуховым запаянный цинковый гроб. Дослужившись до капитана, Толик погиб в мирное время. Как это случилось, никто не знает. Матери тоже не сказали и гроб, чтобы она могла проститься с сыном, открыть не разрешили.

Федя Продченко. Совхозный шофер, а потом завгар, про которого подпольно ходила ядовитая частушка:

"Стоит Федя у ворот,

Широко разинув рот,

Не поймет никак народ -

Где баранка, а где рот... "

Здесь лежат двое моих крошечных племянников, которые умерли так рано, что не успели получить имен. И поэтому на их памятнике с двумя маленькими крестами лишь их фамилия - Лихановы...

Здесь похоронен отец.

Только теперь, к сорока годам, я могу приходить сюда без робости и душевного дискомфорта, скорее наоборот - я даже ощущаю теперь потребность в этом... Но так было не всегда, и об этом, наверное, тоже надо рассказать.

Я рос очень чувствительным ребенком. Это вышло, вероятно, из-за одного существенного внешнего изъяна, которым я обладаю - родимого пятна, обезобразившего половину моего лица. Во всяком случае, известный комплекс неполноценности из-за этого у меня развился. В юности, например, я всерьез полагал, что меня не может полюбить ни одна стоящая девчонка... Глупость, конечно, но что было - то было... Я теперь часто вспоминаю бабушкину поговорку, которую она иногда произносила, отвечая на чьи бы то ни было жалостливые замечания по поводу моей внешности: с лица воду не пить, а счастья не купить. Как все же она оказалась права!

Как бы там ни было, моя "несчастье" и, как следствие ее, особая чувствительность, немало навредившая потом в жизни мне самому, была в детстве причиной особого ко мне родительского отношения. Мать в большей, а отец в меньшей степени старались оберегать меня от тяжелых сторон жизни, к которым относилась и смерть. Я даже с дядей Васей Шарубиным не ходил прощаться, а родители не настаивали. Без меня хоронили бабушку Акулину и деда Тимофея... Я долго ни на какие похороны старался не ходить, и мне

это как-то удавалось.

Но моя память цепко сохранила первую смерть, с которой я столкнулся в детстве. Это была смерть молодого целинника. Комсомольца. Не помню, что с ним произошло, но, кажется, это была трагическая гибель, потому что хоронили его со всеми возможными для сельского совхоза почестями. Кто-то додумался послать в почетный караул и нас, нескольких младших школьников, кто получше учился. Помню красный уголок в одном из совхозных общежитий (теперь его уже нет - снесли), гроб, обитый кумачом, возле которого поочередно, сменяя друг друга, стояли парни и девчата. Лица погибшего не помню, но осталось ощущение сильнейшего потрясения, замешанного на детском страхе, непонимании происходящего - всех этих скорбных людей, гнетущего молчания, непривычных и неприятных запахов...

Вероятно, отчасти и этот случай тоже послужил причиной моего стойкого нежелания бывать на похоронах. И только после того, как умер отец, я стал относиться к смерти как к тяжелой, но неизбежной стороне жизни... Чувствую, пришла пора и этих, самых печальных страниц моего повествования... А я все оттягиваю и оттягиваю тягостный момент.

В тот день мы, несколько парней, после обеда ушли с работы - пить пиво. В малосемейке у еще холостякующего в ту пору Мишки Чиркова нашлась вместительная канистра, с пивом на разлив тогда никаких проблем не было, к тому же и стоило оно копейки... Прикупили и вина, но я вино не пил. Не скажу, что меня одолевали какие-то предчувствия, на душе было как-то... никак. Играл магнитофон, почему-то чаще всего одну и ту же песню. Там есть такие строки:

"А снится нам трава - трава у дома,
Зеленая-зеленая трава!"

Я эту песню с тех пор терпеть не могу.

Уходил я один, раньше всех. Жене прихватил хвост копченого леща, чтоб не обижалась за "пиво без повода"... Она открыла дверь, и лицо ее сразу как-то искривилось.

- Ты что? Я тут тебе рыбки... - начал было я, но понял: тут что-то не так.

- Твой отец... , - невнятно сказала она, - Николай Лиханов недавно звонил...

Ощущение было такое, будто тебя ни с того ни с чего изо всей силы ударили в лоб. Отцу вот-вот должно было исполниться 62 года, он никогда не болел и вообще был здоровее всех нас, трех его сыновей, вместе взятых. И вдруг - смерть... Да с какой стати?!

Уже не помню, что я делал в тот вечер (кажется, почему-то стал мыть посуду на кухне), как дождался младшего брата Петра, который на следующий день прилетел из Усть-Каменогорска. К вечеру того же дня мы - всей семьей - и он были у матери. Отца не застали - его увезли в соседний райцентр Качиры на вскрытие.

Мать, увидев нас, заголосила. Испугавшись такой встречи, заплакали мои дети... Поздно вечером приехал мой старший брат из Шушенского, сумевший перелететь за день из Абакана в Новосибирск, затем на другом самолете - в Омск, а уж оттуда до ближайшего к нам разезда "Осенний" добрался на поезде.

Судмедэкспертиза указала причиной смерти острую сердечную недостаточность. Может, окажись в ту минуту рядом толковый человек - и откачали бы отца...

Думаю теперь, смерть отца была случайной и закономерной одновременно. Последние годы жизни он провел в разладе с самим собой, в жестоком внутреннем дискомфорте. Главной причиной тут было, конечно, то, что они расстались с матерью. И в чем он главным образом сам был повинен.

Тяжело человеку одному, а на склоне лет - тем более. Оттого он и метался, оттого и попить стал чаще, чем прежде. Мне иногда говорил с не свойственной ему тоской: "Моя жизнь прошла мимо". А в ответ на все мои успокаивания чаще всего ронял одну и ту же несуразную фразу: "А, все это пустые хлопоты - при казенном доме и случайном интересе..." Строил планы уехать куда-нибудь под Павлодар, купить домишко, прирабатывать. Чтобы жить самому, но ко мне поближе. Обузой никому быть не хотел.

Не верю, что он предчувствовал свою смерть. Хотя ей он как будто хотел сказать всем нам: ну, вот я вас всех и освободил.

Вспоминаются две последние встречи с ним. Незадолго перед Новым годом он заехал к нам в Павлодар, возвращаясь от брата Шурки, из Шушенского. И показалось мне - какой-то не такой, как всегда - не было в нем на этот раз той приподнятости, что ли, которая отличала его во всякий приезд к нам, наоборот, был малоразговорчив, задумчив. Рано легли спать. Я потом встал, пошел к нему: "Ты что такой придавленный, пап?" - "Да нет, ничего..." У брата были нелады с женой, и, видимо, на отца это в последний раз сильно подействовало.

Второй раз мы были у отца вместе с братом Петькой перед самым Новым годом. Пришли вечером. У него было прохладно - ездил в райцентр, недавно вернулся и только растопил печку. Отец крякал, передергивал плечами в наброшенном на них полушубке: ездил на крытой брезентом машине - перемерз. Хорошо было бы выпить тогда. Но у него с собой не оказалось, а мы принесли лишь кислое перемороженное пиво. Весь вечер шел какой-то дурацкий, бестолковый разговор. Отцу это было неприятно, но и выставить нас за дверь он не мог: что-то отвечал - чаще всего невпопад... Словом, "поговорили": до сих пор жалко того вечера - по существу, последней встречи с отцом...

И все...

Ездили за отцом в морг его друг дядя Саша Агеев с Шуркой. Мы ждали дома, и бабушка была с нами. Ей о смерти отца сообщили моя мать с сестрой Натальей. Они пришли к ней сразу после того, как это случилось, вдвоем.

- Какие гости? - удивилась бабушка, еще ни о чем не догадываясь.

- Мы к тебе с недоброй вестью, - сразу сказала мать.

- Митя помер? - с какой-то неестественной живостью спросила бабушка и, не дожидаясь ответа, закричала...

Отца привезли уже после обеда. В дом решили не заносить - не оставалось времени, надо было ехать на

кладбище. Гроб поставили на двух табуретках на улице. Я побежал в дом за бабушкой и подвел ее к отцу, держа под руку. Мать в эти минуты голосила... Тут я и сам впервые увидел уже неживого отца. Он лежал строгий, насупленный, как будто чем-то обиженный, поджав губы. На подбородке и щеках проступала успевшая за двое суток отрасти седая щетина. И только лоб, как всегда, был высок и чист. Мать перед этим сказала, что надо поцеловать отца. Я не знал, как это сделать, но все вышло очень просто - само собой. Отцовский лоб оказался гладок и мраморно холоден. Было вообще очень холодно, обжигающий ветер выдавливал слезу даже у тех, кто не плакал... Бабушку посадили у гроба. Она ложилась головой на отцовы руки, брала в свои, целовала - как будто пытаюсь согреть...

Сама она была почему-то в фуфайке.

Остальное помню как-то плохо. Гроб с телом отца погрузили на ЗИЛ с открытыми бортами. Мать, Наталья, моя жена Ольга и еще кто-то сели рядом с ним. Мы, все остальные, шли за машиной пешком. Кажется, я ни о чем не думал, повторял про себя: "Эх, отец, отец..." И мучался от того, что никак не могу заплакать...

Уже потом я узнал, что могилу для отца копали шестеро взрослых мужиков - весь день, с утра до вечера. Особенно трудно давались первые полметра - их "проходили" с металлическим клином и кувалдой...

Поминали отца в совхозной столовой, людей пришло очень много... Когда я выходил из столовой, курившие на улице мужики сказали: умер Андропов - только что сообщили по радио.

Еще помню, что Шурка все время молчал. Я не видел, плакал он или нет. После похорон мы с братьями дома "добавили" и не раз. Долго не ложились, и когда под утро разошлись, а он остался на кухне покурить, я услышал сдавленное... "Папка умер..." - и его рыдание...

Шурка рассказывал мне потом, что последнее письмо от отца он получил уже после его смерти, вернувшись с похорон. В нем отец давал понять, что недоволен тем, как живет старший сын, просил подумать над этим, как-то собраться... Шурка, у которого были с отцом особые отношения, говорил, что долго не мог примириться с его смертью. И даже новое стихотворение начал, но написал только одно четверостишие:

Он упал, как на фронте,

Сраженный инфарктом.

Неожиданность смерти -

Страшнее, чем смерть.

Теперь, собираясь с братьями раз в год (и то не всегда), мы, если есть хоть какая-то возможность, ездим к отцу на кладбище. И сам я заворачиваю: когда положу букет подснежников, когда несколько осиновых веток с багряными листьями.

Мне и теперь не хватает отца. И еще (пусть это, может, и нескромно) мне жаль, что он не успел по-настоящему нами погордиться. Я знаю, что он очень ждал времени, когда нами можно будет гордиться.

* * *

Перечитал написанное. Не все понравилось. Но как написалось - так написалось...

И все же закончить свои записки об отце я решил иначе. Не один год подбирая к ним, вспоминая об отце сам и что-то по ходу записывая, я вдруг открыл для себя, что нахожу его внешние черты (осанку, манеры, какую-то неуловимую похожесть в жестах, деталях лица и т. д.) в очень многих людях - актерах Матвееве и Ульянове, режиссере Эльдаре Рязанове, телекомментаторе Николае Озерове, моем давнем сослуживце журналисте Воронове... Сходство подчас кажется мне столь значительным, что я иногда невольно вздрагиваю... Я замечаю черты отца в братьях и сестре, а они их - во мне.

Я попросил поделиться воспоминаниями об отце обоих моих братьев. Краткими извлечениями из того, что они рассказали, и заканчиваю.

Младший - Петька:

- В детстве я всегда считал нашу семью особой, исключительной. И первопричиной тут, конечно, был отец, хотя мои отношения с ним до самой его смерти оставались сложными...

- Когда мне пришла пора вступать в пионеры, он подарил мне свой галстук (его самого много раз принимали в почетные пионеры). Я этим галстуком страшно гордился, мне казалось - он самый красный из всех, что есть в школе.

- Раз я нечаянно уронил ему на ногу противовес - металлический "блин" весом в 25 килограммов. Он только глянул молча - уничтожил.

- Он был сложный человек. Мне теперь иногда кажется, что с ним ушла какая-то очень важная тайна.

Старший - Шурка:

- Одно из первых впечатлений: вода, много воды, отец плавает, а я у него на шее. Мне не страшно, а весело.

- Ездили в поле резать пласт, возвращаемся обратно. Помню удивительное ощущение от этой мягкой езды на телеге и от того, что отец рядом - как-то очень хорошо, спокойно...

- Горы зерна на току - море зерна. Много машин, механизмов, людей - все движется, пылит, грохочет... И он над всем - главный. Отдаю ему сумку с едой - он по несколько дней в уборку дома не бывал.

- Я заболел в пионерском лагере, далеко от дома. Лежал в больнице, в общей с женщинами палате. Вдруг слышу разговор: "Вы посмотрите, какой роскошный мужик идет - какая походка, какие кудри!.." И все - к окну. Я тоже взглянул и ревниво отсек всех: "Это мой папка!"

- В чем-то я до сих пор завидую ему. И характером, и природным умом он был сильнее и умнее меня... Он был истинно русский человек.

Блажен, кто посетил сей мир...

(Необходимое послесловие)

Эти заметки об отце, написанные несколько лет назад, я не собирался публиковать и даже предпослал им подзаголовок - "Для семейного чтения". Но так уж получилось - они увидели свет в журнале "Нива", хотя и в несколько усеченном виде. Редактор журнала поэт Владимир Гундарев сказал мне, что это не мое личное дело, за судьбой моего отца ему видится судьба целого поколения...

Теперь бы я добавил к этому - трагическая судьба...

И не только отцовского поколения...

В последнее время много говорится о грядущем двадцать первом веке, принято подводить некие глобальные итоги, оперируя масштабами всего уходящего века. Вот и мне пришла в голову мысль проследить - хотя бы пунктирно - историю жизни четырех поколений своей фамилии, включая и себя самого. Тем более, с историей этой я знаком весьма прилично, и она как раз укладывается во временные рамки двадцатого века.

Вот они, эти судьбы.

Моя бабушка Мария Петровна, "захватившая" еще несколько лет прошлого девятнадцатого века, умерла в разгар горбачевской перестройки, всего два с небольшим года не дотянув до своего векового юбилея. На ее долю выпало время царствования Николая Второго, первая мировая война, Великая Октябрьская революция, гражданская война, коллективизация и индустриализация, ежовщина и бериевщина, Великая Отечественная война, период развернутого строительства коммунизма, застой, начало революционной перестройки...

Как она, к тому же пережившая мужа и тринадцать из четырнадцати своих детей, не сошла от всего этого с ума - непостижимо... Бабушка получала пенсию: сначала около четырнадцати рублей (новыми!), потом несколько лет - 18, а уже перед самой смертью 32 рубля. Она никогда не жаловалась, что этих денег ей не хватает, и умудрилась еще скопить 400 рублей на похороны.

- Пропавшая моя жизнь, - говорила в трудные минуты моя бабушка, - и когда ж я издохну?

Как о лучшем времени, которое ей выпало на ее без двух лет веку, бабушка вспоминала о тех месяцах, когда она девчонкой жила в услужении у купцов Красноусовых. Ничто другое в ее памяти так ярко не отложилось; 400 рублей - это было все, что она за жизнь накопила, - не считая двух десятков старых фотографий...

По выпавшему на долю бабушки числу трагических событий и дарованному ей при этом долголетию бабушкина судьба уникальна, но в общем и целом она вполне вписывается в жестокую и беспощадную фабулу уходящего двадцатого века.

Отец. Казалось бы, счастливчик, уцелел на самой кровавой из войн, в которой сложили головы 97 из 100 его одногодков... В 23 года герой-победитель, и еще вся жизнь впереди...

Но война, пощадив тело, оставила незаживающие раны в душе, перепахала психику... Его надеждам также не суждено было осуществиться. И, может быть, смерть его была избавлением от еще более страшных мук - душевных. Ведь, к счастью, он не стал свидетелем того, что случилось потом - бездарного (и циничного!) развала Союза, нищенского ветеранского существования, "прихватизации", разора вполне жизнеспособных хозяйств... Да мало ли чего еще?

Центральная усадьба целинного совхоза-красавца, который он с друзьями-целинниками создавал с первого колышка, сегодня являет собой жалкое зрелище. Нашу бывшую улицу, где отец с матерью выстроили свой дом - наш дом! - я, приехав в совхоз на традиционный вечер встречи выпускников школы, просто не узнал. Там, где когда-то были усадьбы Шарубиных, Годуновых, Баклажановых, Поминовых, Хомутовых, Черняковых, Шаробочковых и еще с десятка других (добротные дома, сараи, огороды) - теперь либо развалины, либо зияющие пустыми окнами брошенные жилища.

- Не живу, а доживаю, - жаловалась мне обитательница одного из немногих уцелевших домов, - рядом никого - даже поругаться не с кем...

... Была зима, и снежное одеяло милосердно прикрывало следы позорного разора. Но все равно было жутковато смотреть на брошенные подворья, старые деревья, искореженные жизнью и тянущиеся к небу отмершие и еще живые сучья. Казалось, деревья молят небеса о чем-то своем.

Этому совхозу отец с матерью отдали по тридцать лет жизни. Лучших лет!

И каково той же матери на склоне лет видеть все это?

Почти вся ее жизнь - это сплошные лишения: голод, унижительная нищета в детстве и юности, потом дети, опять нужда и работа, работа, работа - на пределе человеческих сил... И вот вроде все: детей выучили, переженили, можно и отдохнуть... Пенсию матери положили 100 рублей. Она гордилась:

- И на жизнь хватит, и на смерть накоплю!

Теперь материнской пенсии не хватает на оплату квартиры, в которой мы живем... Нищенская - другой ее не назовешь.

Свою жизнь мать все оставляла "на потом" ("Вот подрастут дети... Вот выучатся... Вот заведут семьи...").

Подросли, выучились, завели... А жизни у матери как не было, так и нет. Обиравшее мать 30 лет государство под конец жизни ее еще и ограбило, разделило догола - отняв, превратив в ничто три тысячи ее кровных "гробовых" рублей...

А тут еще болезнь... Нелады у детей и внуков... Нет покоя материнской душе...

И что, разве ее судьба исключительна, особенно для нашего века?

Мне самому вроде грех жаловаться на судьбу - до сих пор моя жизнь складывалась более-менее благополучно. Пробивался в ней сам. Повезло, что встретил близкого по духу человека. Растим с женой троих сыновей. На работе мы с ней тоже не последние люди. Правда, не разбогатели, но и в малоимущих не числимся... И все же, все же...

Раньше, когда жена упрекала меня в том, что я мало занимаюсь детьми, я выдвигал в ответ железный, как мне казалось, козырь:

- Они сыты, обуты, одеты. Они видят, как я живу... Как я работаю... Так что я их воспитываю личным

примером: учись как надо, работай на совесть, будь справедливым, не подличай - и все к тебе придет...

Я не хитрил - верил в то, что говорил...

Время напрочь опрокинуло мои былые педагогические построения. Все мои "железные" аргументы не стоят ни гроша, когда сыновья каждый день видят двор нашего дома, запруженный разномастными иномарками. Мои дети не хуже меня знают, что большинство их владельцев ничем особенным себя в жизни не проявили - порох не изобрели, книг (как их собственные родители) не написали, дома не строили. Они даже тапочек не шили, не говоря уж о том, чтобы растить хлеб, варить металл, добывать уголь. Деяния их никому не ведомы, но, тем не менее, они чувствуют себя хозяевами жизни, а отец с матерью - нет...

Что мне теперь говорить моим детям? К чему их звать? По правде сказать - не знаю...

Я знаю, что в той, прежней жизни, мне далеко не все нравилось. Но беда в том, что в этой, новой, мне тоже очень многое не по душе.

Считать или не считать два предыдущих поколения моей фамилии потерянными - вопрос, как мне кажется, риторический. А куда отнести наше, мое поколение? Мы ведь уже не "те", но еще и не "эти"... Чьи мы, бывшие советские граждане, враз оказавшиеся за пределами исторической Родины? Ей мы, похоже, не очень нужны... Сможем ли стать своими на вновь обретенной?

Поневоле начнешь задумываться: ладно, что там мы, мы уж как-нибудь, как получится - лишь бы детям не было хуже, лишь бы они определились в жизни... Но думая так, не подписываем ли мы приговор уже нашему поколению? Ведь, может быть, главной ошибкой наших дедов и отцов было как раз то, что они как бы заведомо соглашались принести жизнь своего поколения в жертву грядущим? И что из этого вышло?

Откладывая свою собственную жизнь на завтра, не обрекаем ли мы на то же самое своих детей? Не сеем ли цепную реакцию?

Вот куда меня "занесло" в моих рассуждениях... Может, я не прав, может быть, и вправду "блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые..." Кто знает... Просто, размышляя о судьбах бабушки, отца с матерью, я пришел к очень простому, в сущности, выводу: я бы очень не хотел, чтобы мое поколение, тем более поколение моих детей, когда-нибудь причислили к потерянным...

Я думал об этом и в последнюю годовщину смерти отца... Это было в Токио, на 31 этаже фешенебельной гостиницы, в ресторане, куда нас привели на ужин. У подножия отеля лежал залитый огнями город, вокруг меня сидели чужие люди... Мне было грустно. В голову лезла всякая ерунда... Например, что бы подумал отец, когда бы узнал, что я его поминаю в ресторане токийского отеля, где пятидесятиграммовая рюмка водки стоит десять долларов...

Пока мы рассаживались в ресторане, японка-гид несколько раз напоминала:

- Завтра с утра мы едем в буддийский храм, где вы сможете молиться нашему японскому богу...

Я опять вспомнил отца - японский бог, или еще японский городской - это было одно из часто употребляемых им выражений... Правда, по весьма специфическим поводам...

Я думал о том, что впервые за многие годы оказался в день смерти отца так далеко от дома и мне на этот раз не с кем его помянуть...

Я это сделал позднее, в гостиничном номере, один. Выпил по русскому обычаю рюмку водки - нашенской, из предусмотрительно захваченной из дома бутылки. И на душе стало легче, спокойнее... Я подумал о том, что иногда надо довериться самой жизни. В конце концов, она всегда оказывается умнее нас и сама все расставляет по своим местам...

По ягоды

После обеда, запыхавшись, прибегает соседский Колька.

- Сидите тут, а Хомутовы полведра ягод приперли! - сообщает он прямо с порога, едва переведя дыхание.

- Бреши больше! - мы с братом не верим, боимся подвоха. - Залепухи, поди?

- Брешет попова собака, - обижается Колька, - токо щас сам видал... Красные... Меня Нюрка послала, сказала, чтоб пришли...

Раз Нюрка - это уже серьезно. Она старше нас всех, и во всем, что касается лесного промысла, ее авторитет непререкаем. На этот раз Нюрка решила посоветоваться с моим старшим братом Шуркой насчет маршрута завтрашних поисков. Они долго совещаются и наконец выносят решение - пойдем за кукурузу: досужие Хомутовы как будто промышляли именно там.

Сбор назначен на восемь утра, на лавочке у дома соседей. Мы с братом приходим чуть раньше срока, томимся в ожидании: и чего, спрашивается, рассаживаются... Но вот появляется Колька, за ним его старший брат - ленивый, медлительный Витька, а затем и сама Нюрка.

Своей улицей, потом проулком, мимо школьного барака, магазина, водонапорной башни выбираемся за совхоз, к краю большого кукурузного поля. Кукуруза стоит в наш рост, а кое-где и выше; и хоть ноги чуть вязнут в прохладной с утра земле, идти по полю интересней, чем по пыльной дороге.

От дальнего края поля до ближайших околков рукой подать. Не сговариваясь, берем курс на большую березу с неправдоподобно плоской вершиной. Береза видна издали и будет хорошим ориентиром на тот случай, если мы слишком далеко разбредемся по сторонам.

Впереди вытянулись полукругами два длинных колка; узкое, метров в двадцать, пространство между ними заросло разнотравьем - заячьей капустой, диким горохом, морковником и, что самое важное, - диким укропом. Зеленые, рыжие и белые шляпки, гордо покачиваясь на упругих стеблях, призывно кивают нам. Заросли дикого укропа - одна из вернейших примет ягодного места.

Шурка с Нюркой выдвигаются чуть вперед и, высоко поднимая ноги, осторожно ступают на поляну. Мы

держимся на почтительном отдалении, нервничаем: есть или нет, а то как не повезет, проблуждаешь весь день и придешь - дно в посуде не закрыто...

- Есть маленько!- подав сигнал и нам приступить к делу, Шурка осторожничает в оценке поляны. Боясь спугнуть удачу, бурчит под нос:

- Мало ли что! Сначала, может, есть, а потом не будет...

В бидонах у нас вода, взятая про запас. Теперь - хочешь не хочешь - с ней приходится расставаться. Пьем, кому сколько влезет, остатки выплескиваем на траву... Мгновение спустя уже слышен отовсюду легкий треск срываемых ягод и их дробный перестук о дно бидонов.

Двоим в одну посудину рвать несподручно: Шурка как старший берет себе бидон, а я - кружку.

- Семь кружек, - такую он определил мне норму, - как нарвешь - так домой пойдём.

Я знаю, что норма завышена: Шурка явно хитрит, заранее настраивая меня на большее число. Но в этой хитрости есть свой резон: магическая семерка все время будет в памяти, не даст раньше времени расслабиться...

Ну, что ж, семь так семь!

Опускаюсь рядом с ним на корточки, раздвигаю руками траву и сразу замечаю несколько свесившихся вниз под тяжестью ягод кисточек - у нас их называют куртинками. Подвожу к ягодам снизу правую руку с разомкнутыми пальцами, ловлю ими упругие нити и легонько тяну руку вверх; нити скользят между пальцами, и вот уже вся гроздь в ладони. Еще одно легкое движение, и ягоды сочными щелчками отрываются. Можно рвать по-другому - щепотью сверху, выбирая одни только крупные зрелые плоды, но это не выгодно - очень долго. В хозяйстве же любая ягода сгодится: и красная, и с прозеленью, и совсем зеленая.

Попали на хорошее место; присядешь пониже, пригнешь голову - и глаза разбегаются: кисти прямо, справа и слева, с боков, сзади... Тело охватывает легкая нервная дрожь. Устраиваешь кружку на земле, чтоб не упала, и орудуешь обеими руками. Велико искушение в первые минуты отправить в рот самые сочные, самые спелые ягоды, но чувство долга берет верх: если бы есть пришли - другое дело, а тут бидон целых четыре литра...

Первая кружка полна, добавляю еще горсть отборных, нагретых солнцем ягод, чтоб была она с верхом и Шурка не попрекал потом. Он тоже не терял времени даром - дно бидона уже закрыто. Шурка, держа ладони лодочкой, осторожно ссыпает внутрь содержимое моей кружки и напоминает, возвращая ее:

- Осталось шесть. Да почище рви, а то глянь - залепух полно и травы вон сколько.

Тут он случайно замечает вырвавшегося вперед Кольку и истошно вопит:

- Нюрк, он же подавит там все!

- Во паразит!- негодует Нюрка.- И когда успел - только что рядом был... А ну - назад! Щас же!

Колька водворен на общий рубеж, над поляной вновь воцарилась тишина, все углубились в работу. Нюрка рвет проворнее всех, легко передвигаясь и почти не оставляя за собой ягод. Шурка, покряхтывая, старательно обшаривает все вокруг себя, сидя на корточках. Позади всех сосредоточенно сопит Витька; он уже давно ползает на коленях, после него остается в высокой траве широкий зигзагообразный след. Нам с Колькой все время охота вырваться вперед, но старшие следят за порядком и чуть что возвращают назад...

После третьей кружки бидон наполовину полон, но уже болят изрезанные острой травой руки, зудят искусанные комарами лопатки, ноет поясница, и едкий пот заливает горящее лицо. Солнце поднялось высоко над лесом и жжет немилосердно.

Хочется пить, однако воды здесь нет, и лучше о ней не думать. Время как будто остановилось: небольшая моя посудина никак не наполняется. По всему видно - и другие не прочь отдохнуть, но гордость никому не позволяет заговорить об отдыхе первым.

Кое-как набираю четвертую кружку и, с трудом разгибая поясницу, несу ее на вытянутой руке, словно боясь расплескать.

- Долго рвал, - сурово замечает Шурка. Потом критически осматривает мою несчастную полусогнутую фигуру и милостиво разрешает:

- Ладно, передохнем малость.

Устраиваемся в тени раскидистой березы, первым делом ревниво сравниваем - у кого больше. Нарвали почти поровну.

- У, черти дохлые, - сердится на своих Нюрка, - на обед не заработали. Спите на ходу, сачки несчастные.

- Да, хватит!- лениво отбрехивается Витька. - Сколь нарвали - столь нарвали...

Жарко. Даже ругаться лень. В душном, звенящем от комаров воздухе плавают терпкие ароматы цветов и трав. Недовольно гудит одуревший от жары золотистый шмель, тяжело перелетая от цветка к цветку. В этом знойном покое вязнут и растворяются звуки. Легкий ветер не приносит прохлады, а накатывает всякий раз упругой горячей волной. Время от времени лениво перебрасываемся словами, но разговор не клеится.

- А ведь уснул, падла!- неожиданно звонко говорит Нюрка.- Слышите?

Подозрительно затахивший Витька и в самом деле тонко посвистывает носом.

Надо вставать, пока и нас совсем не разморило. Витьку бесцеремонно растолкали, работа продолжается.

Первые движения замедленны, но мало-помалу руки приобретают прежнюю сноровку. Придает силы и гордое ощущение уверенности в том, что домой отправимся не пустыми, что дело движется к концу, надо только дорвать посудину. После моей пятой кружки в нашем бидоне свободной остается лишь узкая часть - горлышко. Это - несколько горстей земляники. Стараемся выбирать самые красивые и аппетитные ягоды; они будут лежать наверху, создавая впечатление, что и дальше точно такие же. Обстоятельство это отнюдь не маловажно: показать товар лицом после удачного похода теперь уж просто дело чести.

Обратный путь занимает чуть больше времени - все-таки сказывается усталость. Но идем бодро: у старших покачиваются в такт шагам полные бидоны ягод. Старшие ведут меж собой разговор, степенный и неторопливый: сходили-де, мол, удачно, а это хорошая примета - если в первый раз повезло, должно везти и

потом; денек-другой отдохнуть надо и снова идти - чем плохо, когда зимой варенье к чаю... Они говорят о том, что год нынче хороший - дождливый, за ягодой и гриб проклюнется - тоже не прозевать надо...
- Здоров, добытчики!- раздаётся за нашими спинами зычный голос. Нас нагнал совхозный мужик Степан Кукарекин. Степан едет верхом на низкорослой пузатой лошаденке, а его длинные ноги едва-едва не достают до земли.

- Ишь ты, насшибали!- уважительно говорит он. - Надо будет своих послать. Где брали-то?

- А - там... - опережает других Колька, показывая чуть ли не в противоположную сторону.

- Зачем врал?- строго спрашивает брата Нюрка, когда Степан отъезжает.- Твой собственный лес, что ли?.. Купил, да?

- А чего он?- огрызается Колька.- Насшибали... Такого и слова-то нет... Сами пусть ищут...

Мы предпочитаем не вмешиваться. Вообще-то врать нехорошо - это ясно. И жадничать нехорошо... Но душой мы все же на Колькиной стороне: раз мы нашли, значит, и место наше, а они себе пусть найдут...

Совхоз уже совсем рядом. Шурка останавливается, по-хозяйски оглядывает бидон и остается осмотром недоволен.

- Утряслось малость, - озабоченно говорит он. Ягоды за дорогу действительно чуть уплотнились, и теперь до самого верха посуды их не хватает. Это не страшно: нам знакома маленькая хитрость, которая поможет восполнить недостачу. Шурка надувает живот и опрокидывает на него бидон вверх дном, причем, так ловко, что ни одна ягода не падает. Он повторяет эту процедуру другой раз, третий... И свершается чудо - ягод в бидоне снова вровень с краями.

Теперь впереди самое приятное. И я отчетливо представляю, как встретит нас мать, обязательно похвалит и радостно хлопочет у стола. Мы, обжигаясь, будем есть жареную картошку прямо со сковороды и запивать ее холодным молоком. Говорят, это вредно - есть горячую картошку с холодным молоком, но это и чертовски вкусно.

Мы еще не успеем встать из-за стола, а по всему дому уже поплывет густой аромат полевой земляники - царицы всех ягод - аромат, впитавший в себя запах ветра, настоенного на травах, свежесть летнего дождя и тепло солнца... Этот ни с чем не сравнимый ягодный дух будет витать в доме, когда мы сядем всей семьей перебирать землянику - обрывать с каждой ягоды зеленые травяные шляпки; и потом, когда мать насыпет очищенных ягод в большую чашку и зальет их молоком, а мы будем есть это удивительное блюдо с хлебом... На варенье в этот раз почти ничего не останется, но мать все равно выкроит чуть-чуть - на пробу. А самую мелочь, уже, казалось бы, ни на что не годную, мать поставит на чердак - сушить. Несколько дней спустя она отсеет мусор, а высохшие ягоды бережно насыпет в мешочек - они пойдут зимой на кисель.

... И будет вечер того хорошего дня. Сомкнешь веки, а перед глазами, как наяву, крупная гроздь спелых ягод; ягоды покачиваются дразняще аппетитными розовыми боками, и пальцы непроизвольно шевелятся, пытаясь сорвать их...

Пора сенокосная

День первый, не очень удачный

Наверное, никакая другая пора не значила в нашей жизни - жизни сельских мальчишек - так много. Это жаркое страдное время никогда не носило в целинном краю патриархального характера с неременным выходом в поле целыми семьями, ручной косью, романтическими ужинами в поле и ночевками в шалашах. Сенокосная страда нам памятна тем, что все мы очень быстро выросли, приобщаясь к настоящему делу. Мы шли помощниками трактористов в поле не потому, что наши семьи не могли обойтись без нашего небольшого приработка, хотя, по правде говоря, и он никогда не был лишним. Дело тут, скорее всего, в традиции: считалось неприличным болтаться летние месяцы без работы, если тебе на будущий год идти в седьмой-восьмой класс.

Собственно, все решалось без лишних хлопот и твоего личного участия - просто однажды вечером мать приходила с работы и говорила за ужином:

- Пойдешь к дядьке Михальченко, на подборщик. Заявление я написала, Иван (бригадир) знает... И не шалайся мне допоздна, завтра вставать чуть свет!

Видно, матери не понравилось то, как она закончила свое известие, и уже другим тоном, мягко и даже виновато, она продолжает:

- Пробудешь с месячишко, да и ладно... А к школе новый костюм возьмем - старый-то совсем обносился.

Я знаю: матери жалко отправлять меня на работу, ей кажется - мал еще. Но начинать когда-нибудь надо, и я понимаю это не хуже ее. Оттого, что мать чувствует себя виноватой и прячет под стол тяжелые изработанные руки, у меня сердце щемит, я сглатываю комок, подступивший к горлу, и бубню торопливо:

- Ладно, мам, ладно, чего ты?.. Я же сам просился. Шурка (старший брат) после пятого класса работал, а мне уже в восьмой осенью, - и, чтобы оборвать неприятное для нас обоих объяснение, первым встаю из-за стола. Возвращаюсь к полуночи, осторожно, стараясь не скрипнуть дверью, не наткнуться в темноте на табуретку, пробираюсь на кухню, где мне постелено на полу. Уснуть сразу не удастся, но скоро сон накатывается приятной теплой волной. Кажется, только смежил веки, а уже доносится откуда-то сверху тихий голос:

- Вставай, сынок, вставай, пора...

Вставать не хочется, но нарочито бодро сажусь на полу, потом бегу во двор к умывальнику. Торопливо плескаю в лицо охолодевшей за ночь водой. На столе меня ждет сковородка с аппетитно подрумяненной картошкой, банка с молоком, крупными ломтями нарезанный хлеб.

По случаю первого рабочего дня мать выходит проводить меня за калитку, сует в руку заранее приготовленную сумку с обедом, где (это я уже знаю) несколько круто сваренных яиц, пучок зеленого лука, ломтик соленого сала, хлеб, соль в пустом спичечном коробке и бутылка сладкого кваса.

- Иди с Богом!

Ни в какого Бога мать не верит, но считает, видимо, что лучше не отступать от традиционного напутствия. Потом она стоит и молча смотрит, скрестив руки на животе, как я торопливой рысцой устремляюсь знакомой улицей к финскому домику аптеки - давнему месту сбора косарей.

Напарник мой Толька Елисейкин уже здесь. Невысокий плотный крепыш Толька младше меня, но, пожалуй, поздоровее. Стоит уверенно, опершись на короткий черенок вил - без них на подборщике делать нечего.

Солидно здороваемся за руку, однако место в тракторной тележке - на ней нам предстоит ехать в бригаду - занимать не спешим: места здесь давно распределены и выбирать придется из того, что останется.

Некогда красный, а теперь непонятного цвета колесный трактор не спеша тарыхтит по улице, потом - по накатанному проселку. Путь до бригады не близкий - километров десять, в другое время вполне можно подремать с полчаса, но сегодня первый день - сон как рукой сняло. Мужики заняты кто чем: кто покуривает, спрятав в кулак сигарету, кто дремлет, подоткнув под бок добрый клоч сена, предусмотрительно захваченного с вечера. Разговора почти не слышно, да и не особенно разговоришься за тарыхтением трактора; к тому же и трясет неимоверно, хотя дорога кажется ровной, как стол. Тайком посматриваю по сторонам и успокаиваюсь: народ в большинстве знакомый, так или иначе со всеми приходилось иметь дело. В левом углу, у переднего борта, пристроился Иван Малинин, костлявый белотелый мужик лет сорока. Он из целинников. Время от времени Иван виртуозно сплевывает сквозь зубы за борт. Он задира, а кроме того, большой знаток по части русского мата. Рядом с Малининым сонно покачивается другой Иван - Дрожанов, мужик язвительный, мокрогубый. У него три сына, которых Иван берет с собой на работу едва ли не с пеленок. Прямо перед моим носом упруго колыхается тугой живот Сашки Кейбуса, молодого еще парня, помощника бригадира. Нас, пацанов, он не особенно жалует. У заднего борта подбрасывает на кочках еще одного тракториста с репутацией человека несамостоятельного, беспутного. В совхозе мало кто знает его имя, зовут чаще всего обидным, но емким прозвищем - Сыскин-зять - по фамилии тещи, которая вертит зятем, как хочет.

Толкаю в бок напарника: а где же наш? Вдруг напрасно едем?

- Я-то почем знаю, - недовольно отодвигается Толик - все-таки он умудрился соснуть.

Нашего встречаем на полевом стане. С опаской подходим и с ревнивой гордостью собственников отмечаем, что трактор у него почти новый, ярко-голубой, с кабиной. Да и подборщик вполне хорош - сквозь небольшой налет пыли угадывается красный цвет.

С почтением здороваемся. Ждем указаний. Ждем, что тракторист скажет: ну, чего стоим, поехали.

Оказывается, ехать рано. Надо сперва смазать подборщик (кстати говоря, в дальнейшем это станет нашим кровным делом). Впрочем, это тоже интересно - находить на крышках подшипников отверстия и большим шприцем, похожим на насос, но с лишним рычагом сбоку, закачивать в них густой иссиня-фиолетовый солидол.

Ну вот, теперь можно трогать. По специальным лестницам забираемся на небольшие деревянные площадки, устроенные по бокам копнителя, и он семенит за трактором, переваливаясь на ухабах, важно, как жирная деревенская утка.

* * *

Работа у нас не трудная. Косари уходят вперед, оставляя за собой волнистые упругие валки сена. Подборщик копнителя заглатывает валок и подает в бункер. Когда бункер наполняется, мы должны вилами равномерно разбрасывать сено по всей емкости и, по возможности, утрамбовывать. Потом нажимаешь на рычаг, и бункер опрокидывает аккуратную светло-зеленую копну - почти правильной формы куб, только с овальными углами. Если трамбовать плохо, получается копна - не копна, а неопределенной формы кучка. Это плохо: сено может пересохнуть, его может растащить по полю ветер, испортить дождь.

Сначала работаем с жаром. В бункере еще только дно закрыто, а мы уже орудуем вилами. Но скоро пыл наш начинает ослабевать - жарко, да и руки ломит с непривычки. Неприятно саднят мозолями с лопнувшими водянистыми ладонями - явно переусердствовали. Выручает непредвиденный случай - подборщик захватывает вместе с валком толстую ветку. Раздается оглушительный треск, впечатление таково, будто машина - это ненасытное чудовище - наконец сыта: она уже не заглатывает валок, а толкает его перед собой. Трактор останавливается.

Наш шеф уже на земле и призывно машет рукой. Спускаюсь и испытываю непреодолимое желание лечь: неуверенно переставляя ноги - после тряски и земля кажется неустойчивой - подхожу.

- Умаялись, помощнички, - сочувственно говорит тракторист, - это с непривычки, втянетесь.

Увидел, как я украдкой дую на ладони, и потребовал:

- А ну, покажь!

- Да-а-а, - протянул с досадой. - Ладно, вы - пацаны, а я, старый дурак, куда смотрел... Надо было у бригадира брезентухи взять. Ну, ничего, пошабашим сейчас, а в обед что-нибудь придумаем.

Достал ящик с инструментами, ловко освободил подборщик от ветки, которая успела змеей опутать валик, утыканный жесткими металлическими прутьями, и попросил:

- Потерпите еще чуток - бункер добрать надо. И - на обед.

... Чисто побеленный, аккуратный бригадный домик-кухня уютно устроился у длинного березового колка. С трех сторон домик окружают кусты тальника.

- Чтой-то рано, работнички! - язвительно встречает нас повариха. - Ай оголодали?

- Не ворчи, старая, без тебя знаем, - парирует, явно защищая нас, тракторист.
Мы еще не поставлены на довольствие, так что на бригадный обед рассчитывать нечего. Наскоро смываем грязь степлившейся водой из большой цистерны и с собственной провизией идем в холодок, благо, лес рядом. То ли от усталости, то ли от зноя едим без аппетита, больше налегаем на квас. И не поели толком, а глаза начинаю слипаться, тело охватывает легкая истома, неудержимо тянет спать. Вижу, что напарнику не легче, и предлагаю лениво и независимо, будто сам свеж, как огурчик:

- Вздремнем с полчаса?

- Давай! - быстро отвечает Толик, словно я могу передумать. И нет уже никакой силы, которая помешала бы нам осуществить задуманное.

Испытание

Через несколько дней и вправду втягиваемся. Работаем без брезентовых рукавиц - с новыми жесткими мозолями без них действовать сподручнее. Наученные первым горьким опытом, с удовольствием пускаемся на маленькие хитрости. Сиденья на подборщике не предусмотрены, но на площадках - наших рабочих местах - с трех сторон есть ограждения для безопасности. Если набрать побольше сена, то можно устроить подобие шикарного кресла с упругим основанием и даже с упором для спины. Разумеется, тут надо сено помягче, его хватает на опушках колков; час-полтора хлопот - и сиденье готово. На нем можно прекрасно отдохнуть, пока бункер наполняется очередной порцией сена и не требуется нашего участия.

Тот год был урожайным на ягоды. В первые дни мы использовали любую остановку, чтобы набить животы сочной ароматной земляникой. Потом обленились и приспособились брать ее из валка прямо на площадках. Подборщик подает валок в бункер сплошной лентой, не кроша и не сминая; заметив подходящую низинку, мы урывали по небольшому клоку сена и чаще всего находили те же ягоды, за которыми прежде приходилось бегать. Что из того, что в них не было первозданной свежести - подвяленная ягода, да еще добытая таким необычным способом - своим ходом в руки - казалась куда более вкусной. Кстати говоря, ее можно было заготавливать и впрок. Скажем, бункер почти заполнен, от дела оторваться нельзя, зато можно бросить пук сена у ног и спокойно работать. Свалил очередную копну, устроился в "кресле" поудобней, пук разнотравья на колени и - выбирай ягоды, млея от удовольствия.

Но бывали и менее приятные минуты. Мало-помалу пригодная степь у бригадного стана была выкошена, косари уходили дальше, мы, то настигая их, то отставая - вслед. Так оказались однажды на огромной, почти в тысячу гектаров, пустоши. Когда-то здесь сеяли хлеб, но хлеб не родил, потом пробовали сеять житняк, но и он рос плохо. Участок бросили - свободных земель в ту пору еще хватало. Его выкашивали раз в два года - все же корм какой никакой. В тот год после неправдоподобно обильных дождей травы здесь встали по пояс, а где и в человеческий рост высотой! Это было не радующее глаз степное разнотравье, а пространство, густо поросшее полынью, перекасти-полем, лебедой (уж ее-то сейчас если и встретишь, то разве на домашнем огороде) и прочей живучей растительностью, от которой ломались сегменты на ножах у сенокосилок, а тракторные грабли наполнялись плотной массой в считанные секунды. Валки лежали на поле густо и уходили волнистой чередой к самому горизонту.

- Теперь держись, парни, - посочувствовал дядя Митя, - работы дней на пять - не меньше.

Любое поле, даже в наших равнинных условиях, только кажется ровным - теперь я знаю это точно. Трактор шел, наверное, чуть быстрее пешехода, но трясло и качало подборщик так, что лязгали зубы и звенело в ушах. Вместе с мощным валком подборщик вздымал целые клубы пыли, и трактористу трудно было различить нас, окутанных душным, терпким, серым облаком. Бункер, как и следовало ожидать, наполнялся в считанные минуты - тут не присядешь - и скоро мы потеряли счет копнам, который вели раньше со скрупулезной точностью. Струйки пота стекали по нашим лицам, оставляя грязные полосы, от едкой влаги щипало глаза. Вместе с пылью попадала за шиворот рубашек сенная труха, и противно жгла мокрое тело. Настоящим раем казались минуты, когда трактор останавливался, и мы, отталкивая друг друга, жадно тянули через медную трубку воду из деревянной баклажки. Мы ждали этих минут, как манны небесной, и нам казалось, что нет и не может быть ничего прекрасней этой прохладной, чуть сладковатой влаги.

Тогда казалось, что мы уже сломлены, что не хватит сил вновь подняться на опротивевшую площадку, взять в руки вилы... Хотелось бросить все к черту - в конце концов, есть и другие работы. Но очень трудно было показать свою слабость напарнику и тем более трактористу, человеку с тяжелыми рабочими руками и усталыми, все понимающими глазами. Я думаю сейчас, что мы все-таки ушли бы, если бы он обронил хоть одну обидную фразу: слабаки, мол, первой трудности испугались...

Но он молчал. Терпеливо курил, пока мы, обессиленные, лежали на земле в тени подборщика. В этом молчании было, наверное, во много раз больше поддержки и душевного тепла, чем в самой цветистой и зажигательной проповеди.

И уже через день мы познали упоительную радость труда. Не знаю, что это было: торжество воли над слабостью, второе дыхание или еще что-то. Но это было то состояние духа, когда чувствуешь себя, каждую клеточку своего тела способными на все. Тело кажется легким и упругим, руки - ловкими и быстрыми, уже не замечаешь ни едкого пота, ни пыли, все движения точны и расчетливы, и чем выше темп работы - тем радостнее: быстрее, я могу еще быстрее, я сильнее, я все могу!

... Наш тракторист ошибся в расчетах. К исходу четвертого дня мы подобрали все валки на этом злосчастном поле. Поставили трактор у большой кудрявой березы, посмотрели разом на поле, густо заставленное копнами - их было, наверное, не меньше тысячи. И наш шеф молча (к чему слова, когда и так все ясно), по-мужски крепко стиснул каждому из нас руку.

Дядя Митя и Сашка

Удивительно, как часто порой в серой обыденности мы не ценим людей внешне не примечательных, но обладающих громадным запасом душевной щедрости, людей, на которых воистину земля держится. Мы тянемся чаще всего за лидерами, яркими личностями, как за красивыми игрушками - где уж тут рассмотреть простую человеческую душу...

Так и мы считали сначала - не повезло нам с трактористом. Староват - дяде Мите (мы звали его, как обычно зовут в селе людей много старших по возрасту) было, пожалуй, под пятьдесят. Без нужды слова не вытянешь, лишний раз не улыбнется. Не бирюк, но и не весельчак; словом, так себе - серединка наполовинку.

Правда, сразу обращали на себя внимание глаза, глубоко посаженные, темные глаза человека, немало повидавшего в жизни, и как будто таившие большую печаль или тревожную думу. И еще - руки, длинные, крепкие, с ладонями узкими и шершавыми, как наждак. Когда дядя Митя работал в рубашке с коротким рукавом, особенно отчетливо бросалось в глаза то, что его руки словно не имеют кистей - ладонь сразу переходила в локтевой сустав и только чуть-чуть утолщалась дальше. Но эти странные руки умели все на свете. Во время работы часто ломались планки транспортера - иногда среди сена незамеченными попадали в подборщик палки, куски проволоки - мало ли что может встретиться в наше время на поле. Запасные планки у нас всегда были с собой, оставалось снять старую и заклепками прикрепить к транспортеру новую.

Операция для толкового механизатора простейшая, но заклепок почему-то всегда не хватало, и вместо них шла обычная стальная проволока. Дядя Митя вырубал зубилом короткий стерженек, вставлял в отверстие и постукивал молотком не прямо - сверху вниз, а по краям, с боков. Очень ловко это у него получалось: заклепка выходила аккуратная и обязательно со шляпкой, похожей на срезанную часть шара.

Главное, держала потом заклепка планку ничуть не хуже заводской. Пробовали проделать эту операцию и мы. Затрачивали втрое больше времени, старались, как могли, отбивали молотком пальцы, но получались заклепки неуклюжими и плоскими, хватало их, в лучшем случае, на несколько часов работы.

Дядя Митя был страстным курильщиком, курил только папиросы "Прибой" или "Север", полностью изжевывая мундштук. Как-то случилось почти невероятное - у него не оказалось спичек. Работали, как назло, на отшибе, взять не у кого, и до обеда далеко. Сначала дядя Митя крепился, а потом не выдержал:

- Погибаю, ребята, невтерпеж без курева...

Наверное, это был единственный случай, когда мы видели нашего тракториста даже не растерянным - убитым. Он бесцельно ходил вокруг трактора, судорожно сглатывал и вдруг просветлел лицом:

- А ну, тащите ящик с инструментами!

Среди множества разных штуквин нашелся тяжелый металлический брусок - наковальня, хранимый на случай поломки. Дядя Митя отобрал несколько кусков проволоки, остановился на толстой и гибкой. Один конец согнул, чтобы держать было удобнее, другой положил на брусок и начал бить по нему молотком ровно и сильно, постепенно увеличивая темп ударов. Проволока плющилась, он ставил ее на ребро и снова бил, опять переворачивал - и бил, бил, бил...

Так продолжалось несколько минут, потом расплющенный конец слегка порозовел, но дядя Митя продолжал свое дело, и когда конец превратился в ярко-красную лепешку, он быстро поднес ее к зажатой в зубах папиросе и... прикурил. Жадно затянулся несколько раз подряд и счастливо выдохнул вместе с облачком сизого дыма:

- Теперь живем!

Такую процедуру он проделывал до обеда еще несколько раз, был неизменно весел и даже пытался подшучивать над нами:

- Небось, сами потягиваете втихаря? Подборщик мне не сожгите.

И глаза его лучились радостью человека, во всем довольного жизнью.

Естественно, как только подвернулся удобный случай, мы попытались повторить фокус с проволокой. И папиросы нашлись, хотя мы еще не курили, но черта с два! Сколько ни бились, накалили проволоку докрасна не удавалось. Расплющенный конец был горячим, если дотронешься, однако не прикуривалось - и все тут.

И все-таки по-настоящему мы смогли оценить дядю Митю значительно позже, после того, как проработали несколько дней с Сашкой Кейбусом - он подменял нашего тракториста, некстати заболевшего.

Как я уже говорил, сено в бункере желательно утрамбовывать, в таком случае копна лучше сохраняет форму. Дядя Митя, жалючи нас, не требовал, чтобы мы непременно лезли в бункер, когда он наполняется: выходит копна, да и ладно. Само собой разумеется, что и, начав работать с Сашкой, мы вывалили первую копну, как только посчитали нужным. И, на нашу беду, сделали это неудачно: крышка бункера "размазала" копну по полю - смотреть стыдно.

Изредка случалось такое и раньше.

- Эк мы ее разосрали, - раздосадованно кричал в подобных случаях дядя Митя, как бы деля с нами ответственность. И этого было вполне достаточно, чтобы мы поняли свою оплошность.

А тут грянула гроза.

Наш новый шеф остановил трактор, спрыгнул на землю, ткнул грязным пальцем в сторону бесформенной кучки и тоном, не предвещавшим ничего хорошего, спросил:

- Эт-то что?

Вопрос был, конечно, чисто риторический, но Сашку это не волновало.

- Я спрашиваю, что - это, мать-т-вашу?- Далее последовало несколько выражений, которыми так богат наш великий и могучий русский язык.

"Народ" безмолвствовал. Наверное, в нашем молчании Сашка уловил неуважение к своей персоне и, распалаясь, продолжал:

- Расселись, понимаешь, как на именинах! Я вас научу работать... Я вас заставлю хорошую жизнь любить... А ну - убрать сено с площадок! Ишь ты, сиденьев понастроили...

Когда запас слов иссяк, благо, был он у Сашки не очень велик, Сашка ласково закончил:

- Топтать будете, хлопчики, топтать. Ясно?

Подумал немного и решил, что конец речи надо чем-то подкрепить.

- А как сигнал дам - сваливайте копну. Как сигнал дам, ясно?

И началось. Одно дело разваливать по краям бункера податливую сенную массу и трамбовать ее вилами с площадки, другое - самому бегать по бункеру, проваливаясь по пояс в сено, пока оно не станет пружинить под ногами; видеть при этом повернутую назад невозмутимо-круглую Сашкину физиономию и промасленный кулак величиной с небольшую дыню, которым этот изверг делает поступательные движения сверху вниз, покрикивая:

- Топчить, лучше топчить!

Урабатывались мы с новым шефом до полного изнеможения. И до того нам опротивела его сытая, самодовольная физиономия, что, когда пришел дядя Митя (а вместе с ним, разумеется, и наше спасение), мы места себе не находили от радости: наперебой выполняли все его мелкие поручения, перехватывали друг у друга ключи, чтобы подать нашему (понимаете - нашему!) трактористу. Не вполне понимая причин этого странного рвения, дядя Митя вопросительно уставился на Сашку.

- А я, эт-самое, их маленько работать поучил, - гордо пояснил тот и вместо прощания погрозил нам напоследок кулаком.

- Этт-самое!- передразнил Толик Сашку, когда тот был уже на безопасном расстоянии, и смачно плюнул.- Зануда грешная!

* * *

Дядя Митя умер три года спустя. В ту пору я уже работал в райцентре и, узнав, что он в больнице, пришел навестить. Палата находилась на втором этаже старого деревянного здания - окнами к солнцу. Дядя Митя полулежал-полусидел на койке слева у стены головой к окну, сделал упор для спины из двух жестких, набитых ватой подушек. Он как будто ничуть не удивился моему приходу: вяло пожал протянутую для приветствия руку, через силу улыбнулся.

- Вот, видишь... - и замолчал.

Я тоже смешался, не зная, что говорить. Передо мной был человек, лишь отдаленно напоминающий того сильного и добродушного дядьку, которого я знал. Лицо у него сильно вытянулось, на щеках появились глубокие, покрытые щетиной морщины, голый череп был обтянут нездоровой желтой кожей, исхудавшие руки безвольно покоились поверх одеяла.

- Вот видишь, - снова повторил он и со скрытой обидой спросил, - не нравлюсь? И себе не нравлюсь...

Кажись, отработался...

Как-то испуганно оглянулся по сторонам - не видит ли кто - и откинул край одеяла:

- Смотри!

Чудовищно распухшая водянистая нога занимала едва ли не треть кровати: казалось, ткни пальцем - и она лопнет, как мыльный пузырь, брызнет влагой.

- Помру я, наверное, скоро, - спокойно сказал дядя Митя, осторожно, как ребенка, прикрывая ногу одеялом.

Мне было страшно от того, что он говорит об этом так просто, нисколько не волнуясь, не плача, говорит так, как говорят о вещах обыденных и ничего не значащих. И я опять не знал, что ему ответить, стал мямлить:

ерунда, мол, и не таких вылечивают, надо только настроить себя, не сдаваться...

- Да, ты погоди, брат, - перебил он мою несвязную речь, - думаешь, я сам жить не хочу... Хочу, сильно хочу- я ведь не старый еще, и детей поднимать надо... Но, видно, все... Все...

Он вытер тыльной стороной дрожащей руки влажные от слез морщинистые щеки, и в его голосе послышались несвойственные ему просительные нотки:

- Ты, говорят, редактором работаешь, попроси, чтоб домой отпустили... Страшно мне тут помирать. А дома - ничего, может, поживу еще... Ты попроси, а?..

- Вряд ли послушают, - неуверенно пробормотал я, - я ж не начальник, просто корреспондент...

- А ты хорошо попроси, ты грамотный, найдешь, что сказать...

... Врача, высокую молодую женщину с недовольным лицом, я нашел в другом конце коридора.

- Вы ему кто? - в упор и, как мне показалось, недоброжелательно спросила она.

- Никто! - сердито ответил я, задетый ее тоном, потрясенный минуту назад увиденным и услышанным, и с вызовом добавил, - просто человек, нельзя спросить, что ли?

- У него саркома, - сказала врач и, убедившись, что мне это ничего не говорит, сухо пояснила, - рак соединительной ткани.

- Неужели ничего нельзя сделать?

- Теперь ничего, абсолютно безнадежен. - Она говорила - будто била по голове - размеренно и точно. - Так кто вы ему?

- Говорю же никто - работали вместе, - с досадой сказал я и запальчиво спросил, - чего ж раньше думали?

Наверное, мой вопрос прозвучал по-идиотски, но к таким, видно, здесь уже привыкли. Женщина поправила очки и, не повышая голоса, устало ответила:

- А раньше, молодой человек, он отказался от операции... Еще вопросы будут?

- Он домой просился, - угрюмо брякнул я, заранее приготовившись к отказу.

- Через несколько дней отправим.

Может, мне это только показалось, но в глазах ее за толстыми стеклами очков промелькнуло что-то

тревожное, непостижимое для меня. Женщина недовольно вскинула голову и снова в упор посмотрела на меня.

- Извините, - неожиданно для себя самого пробормотал я, - пожалуйста, извините, - и вышел.

... Дядя Митя умер несколько недель спустя. На его похоронах я не был. В то время я не был еще ни на одних похоронах.

Курьезы

Есть странное свойство у человеческой памяти - хранить в своих тайниках по прошествии лет мгновения светлые, радостные, а на грустные случаи жизни накладывать несколько иной оттенок, такой, что видятся они потом в другом свете. Наша работа была и жизнерадостной школой, и учебой одновременно. И методы учебы каждый из наших трактористов при этом применял разные, порой далеко не педагогические, но, на его взгляд, вполне безобидные. Ухо нам, пацанам, приходилось держать остро - иначе можно было запросто попасть впросак. Но, несмотря на все старания, в ловушки все же попадались, и очень часто. Были среди нас такие, кто добросовестно стучал молотком по баллонам трактора - искра в колесо ушла, объяснял в таких случаях тракторист своим помощникам, постучать надо, авось, и появится...

Но превзошел всех в своем коварстве опять же Сашка Кейбус. В один из знойных дней, ошалев от жары, он остановил трактор, ругнулся для порядка и сказал, сокрушаясь:

- Компрессия кончилась... Загорать придется, а, парни?

Помощники подавленно молчали.

Сашка в задумчивости поскреб затылок, а потом попросил Витьку Семенова:

- Слушай, Витек, а может, сгоняешь к Ивану Дрожанову, возьмешь полведерка. Скажи - завтра утром отдадим. Сбегай, Витек?

Витька схватил ведро и побежал к Ивану. Тот сначала от такой просьбы изумленно выпучил глаза, но быстро сообразил, в чем дело, и отправил Витьку к Петру Водостоеву, тот - дальше...

Вечером над Витькой потешалась вся бригада, включая поварих и сторожа. Мы тоже смеялись, радуясь втайне, что не оказались на его месте. И странное дело - ведь никто из нас не был абсолютным профаном во всем, что касалось техники - почти все управляли трактором (бригадир об этом, разумеется, не знал) и ремонтировать помогали, а вот попадались в эти незамысловатые ловушки. Дело тут, скорее всего, было в преклонении перед авторитетом своего тракториста: раз он сказал, значит, так оно и есть - какие уж тут шутки. Обижались, конечно, попав в очередной раз впросак, но ненадолго: не мы первые, не мы последние...

Впрочем, казусы случались не только с нами. Поймали как-то птенца кобчика, вполне оперившегося, но не научившегося еще толком летать. Птенец угрожающе шипел, широко разевая черный снаружи и красный изнутри крючковатый клюв, злобно тарачил круглые горящие глаза и больно царапался острыми когтистыми лапами. Пытались кормить его хлебом - не брал, осталось нетронутым и мясо.

- Я заберу! - загорелся Иван Малинин. - Давайте!

- На что он тебе? - вступилась за птенца повариха. - Отпустили бы лучше птицу, охламоны.

- Знаю на что, - пообещал, улыбаясь тайной мысли, Иван. - Цирк жене покажу.

Видя заинтересованно повернутые головы, Иван все более воодушевлялся.

- Моя Наташка все время мерзнет по ночам - холоднокровная, зараза, попалась: чуть что - лезет греться.

Отучать пора. Как сунется - я ей кобчика, чтоб не будила по ночам.

К идее отнеслись по-разному. Женщины - резко отрицательно, мужчины - сдержаннее. Единственный, кто решительно поддержал Ивана, Иван Дрожанов, как видно, сам имевший зуб на жену.

... Утром долго ждали Ивана. Пришел он, украшенный багрово-синим кровоподтеком у левого глаза и глубокими царапинами на шее.

- Ты что, Ваня, упал? - нарочито участливо полюбопытствовал бригадир.

- Тебе бы так упасть, - мрачно пожелал Иван, устраиваясь поудобней. - Баба - она и есть баба, шуток не понимает, дура. Глаз чуть не выбила.

Последние слова утонули в оглушительном хохоте, даже тракторист высунулся из кабины, недоумевая, что за шум.

О том, что произошло дома, Иван предпочел не распространяться, особо любопытствующих бесцеремонно обрывал, не стесняясь в выражениях. Зная его бешеный нрав, многие просто побаивались досаждать расспросами. Как выяснилось потом, втайне Иван глубоко переживал случившееся, считал себя пострадавшим безвинно, по собственной глупости. И не потому, что затеял все это дело, а потому, что сделал тактическую ошибку.

- Поспешил я, мужики, - хмуро заявил он, приняв однажды вечером для бодрости грамм двести. - Обождать бы мне чуток, ну, самую малость, - а там поглядели бы еще, чья возьмет!

- Ты, Ваня, толком расскажи, по порядку, - подавляя улыбку, попросил бригадир.

- Чего там! Не стесняйся, - зашумели механизаторы, чувствуя, что Иван "созрел" для исповеди. - Давай - все как было!

- Говорю же, что поспешил, - начал было Иван, но его тут же перебили.

- Заладил, как попугай: поспешил да поспешил - говори толком!

- Ну, ладно, - согласился Иван, - видно, ему было уже невтерпёж носить обиду в себе.

- Сначала все по уму было. Пришел домой - ее нет. Кобчика спрятал в коробку из-под ботинок (импортные на днях взяли), коробку - под кровать. Гляжу - идет моя царевна-куралевна. Хотел обругать для порядка - муж дома не кормленный, а ты по дворам шалаешься. Стерпел... Стерпел, мужики, потому как мог все дело

испортить. Тихим прикинулся. Устал, дескать, сегодня чего-то: поисть бы да спать. А она как чувствует - чегой-то больно смиренный... Как пить дать, загуляешь на днях. Это у нее примета такая: если смиренный, значит - к выпивке. Ну, ладно. Я те, думаю, покажу к выпивке...

Тут Иван вынужден был сделать паузу, попытался затянуться сигаретой, которая давно погасла и безвольно висела на его нижней губе. Попытка кончилась неудачно, он выплюнул сигарету и, видя, что все кругом затаили дыхание, с грустью продолжал:

- Ну, вот. Лег пораньше. Кобчика из-под койки к себе перетащил. Жду. Не идет, зараза, и все тут. Измаялся весь, покуда дождался. Только она одеяло откинула - пора, думаю, - тут надо и кобчика бросать. А он, падла, как назло, когтями за одеяло зацепился. Я его на себя - оторвать же надо. Ну, и не рассчитал маленько - сильно дернул. Он крылья растопырил, пищит. Наташку чуть задел, а мне когтями в глотку вцепился. Наташка-то не разобралась с испугу, в чем дело, и саданула мне в глаз кулаком. Это я вам скажу, мужики, ручка - еще бы раз угодила - точно б мозги вышибла.

... Ну, свет зажгли. Она трясется, как припадочная. На какого хрена, говорит, ты эту гадость в дом притащил, делать нечего, что ли? Натюрлист выискался, дурак старый! Сама, говорю, дура, орала же, что мыши скоро голову отъедят, а кобчик от мышей первеещее средство, он их как семечки лузгает.

- От кого средство?- не выдержал наконец и затрясся от беззвучного смеха бригадир, - от мышей, говоришь... Ну, ты артист! - И заикался, не в силах больше сказать ни слова.

- Так это я случайно придумал, - простодушно пояснил Иван. Но его уже не слушали. Визгливым дискантом зашла повариха, и ее мощное тело колыхалось, как студень. Сашка Кейбус ржал залиvisto, как породистый жеребец. Бригадир свалился со скамьи и в изнеможении сучил по земле ногами. Смеялся даже наш тракторист дядя Митя, прикрывая темной ладонью щербатый рот. От внезапного шума шарахнулась в сторону, поджав хвост, дворняжка бригадного сторожа, испуганно завизжала и на всякий случай отбежала подальше.

Никак не ожидавший такой реакции Иван недоуменно хлопал белесыми ресницами, топтался на месте, а когда смех поутих, сказал с обидой:

- Рассказывай вам после этого...

- Да ты не обижайся, чудак, - зашумели кругом, - ну, вышла промашка, бывает... Мышей-то хоть ловит?

- Кто? - не понял иронии Иван.

- Кто-кто? Кобчик!

- Сбежал он, - вконец растерялся Иван, - кошку взяли.

- Оно, конечно, надежнее, - рассудительно заключил бригадир, чем вызвал новый приступ веселья, но уже не столь буйного, впрочем...

За сеном

Дни теперь летят быстро, и работа совсем не кажется тягостной. Все лучшие уголья выкошены, сенокос в нашей бригаде потихоньку сворачивают. Август на исходе - нам скоро в школу.

Дома поговаривают о том, что пора бы и самим сена привезти. Такое право у нас есть - его заслужил я, работая нынешним летом в бригаде. Дело за транспортом. Наконец и этот вопрос улажен, после обеда выезжаем.

Нас четверо с шофером. Машина тряско пылит по проселку мимо зеленых еще хлебов, не тронутых приметами осени. Ехать надо километров пятнадцать - вблизи села сено уже вывезено. Ближе к месту заезжаем в лес, чтобы оборудовать машину. Первым делом надо вырубить бастрик - лесину, без которой впоследствии не обойтись. Тут не каждое дерево годится, а только береза, молодая и упругая. После недолгих поисков находим подходящий экземпляр. Жалко губить стройную белоствольную красавицу, но ничего не поделаешь - надо. Дерево зябко вздрагивает после каждого удара топора и неловко, словно нехотя, с шумом валится набок. Отец быстро обрубаем ненужные ветки, отделяет вершину. Остается обрубок длиной три с половиной - четыре метра - как раз хватит. На машине открываем борта и прикручиваем толстой проволокой четыре поперечных обрубка, получился прямоугольник - теперь всю тяжесть груза примут на себя не хрупкие борта, а эти поперечины.

У первой копны отец долго советуется с мужиками: брать сено или еще поискать. Сходятся на том, что надо брать - лучшего можно не найти, а солнце вот-вот зависнет над кромкой леса.

Обязанности распределены заранее: дядя Вася Базюк наверху - на раскладке, мы трое подаем снизу. У раскладчика задача посложней - сформировать воз так, чтобы он не только имел вид, но и, не дай Бог, не рассыпался по дороге: тогда весь труд насмарку, да и стыда в совхозе не оберешься...

Сначала просто бросаем душистые охапки наверх - борта на уровне груди, особых усилий не требуется. Но мало-помалу основание будущего воза создано, и теперь принцип "вали кулем - потом разберем" негоден. Дядя Вася все чаще покрикивает: "Куда, куда суешь на угол! Сбоку давай, сбоку!" Разницы как будто никакой - что на угол, что сбоку, но - нет: углы дядя Вася стережет пуще глаза - от них зависит весь вид и прочность стога. Сначала воз растет быстро, а потом в какой-то момент застывает на месте. Это оттого, что раскладчик у нас опытный: постепенно расширяя стог от основания кверху, он одновременно умело утаптывает сено.

Я почти выдохся, а отец с шофером - как ни в чем не бывало: все так же неторопливо и мощно вонзают зубы в упругую массу, одним движением вскидывают над головой, несут почти на вытянутых руках вперед и ловко забрасывают наверх. Каждая порция сена, которую подают за раз они - это три-четыре моих навильника.

Много лет спустя я смотрел хороший, в общем, фильм и испытывал досаду: молодой деревенский парень,

желая обратить на себя внимание, орудует вилами, как автомат, а на стог попадают крохи - сразу видно, что человек никогда не работал на сенокосе... Впрочем, вряд ли я сам тогда действовал лучше него...

- Верши помаленьку, Василий! - следует команда, когда уже и двухметровых черенков не хватает, чтобы подавать сено. Дядя Вася "забивает" середину - так, что стог приобретает небольшое утолщение в верхней части. Хороший получился воз, аккуратный, прочный. Напоследок любовно оглаживаем вилами его бока, обирая клочки сена, что портят вид.

Теперь надо прижать стог сверху бастриком. В передней части делается треугольная петля из проволоки и цепляется за толстую часть бастрика, а его укладывают посередине воза. Задний конец бастрика смешно задран кверху. Отец ловко перебрасывает через этот край лесины веревку, уже закрепленную одним концом внизу, а за другой мы дружно тянем, насколько хватает сил.

- Р-раз! Еще р-раз! - командует отец, помогая нам и поглядывая наверх. - Хватит! Теперь держите! - Он быстро привязывает внизу и второй край веревки. Бастрик надежно скрепил воз, теперь не рассыпется - можно ехать.

Несколько минут уходит на сборы. Старшие степенно закуривают. Я, зябко передергивая плечами, натягиваю на остывающее после работы тело фуфайку. В кабине всем четверым слишком тесно, и я прошусь наверх.

- Не положено, - строго замечает шофер и нелогично добавляет, - так что смотри там!

- Ладно! - весело откликаюсь уже с копита. Оттуда - на кабину, а затем не без труда и на самый верх. Делаю маленькое углубление, зарываюсь в него, лежа на животе.

- Поехали!

Пока собирались, совсем стемнело. Машина с натугой трогается, вспарывая светом фар плотную ночную темень. Воз приятно покачивается из стороны в сторону, и я с удовольствием переворачиваюсь на спину.

Высокое черное небо дружелюбно подмигивает мне ясными глазами звезд. Ближе к полуночи звезды начнут падать: конец августа - пора звездопада. Надо поймать момент и загадать желание... Но неожиданно ловлю себя на мысли, что мне ничего не нужно от падающей звезды. На душе тепло и уютно: вот так бы ехать и ехать далеко-далеко... И я лежу, наслаждаясь тишиной и покоем, и думаю о том, как это здорово - жить под этим добрым небом...

Дядя Коля

Дядя Коля Хухорев умер 7 ноября, в два часа дня.

Он был шофером, всю жизнь простым шофером. И человеком - каких больше нет.

Говорят, что когда уходит человек, вместе с ним исчезает целый мир. Я не хочу, чтобы с дядей Колей ушел его неповторимый мир... Но что я могу?

Я могу рассказать о дяде Коле.

Он был мужем моей тетки Нины, материной сестры. Их знакомство связано с одной отчаянной романтической жертвой, про которую мне рассказывала мать. Когда дядя Коля стал ухаживать за теткой, которая была много выше его ростом, она, чтобы эта разница не стала столь заметной, обрубила топором каблук на своих туфлях.

Сам я ничего этого не помню. Я и своего знакомства с ним не помню. Зато помню громоздкий бензовоз - "ЗИС" в нашем дворе - это была его машина. Еще помню себя сидящим в кабине у него на коленях. Мне лет девять-десять, меня переполняет ощущение счастья и полета: я пытаюсь рулить, пустынный проселок резво бежит навстречу машине и почему-то все время ускользает из-под колес.

Я помню все его машины - и первый бензовоз, и второй "газон"-грузовик, и третий новенький "ЗИЛ" - самосвал - его дяде Коле дали за безупречную работу. Маленькому дяде Коле было чересчур просторно в "зиловской" кабине, он с усилием крутил тугий руль, который мне тоже казался слишком большим, приговаривая: "Ну и баранка, блин!" Вроде жаловался, а сам едва не светился от счастья - впервые за десять лет дали новую машину. Я тоже любил ее больше всех остальных - готов был дневать и ночевать в кабине. В ней было так уютно, так хорошо пахло разогретым машинным маслом, чуть-чуть бензином и еще чем-то неуловимо "зиловским". А каким неповторимо вкусным был синеватый дымок дяди Колиного "Прибоя"!..

* * *

Как ни странно, я довольно мало знаю о его детстве. Наверное, это потому, что в нем было не много хорошего, и он не особенно любил о детстве рассказывать. Рос без отца. В школу ходил километров за десять.

Надо было видеть, как он рассказывал мне про это: глаза чуть прикрытые, хитроватые, лучистые - сразу не поймешь - то ли серьезно говорит, то ли шутит:

- Встану, бывало, утром, позавтракаю. Выйду на крыльцо, достану кисет с табаком, сверну самокрутку, покурю - и в школу...

- И мать не ругалась? - не верил я. - Вы в каком классе были?

- В четвертом. Она раз застучала меня в сарае с куревом, наподдавала, а потом говорит: "Уж лучше открыто кури, а то еще сарай спалишь". Так и курю с тех пор...

Дальше была школа ФЗО - полувоенный режим, полуголодное существование. Потом служба в Армии на Дальнем Востоке. Наверное, еще и оттуда его всегдашняя аккуратность, подтянутость, фигура атлета. Учил меня делать "склепку" на турнике. Ему было уже за тридцать, а лихо у него это получалось.

* * *

Он был из той редкой породы людей, о ком говорят - на все руки мастер. Во всяком случае, мне таких больше встречать не приходилось. Когда они с теткой получили свое первое жилье - полторы комнаты в шитосборном финском домишке, у них не было никакого имущества. Первые табуретки, стол он сделал сам, потом взялся за комод... Тогда это было в диковинку, и моя мать, увидев эту "роскошь", попросила дядю Колю отдать ее нам. "А ты себе еще лучше сделаешь", - отвечала она на его слабые возражения.

Ему не нравилось "казенное" жилье, и он взялся строить дом. И выстроил - едва ли не в одиночку. Только ставить стропила и класть печь ему помогали.

Когда в село пошла первая бытовая техника, он взялся ее ремонтировать и усовершенствовать. Он брался чинить не только дверные замки, утюги, динамики, электробритвы, но и швейные, стиральные машины, радиоприемники, телевизоры... Его изобретательность была в этом смысле беспредельной.

Все, что попадало ему в руки, как будто оживало.

Я знал, что он неплохо играет на гармошке, и был несказанно удивлен, когда он, устав смотреть, как я мучаю гитару, взял ее и вдруг выдал такое... "Это что?" - только и смог спросить. "Гибель Титаника", - сказал он, - хочешь научу?" Я с горем пополам освоил эту красивую мелодию и, каюсь, не раз эксплуатировал ее, когда в незнакомой компании нужно было произвести впечатление... А дядя Коля, как потом оказалось, прилично играл и на балалайке.

Одно время он увлекся фотографией, и немало столь дорогих нам теперь снимков в семейных альбомах сделано им. Есть на них и сам он - почти всегда улыбающийся. С улыбкой на снимке он очень напоминает известную всему миру фотографию Юрия Гагарина - этот романтический портрет нашей советской эпохи. Будучи в жизни суровым реалистом, хорошо зная, что в ней почем, в каких-то вещах дядя Коля оставался по-детски наивным. Почти всю свою жизнь он покупал всевозможные лотерейные билеты. Все надеялся выиграть... Помнится, я лет десять снабжал его билетами международной лотереи журналистов. Ему казалось, что они дают больше шансов на удачу - ведь тут в каждом билете "играл" только номер, а серии не было. Однажды дядя Коля выиграл жостовский поднос - рублей, кажется, за десять...

* * *

Водителем дядя Коля был классным. Машину он чувствовал так, будто она была частью его собственного организма или его продолжением. Как-то я обратил внимание на то, что он почти не пользуется педалью муфты сцепления - переключает скорости, не выжимая ее. Начал было его критиковать: это же, мол, неправильно... Он не стал смеяться над моей наивностью, а просто объяснил, почему он так делает. Однажды зимой он взялся попутно подбросить меня на молоковозе из Павлодара домой. Дорога не близкая, почти 200 километров, на улице минус 30 да с ветерком. И случилось непредвиденное: камнем из-под колеса встречной машины нашему молоковозу разбило ветровое стекло. А до конца пути еще километров семьдесят. Как быть?

Не слишком долго раздумывая, дядя Коля взял сложенное в несколько раз потрепанное байковое одеяло, которое он подкладывал себе на сиденье. Мы развернули его, натянули вместо стекла, защемили с двух сторон дверцами кабины. Дядя Коля проковырял со своей стороны дырочку, чтобы хоть чуть-чуть видеть дорогу, и мы отправились дальше. Часа через полтора были на месте.

Не помню случая, когда бы он жаловался на то, что его подвела машина. Может, потому, что была она для него чем-то сродни живому существу?

* * *

Как-то во время студенческих каникул он разбудил меня дома рано утром:

- Ты на мотоцикле-то сам ехать сможешь?

- Что за вопрос, - обиделся я, - да я с седьмого класса за рулем...

- Тут не прогулка - в Купино надо ехать.

- А зачем в Купино? Почему на мотоцикле?

- Попросят продавать!

И они с матерью доходчиво мне объяснили, что у нас в совхозе этих самых поросят перепроизводство, а в купинских деревнях, говорят, их чуть не с руками отрывают...

И мы поехали. Они с матерью впереди на "ИЖе" с люлькой, а я сзади на дяди Колином "Ковровце" с самодельной коляской. Поросят мы загрузили в два мотоцикла, что-то около десятка.

Была вторая половина лета, дождило. Мы буксовали, выбирались из грязи, толкая наши мотоциклы - дядя Коля вел нас окольными путями, чтобы не попасться на глаза какому-нибудь милиционеру, ведь водительских прав у меня не было. Проехав километров тридцать, попали под сильный дождь и пережидали его в подвернувшейся копне свежескошенного сена... Наше путешествие мне больше и больше нравилось...

Ближе к Купино стали заезжать в деревни. Большинство их в этом краю - в одну улицу. Мы останавливались где-нибудь у магазина или около колодца, и к нам тут же устремлялись любопытствующие: кто такие, зачем?

- Поросят продаем, - говорил дядя Коля.

Не скажу, что наш товар шел нарасхват, но понемногу расходился. Дядя Коля, оказалось, имел способности, как бы теперь сказали, и по коммерческой части.

В одной из деревень к нам подошла ядреная розовощекая деваха. Стояла, присматривалась и все сомневалась - брать - не брать.

- А ты сама-то замужем? - вдруг спросил у нее дядя Коля.

- Ну да, - зарделась та, - уже две недели...

- Ну, и сама подумай, - рассудительно заметил дядя Коля, - что у вас будет за семья без поросенка.

- Вот и мама говорит то же...

- Ну так выбирай, - дожимал дядя Коля, - хочешь кабанчика, уже большенький...
- Бери кабанчика, - посоветовала девахе стоящая рядом мрачноватого вида тетка, - да проверь, чтобы с двумя яйчками был... А то, говорят, однойцевые - квелье...
- Однойцевых не держим, - заверил дядя Коля, и спустя пару минут деваха рысцой устремилась к дому, прижимая к пышной груди визжащего поросенка.
Так мы и ехали, пока не добрались ближе к вечеру до Чубаровки - деревни, где жили материны родители. Поросят у нас осталось меньше половины. Их мать с дядей Колей продали утром на Купинском базаре.

* * *

Работник дядя Коля был неутомимый. Находиться при деле - это было его естественным состоянием. И за что бы ни брался - все горело у него в руках. Шоферская работа на селе - от темна до темна: то посевная, то сенокос, то уборка. Да еще скотина дома. Да картошку посадить, прополоть, выкопать. Да сена-соломы привезти. Иному деревенскому жителю - хоть зимой отдушина. А у него и зимой страда - переоборудовал свой "ЗИЛ" под лесовоз - и за лесом в Чалдай. Выезжали утром в четыре (значит, подъем - в три ночи), в любую погоду. В один конец четыре сотни километров. Бывало, к полуночи возвращались, а бывало - на следующие сутки. День на передышку, да и машину посмотреть надо. А потом опять в рейс. Работа на пределе человеческих сил. Но тянулся - надо было жить, обзаводиться имуществом, поднимать детей.

Наверное, и в город дядя Коля засобирился отчасти от идиотизма деревенской жизни - ее беспросветности. Работа, работа, работа - день и ночь работа, без сколько-нибудь видимых результатов. Он ведь почти не пил, не имел других дурных пристрастий, сам привык обходиться малым, а особого достатка в доме, можно сказать, не было. К тому же и дочери подрастали, задумывался и об их будущем.

В Павлодаре он устроился в автобазу молочного комбината. Начинать опять пришлось с "ЗИСа"-ветерана - он думал, что их уж в природе нет... Потом "дослужился" до другой подержанной "молоковозки", а потом - и до новой. Работа как работа - колеси по области, загружай молоко, вези в город... Но была у "молоковозников" одна "привилегия" перед остальной шоферской братвой - они выходили в рейс всегда, в любую непогоду, даже тогда, когда откладывались все другие пассажирские и грузовые рейсы.

Порядок был такой: пять дней работаешь, день отдыха. Но это в идеале! А на деле кто-то заболел, кто-то загулял, а молоко ждать не может - и нагружали тех, кто вез. Известно, что в праздники мало желающих работать. Дядя Коля не отказывался: надо было платить за только что полученную кооперативную квартиру, подрастали дочери. А в праздники - двойной тариф. Дальние рейсы были тоже его - он ведь надежен, не подведет. И ездил. Подъем в четыре утра, в один конец километров 300-350, домой попадал часам к десяти-двенадцати ночи.

Он и свой первый инфаркт получил за рулем. Как-то нехорошо стало - вроде изжога. Все же доехал, сдал на раскачку машину. Домой сам добрался, а уж оттуда увезли на "скорой" сразу в реанимацию.

* * *

Мне казалось, что дядя Коля с его житейской хваткой, выносливостью, какой-то удивительной внутренней силой будет жить вечно. В любой работе рядом с ним мало кто мог устоять. Он был коренастый, сбитый, жилистый - такого не согнешь, не сломаешь и с ног не собьешь. Рука у него была небольшая, теплая, шершавая - чуть не царапалась. Сена на воз сразу по полкопны забрасывал - не гляди, что ростом мал. И жил он с интересом, жадно. Ему до всего было дело, он все хотел попробовать, его все интересовало. Живя в селе, стал заядлым охотником. Случалось, уйдет зимой с утра на лыжах, а вернется к вечеру пустой. Но никогда не злился из-за этого:

- Разошлись мы сегодня с моим зайцем, - и улыбнется своей обезоруживающей улыбкой.

Тетка, конечно, недовольна: стоило ли ноги бить и мерзнуть весь день?

Он старается разрядить ситуацию:

- Беру обязательство в следующий раз принести тебе зайца не хуже, чем Гнатенко...

- А что у Гнатенко?

- Да он в прошлый понедельник пришел к нам в гараж и говорит: "Мужики, вчера на охоте был - зайца принес, жирный, как барсук". Мужики смеются, а он: "Не верите - спросите у жинки, она с него два стакана жиру натопила..."

Строговатая тетка улыбается. Неудачливый охотник прощен. Но чаще он приходил с добычей. Иногда и нашему дому перепало: то утка, то несколько куропаток или рябчиков.

Любил дядя Коля и тихую охоту - был он заядлым грибником. Даже работая в городе на молоковозе, умудрялся возить домой грузди, подберезовики, землянику - набирал в попутных колках.

Я знал, что он любил жизнь во всех ее проявлениях. Но никогда особенно не задумывался о том, что она (не в пример известной песне) почему-то не платила ему взаимностью.

Его жажда жизни утолялась работой, у него был свой, особый, хоть и неброский, талант - талант труженика.

И, как мне кажется, он, этот лучший из человеческих талантов, не был востребован временем, не был по достоинству оценен. Героями труда становились другие - шоферов наша советская власть по этой части не баловала. Но дело даже не в наградах - труд без показухи, работа как смысл жизни не были признаны эпохой. И, наверное, судьба дяди Коли - один из приговоров уходящей эпохе.

В сущности, он был очень одинок - почти не знал материнской ласки; не имел по-настоящему близких людей. Может быть, поэтому он как-то очень роднился со всеми нами - многочисленными представителями теткойной стороны: чем мог - помогал, ездил на все свадьбы и похороны, умел ненавязчиво быть рядом и в горе, и в радости.

И сам он оказался настоящим отцом - внимательным, заботливым, требовательным. У них с теткой было три

дочери. Сына им Бог не дал, хотя дядя Коля о нем очень мечтал.

Несчастье на их семью обрушилось, когда казалось, что все главные трудности позади: дочерей выдали замуж, у всех квартиры, пошли внуки, в которых дед души не чаял. Не дожив до 30 лет, умерла средняя дочь Надя. Осталось двое детей. Я до тех пор никогда не видел дядю Колю плачущим. Даже когда хоронили его мать. Она последнюю ночь проводила дома, пришли мы с матерью, моя сестра с мужем. Кто-то из детей боялся, а дядя Коля успокаивал:

- Не надо бояться. Покойник такой же человек, как живой - только мертвый.

Смерть дочери оказалась для него непосильным бременем - от этого удара он оправиться не смог.

Помню какую-то предпохоронную суету у поезда, из которого должны были выносить гроб с Надей. И дядю Колю - безучастно, одиноко, неприкаянно сидевшего где-то в стороне. Я подошел, сел рядом.

- Я теперь знаю, что самое тяжелое в жизни, - вдруг сказал он, - это когда хоронишь детей.

Заплакал, стал вытирать скомканным платком помутневшие красные глаза с набрякшими веками.

* * *

Из инфаркта дядя Коля выкарабкался долго, тяжело. И по всему казалось - сдаваться не собирается. Когда его наконец отпустили домой, мы с теткой приехали за ним в больницу. Мне непривычно и странно было видеть некогда неутомимого дядьку, передвигающегося мелкими шажками. На свой четвертый этаж он поднимался минут десять, отдыхая на каждом этаже и подкладывая под язык какие-то таблетки.

Но уже через несколько дней его руки запросили работы - родня и соседи опять потащили к нему всякую мелочь для ремонта. Он стал выходить на улицу. Хотя садиться за руль ему отныне было заказано.

- Я теперь как тот дед, что на трассе машины останавливал, - говорил он мне.

- Какой дед?

- Да еду я как-то, а на дороге дедок голосует. Я остановился, жду. Он все не идет, потом показался наконец.

"Тебе куда, отец?" - спрашиваю. "А куда, сынок!" - "Чего же останавливал?" - "Да я, сынок, бывший шофер, привык за сорок лет под заднее колесо ходить по-маленькому. Вот ты остановился - я и сходил. Спасибо тебе, езжай!"

- Честно признайтесь, придумали?

- Нет, правда было, - стоит он на своем. Но нет уже той "фирменной" хухоревской улыбки. Да и шутка в его нынешнем положении, в общем-то, грустная.

Он вообще после смерти Нади, а особенно после инфаркта, как-то обмяк, увял. Не стало в нем прежней стремительности, упругости, энергии. Он жил как бы по обязанности.

Ему дали группу инвалидности, потом пенсию. Он переделал дома всю работу, перечинил все, что было можно, у соседей по подъезду. Я нашел для него работу в одной из контор - по слесарно-плотницкой части.

Он вроде опять приободрился. А однажды его прямо с работы снова отвезли в больницу - со вторым инфарктом.

Дядя Коля и из него выбрался. Но стали сдавать другие "механизмы", и он засобирился на операцию - теперь уже предстательной железы. Готовился основательно, настраивал себя и врачей, говорил: "Надо так надо - я выдержу!"

У него оказалась раковая опухоль. Ее даже не стали удалять. Врач сказал мне, что такова практика: хирургическое вмешательство может спровоцировать развитие метастазов.

- Сколько же вы ему отводите? - спросил я.

- Больше пяти лет с этим не живут, - сказал он.

- Ну из больницы он выйдет?

- Ну, разумеется... Назначим лучевую терапию...

... Дядя Коля лежал в многоместной палате сразу у входа. Когда я вошел, вокруг него стояли тетка Нина, дочери с зятьями. "Собрались как у смертного одра", - подумал я, и мне стало не по себе. Я подошел ближе.

Дядя Коля нашел в себе силы протянуть руку. Рука была сухая, теплая, живая.

- Вырезали лишнее, - с усилием сказал дядя Коля, - теперь лет на тридцать еще хватит.

- Конечно, - сказал я, - мы с вами еще погуляем.

Мы все были твердо уверены, что дядя Коля не собирается умирать. А он сказал тетке (еще до операции), чтобы похоронила его в галстук и чтобы рядом припасла место для себя. "А то как я там один лежать буду"...

* * *

Мы с братом стоим у раскрытой могилы, куда опускают на полотенцах дядю Колю. У меня в ушах звучит всегдашняя братова шутка при встрече с дядей Колей:

- Дядь Коля, когда машину купишь?

- А у меня, Петя, целый миллион есть!

- Откуда столько?

- А еще не заработанный!...

Умер дядя Коля.

Я всю свою жизнь буду ему должен.

Рыжие, они счастливые

То, что у меня есть младший брат, я понял годам к двадцати пяти. То есть он, конечно же, был и раньше, уже семнадцать лет был... Но... как-то сам по себе. Или у меня руки до него не доходили, или у нас не было

особой надобности друг в друге... А тут, приехав домой с вождленным университетским дипломом отдохнуть от слегка утомившего меня высшего образования, с удивлением обнаружил: есть, вот он, брат Петька, с меня ростом, пышной рыжей шевелюрой, пытливым юношеским взором... И в рассуждениях - делать жизнь с кого? Мать втайне мечтала выучить "младшенького" на агронома. Чтобы он вернулся потом домой, растил народу хлеб, а она была бы рядом, нянчила бы внуков, как придет пора. Но подобная прозаическая перспектива брата Петьку не прельщала... К тому же маячил впереди, действуя как красная тряпка на бычка, пример двух старших братьев-романтиков... Один сразу после школы, очертя голову, ринулся с компанией себе подобных одноклассников в Сибирь - отстраивать город-памятник на месте исторической ссылки вождя мирового пролетариата В. И. Ленина. А когда жареный петух поклевал его в известное место, и их романтическая компания распалась, перешел работать в районную газету. По его стопам пошел второй брат и в чем-то даже обскакал первого, закончив журфак столичного университета. Так что Петьке вроде сам бог велел стать третьим. Но два других, успев хлебнуть прелестей журналистской романтики, отговаривали его от этой затеи, как могли. И он решил пойти своим собственным путем - попробовать свои силы на ниве юриспруденции. Благо, всего за четыре с половиной сотни километров был университетский город Омск с желанным юрфаком. Была еще одна подспудная, но не афишируемая причина выбора: поступать в Омск ехали друзья-соседи, с которыми так не хотелось расставаться.

Собирая младшенького в дорогу, мать сшила ему на трусах потайной карманчик для денег, который пришила сверху булавкой, собрала чемоданчик-балетку с вещами и, пригорюнившись, отправила с оказией на железнодорожный разъезд с поэтическим названием "Осенний", где на две минуты останавливался поезд, следовавший в Омск. Брат чувствовал себя не очень уютно: мучила неизвестность, а еще в голове все время была эта булавка на потайном кармане - вдруг расстегнется да уколется... Немного поколебавшись, он зашел в туалет, отстегнул и выбросил булавку, а деньги переложил в карман брюк. Вроде стало полегче.

Экзамены он сдал, но не настолько хорошо, чтобы быть принятым. Вернувшись назад, отсиживался дома, скрываясь от расспросов и участливых вздохов. Было стыдно, неудобно, одиноко. Жизнь казалась навек пропащей. А тут еще приезжает брат. С дипломом. От этого было горше вдвойне.

Вот так или примерно так я обнаружил, что у меня есть брат. Уже достаточно великовозрастный, не дурак и... тоже подумывающий теперь о журналистике. Поразмышляв об этой, увы, не новой жизненной коллизии, я решил: ну что ж, пусть попробует. Получится - дай Бог, ну, а нет - отрицательный результат тоже результат - поймет на худой конец, что не его это дело. И рекомендовал братана знакомому редактору районной газеты, где сам начинал пять лет назад.

Через год брат Петька решил поступать на журфак и только на журфак. Но на этот раз я уже не мог пускать дело на самотек и попросил присмотреть за ним своего университетского приятеля Ваську Дмитровского, обосновавшегося в Алма-Ате, а заодно и поднатаскать перед экзаменами.

В Алма-Ате Петьку ожидал сокрушительный удар - он опоздал на творческий конкурс, который был впервые введен на журфаке и проводился на неделю раньше обычных экзаменов. Впрочем, Ваську это нисколько не обескуражило - он убедил брата, что филфак гораздо лучше журфака, во всяком случае, для умного человека. Перед сочинением он наставлял Петьку:

- Начни с картинки - это всегда производит впечатление.

Петька выбрал тему о романтике Революции. Революцию он живописал в образе летящего на врага Чапаева. Само собой был там и лихой конь, и крылья бурки - как крылья птицы... Итогом стала "тройка", что при конкурсе в десять человек на место было равносильно краху. Но Петька этого, к счастью, не знал - по результатам первого экзамена вывешивался лишь список проваливших его - и пришел на устный экзамен по русскому и литературе готовым к бою. Его ответ экзаменатора устроил, и вот тут началось самое интересное.

- Ах ты, сукин сын, - сказал экзаменатор, заглянув в листок, где стояла первая Петькина оценка, - что вытворяет... Ну, тебе этот номер не пройдет!

Петька, ничего не понимая, испуганно смотрел на преподавателя. Он ведь не знал, что за сочинение у него "тройка", как и то, что она, может, не вполне справедливая, и что у его нынешнего экзаменатора свои счеты с тем, кто проверял сочинение. Тем не менее рядом с "тройкой" у брата появилась "пятерка", для чего экзаменатору пришлось его куда-то водить, что-то доказывать. Теперь у него замаячили кое-какие шансы. Зато Васька от души поиздевался надо мной по телефону:

- Что ж ты такого балбеса мне подсунул? - деланно возмущался он, - он же сочинения писать не может...

- Я тебе человека доверил, а ты обделался, - пытался парировать я, но крыть мне было нечем...

- Хорошо еще, что я его поднатаскал по-устному, - набивал себе цену Васька.

- Это тебе зачтется, - соглашался я, - а если провалится - ты мне ответишь...

Следующей была история.

- На экзамене, как в любви, молодой... Понимаешь? - разглагольствовал Васька, наблюдая за безуспешными Петькиными попытками сходу пройти по всем вопросам.

- Не понимаю, - разводил руками обалдевший от зубрежки брат. - Как это?

- Как в любви - удивлять надо, - делился жизненным опытом Васька. - Ну, вот что ты сейчас зубришь?

- Правление царя Николая Второго...

- А давай мы поглядим - с чего все начиналось?

- Что начиналось?

- Династия Романовых!

Васька притащил откуда-то том Большой Советской Энциклопедии и заставил Петьку проштудировать главу про династию Романовых. Это было, кстати, едва не последнее, что прочитал брат накануне экзамена. И надо же было такому случиться, что один из вопросов, ему доставшийся, был посвящен как раз эпохе правления

одного из царей Романовых. Лишь упомянув о нем, Петька стал добросовестно излагать историю дома Романовых - благо, она еще не успела выветриться у него из головы. Этим он совершенно покори́л двух старичков-экзаменаторов, они слушали его, как зачарованные. И когда он, двигаясь вверх по генеалогическому дереву Романовых, дошел до нужного царя, они согласно закивали головами: "Достаточно, молодой человек, достаточно..."

С экзамена Петька шел героем: старички сказали, что у него теперь есть все шансы быть принятым, для этого вполне хватит "четверки" по иностранному. Хотя эйфория быстро прошла: при подготовке к немецкому на Ваську-"англичанина" рассчитывать не приходилось. Как, впрочем, и на свои более чем скромные знания. Васька это тоже понял и сказал ему напоследок:

- Будут мужики - попытайся сыграть на своем крестьянском происхождении: скажи - какой там немецкий, у нас до сих пор свет в деревню не провели...

- Ну да, - обиделся за родину Петька, - у нас полсовхоза телевизоры смотрят!

- А если бабы, - не удостоив вниманием Петькину реплику, заключил Васька, - бей на обаяние.

- А что надо сделать? - простодушно поинтересовался брат.

- Ну, я не знаю... Сделай что-нибудь этакое... Им ведь там скучно до смерти.

Экзамен, на братово счастье, принимали две женщины: пожилая, костлявая, как сушеная вобла, старуха, с бесстрастным выражением лица (конечно, она была главная) и совсем юная особа, еще глядевшая на мир широко открытыми глазами. Старуха отчаянно дымила "Беломор", молодой это, похоже, не нравилось, но старшей перечить она не могла.

Заданный текст Петька с горем пополам перевел, что-то переврав и что-то домыслив, и по сверхсдержанной реакции обеих понял: "четверкой" тут не пахнет. Но в этот самый момент окончательно задымившая своим "Беломором" крошечную аудиторию старуха послала напарницу открыть форточку. Та с поручением не справилась, стала бросать оттуда беспомощные взгляды, и Петька, как молодой лось, ринулся ей на подмогу. Если бы даже форточка не открывалась - он бы вынес ее вместе с рамой.

- Ну что ж, с окном вы справились лихо, - ядовито заметила старуха, затягиваясь очередной "беломориной", - давайте, однако, вернемся к немецкому.

Петьке предстояло рассказать про любимый город. Само собой - им стала Алма-Ата. А поскольку запас слов у брата был близок к нулевому, рассказ его в переводе на русский звучал примерно так: "Алма-Ата - большой и красивый город. Здесь много больших и красивых улиц. На улицах большие и красивые дома. У домов большие и красивые деревья".

- Генуг, - жестом остановила его старуха и сказала своей юной напарнице что-то немецкое, а потому не совсем Петьке понятное. Хотя ключевое слово "драй" он все же уловил и сразу встрепенулся:

- "Тройка" - это конец, - произвольно вырвалось у него.

- Оказывается, он знает слова не только большой и красивый, - задумчиво сказала старая и изучающе взглянула на соседку. Та ответила ей просящим взглядом и покраснела.

- Ах, молодость-молодость, - понимающе вздохнула старуха и быстро, демонстративно, расписавшись на листке и не поставив оценку, двинула его по столу. Молодая в ответ просияла, и Петька понял, что судьбоносная "четверка" у него в кармане.

- Повезло твоему рыжему, - кричал мне в телефонную трубку, отправив Петьку домой, Васька... И говорил что-то еще, как всегда преувеличивая свои собственные заслуги и набивая себе цену.

* * *

Когда долгожданная "сотка", казавшаяся беременной от набившихся в нее пассажиров, показалась из-за поворота, Сергей-подводник сказал:

- Я же говорил вам: рыжие, они счастливые... Видите - к ним даже автобусы вне расписания подваливают. Одногруппники, стоявшие на остановке, улыбнулись знакомой Серегиной шутке и стали грузиться.

Серега вообще питал слабость к брату Петьке. Может, еще и потому, что их многое роднило: деревенское происхождение, легкое, если не сказать разгильдяйское, отношение к жизни, известная склонность к авантюризму, страсть к рыбалке. Да и потом куда им было деваться друг от друга, если мужиков на их почти сплошь бабском филфаке было раз-два и обчелся. Они да еще Хохол с Диаром. Но Хохол был тихушник с ангельскими голубыми глазами и обликом херувима, а Диару все время надо было помнить, чью фамилию он носит - такая уж была фамилия...

То ли дело эти два рубахи-парня... Их даже общежитская вахтерша тетя Паша называла "два сапога на одну ногу", слегка перевирая известную русскую поговорку.

Серега был старше на четыре года и, когда они познакомились, хотел сходу дать понять, кто будет кто среди этих факультетских салажат. На первом же совместном перекуре он выделил Петьку из остальных - протянул руку и с расстановкой представился:

- Серега. Подводник. Главный корабельный старшина.

И тут же услышал в ответ:

- Петро. Крестьянский сын. Лучший костровой района.

Будучи сам не из породы скромников, Серега это легкое нахальство сразу оценил, и они быстро подружились. Петьку он звал на ласковый манер Петрушей и в трудные минуты поучал:

- Как говорят у нас на флоте: не ссы в тумане - подавай гудки!

Самым оскорбительным выражением в Серегиных устах было - "по-базовски". То есть, не по уму, не по-мужски, не солидно. А пошло это выражение вот откуда: наиболее чтимой на флоте была служба на боевых кораблях, подлодках. Но были еще береговые базы, их обслуживающие. И вот тех, кто служил там, настоящие мореманы, подводники, к коим, безусловно, относился и Серега, презрительно именовали "базовскими".

Словосочетания "Дави базу!" (т.е. хлюпиков, маменькиных сынков, неумех) и мы не любим "по-базовски" (т.е. все делаем, как надо, на высочайшем уровне) фигурировали в Серегинной речи непрерывно. Скажем, когда он нес в двух руках сразу шесть кружек пива или выигрывал "золотой круг" в "тысячу одно", следовало неизменное: а что тут особенного - мы "по-базовски" не любим.

Они были не разлей вода. В общаге, на занятиях, в стройотряде. Когда пошла мода на межуниверситетские обмены студентами, не задумываясь, отправились на год в Томск - поучиться на здешнем филфаке. Лавров по части учебы не стяжали, а размеренную жизнь здешних общаг основательно встряхнули. И им не помешало даже то, что как раз в это время Е.К. Лигачев строил в здешнем краю социализм и по части спиртного тут была большая напряженка.

Они вместе ездили на Алтай, на Серегину свадьбу. В первый же вечер Серегин отец, приняв со студентами на грудь, наставлял их по мужской части:

- Сына и ты, Петро, запомните раз и навсегда правило: никогда, ни при каких обстоятельствах не признавайтесь одной женщине, что были с другой. Даже если она сама вас застукает прямо на ней. Говорите: сам не знаю, как вышло - шел, споткнулся, упал - и прямо на нее...

Едва обзаведясь семьей, Серега стал говорить брату:

- Надобно нам и тебя оженить, Петруша.

Петька в это время ухаживал за своей будущей женой. И однажды она решила, что пора представить его родителям. Не как жениха, разумеется... Позвала своих подруг, Серегу с Петькой. Только уселись за стол, и возникла понятная в таких случаях пауза, Серега, как заправский тамада, взял инициативу в свои руки и произнес первый тост:

- Предлагаю выпить за здоровье молодых!

Петька разом вспотел, его будущая жена готова была провалиться сквозь землю, а будущий тесть чуть не подавился рюмкой водки... Но в конце все как-то обошлось. И спустя какое-то время сыграли еще одну свадьбу... И даже закончили университет.

Серега зацепился в Алма-Ате, а Петька с женой уехал по распределению в Усть-Каменогорск, где стал читать на филфаке местного пединститута курс лекций по русской литературе. И тут ему вновь улыбнулась удача. Шефствующий над провинциальным вузом знаменитый Ленинградский Герценовский институт время от времени выделял своему собрату места в аспирантуре. Очередная вакансия припала на начало Петькиной педагогической деятельности, и он, ни минуты не раздумывая, отправился завоевывать северную столицу. Оказалось, он опоздал со своим приездом минимум на полгода, но каким-то образом ему удалось убедить сперва минвузовских чиновников, а затем и руководство кафедры Герценовского института, что это не станет помехой в его учебе. Меньше чем за неделю он уладил все дела в Москве и в Ленинграде и к самому Новому году прибыл в наш родительский дом, где ожидали от него вестей жена с дочерью и я, проводивший здесь законный трудовой отпуск.

Я встречал его на том самом разъезде "Осенний", с которого он когда-то неудачно стартовал в самостоятельную жизнь и откуда теперь возвращался домой аспирантом. Мы были возбуждены, как два молодых бычка. Нам думалось, что еще немного - и весь мир будет лежать у наших ног.

... Опьяненные его удачей и кое-чем посушественней, мы полночь болтались по засыпанному снегом совхозным улицам, и разгулявшийся к ночи буран не остужал, а еще больше пьянил наши горячие головы.

* * *

Как аспиранту брату в институтском общежитии полагалось койко-место в комнате на троих. Он же вознамерился жить в Ленинграде с женой и дочерью. По совету умных людей он пошел попытать счастья в одно из многочисленных ленинградских профтехучилищ, у которого были какие-то отношения с институтом. Рыжие, они счастливые - ему опять повезло, он застал директора училища в тот самый момент, когда тот ломал голову над планом политико-воспитательной работы по месту жительства воспитанников. Так что Петькин приход был для него тоже подарком судьбы. Они договорились о том, что аспиранты (это Петька брал на себя) будут регулярно вести в пэтэушной общаге беседы о русской литературе. А Петьке за это была обещана отдельная комната.

- До конца года, - уточнил замдиректора, - а там поглядим.

Как известно, нет ничего более постоянного, чем временные решения. Спустя несколько недель Петька настолько освоился в общаге, что ему было оказано доверие стать здесь вахтером. Он согласился еще и потому, что аспирантских денег на прожитие никак не хватало, но в качестве дополнительной льготы со временем вытребовал себе еще одну комнату. Теперь в одной, попросторнее, они жили с женой и дочерью, а в другой, смежной, у них было что-то вроде кухни и кладовой.

В этой второй останавливался и я по время моих нечастых наездов к брату. Мне хорошо спалось в крохотной, похожей на пенал комнатушке, на узкой, задвинутой в угол железной койке с продавленной сеткой, какие теперь вряд ли где встретишь. На правах хозяина брат водил меня по городу. Мы бродили по Невскому, Летнему саду, ездили в Пушкин, Павловск, Петергоф. Иногда он для контраста заводил меня в старые ленинградские дворы - серые, мрачные, похожие на каменные колодцы... Нам было хорошо вдвоем, мы очень дорожили этими нечастыми встречами.

Все три с половиной аспирантских года Петька прожил в той самой пэтэушной общаге, сутки работая, трое отдыхая - то есть занимаясь тем делом, ради которого приехал в Ленинград. Но поскольку большая часть его жизни проходила именно в общежитии, есть смысл хотя бы кратко рассказать о некоторых его обитателях. Вместе с ним тут жил аспирант Петя из Кустаная или Петропавловска, загремевший от ленинградского житья-бытья в психушку. В комнатах по соседству обитали милиционеры и военные с женами и детьми. Среди его знакомых был некто Миха Козлов, когда-то студент того самого Герценовского института. Специфическое

общежитское бытие его настолько засосало, что он постепенно растворился в нем, стал его частью. Институт бросил, а жить продолжал здесь, исполняя обязанности дворника.

К Петьке Миха относился с большим пиететом. Во время дежурства приходил к нему на вахту, сидел часами, ведя умные разговоры. А заканчивал их неизменным:

- Нет, своих детей я приведу учиться к тебе... И пояснял: - дядя Петя плохому не научит.

К концу своего аспиранства Петька сменил Миху на посту дворника, а тот, в свою очередь, занял еще более высокую ступень в общежитской иерархии, заполучив место сантехника. Этому ремеслу Миху выучил бывший сельский житель пятидесятилетнего Федор Михайлович, по кличке Достоевский. Как он затесался в пэтэушную общагу, никто не знал, да это было и неважно - казалось, он был тут всегда. Федор Михайлович виртуозно изъяснялся русским матом. Другими его достоинствами были поистине золотые руки и уникальный предмет мужской гордости, длина которого в походном положении составляла 23 сантиметра (на спор замеряли). Так что от недостатка женского внимания Федор Михайлович не страдал, время от времени поджениваясь и разводясь. Когда Федор Михайлович, устранив очередную неисправность, слышал слова благодарности, веско, со значением отвечал:

- Спасибо не булькает!

Каким-то образом Петьке удавалось совмещать эти две свои жизни - фантазмагорическую общежитскую и официальную аспирантскую. Конечно, ему приходилось крутиться, зато он вовремя сдал кандидатский минимум, написал приличную диссертацию, защитился.

На этом кончается романтический период жизни брата Петьки и начинается другой ее этап, в котором он предстает уже Петром Дмитриевичем. Но об этом как-нибудь в другой раз, если будет время и желание...

У сестры

Дом стоит на отшибе. Он весь в тени деревьев, среди которых не только старожилы Железинки клены и великаны-тополя, но и - диво-дивное для здешних усадеб - уже набравшие силу сосны. В жаркий летний день во дворе пахнет смолой и хвоей - почти как в бору.

В этом доме лет десять назад обосновались наша сестра Наталья и ее муж Николай. Мы с братьями и моими детьми любим бывать здесь, сочетая отдых с помощью сестре и зятю в их хлопотах по хозяйству.

Приезжаем чаще летом, на исходе дня. Небольшой узкий дворик чисто выметен - сестра готовилась... Завидев нас, визжит, суетится, вертится юлой крохотный кобелек Лепка - просится на волю. Всех нас он знает и рассчитывает на заступничество. Но сегодня этот номер, кажется, не пройдет... Едва обнявшись с нами и приняв наши немудреные гостинцы, сестра с самым грозным видом направляется к Лепке. Тот вертится еще неистовей.

- Ты рыл? - нарочито строго вопрошает сестра, - зачем ты опять рыл? - Потом, обращаясь к нам, негодует: - Всю землю возле будки перепахал - уже и била, и ругала...

Лепка виновато тупит голову, делается еще меньше ростом, всем своим видом демонстрируя глубокое раскаяние...

В этот раз Лепке повезло. Мы с братом Петькой прихватили с собой моего младшего сына Пашку, он умоляюще смотрит на тетку, безмолвно прося пощадить Лепку, и сестра великодушно дарует ему свободу. Тот на радостях начинает бешено нарезать круги по всей усадьбе.

Глядя на беснующегося от радости Лепку, начинает проявлять беспокойство и молоденькая сучка Тинка, помесь колли и овчарки. По сравнению с кривоногим, вечно грязным, напрочь лишенным какой бы то ни было растительности Лепкой, Тинка - настоящая красавица: у нее длинная умная морда, опрятная золотистая шуба. На нас Тинка смотрит с некоторым интересом, доброжелательно, но без лепкиного подобострастия. Собака она достаточно воспитанная, умеет выполнять команды.

Правда, и с Тинкой случился недавно казус: она оценилась. И в этом не было бы ничего странного, если не иметь в виду то обстоятельство, что все время она проводила на цепи и вряд ли бы подпустила к себе чужака. Сестра с зятем недоумевали и грешили на любвеобильного Лепку. Он неисправимый блядун. Во время гона Лепка, вывернувшись из ошейника, по трое суток не приходит домой, обхаживая всех своих соседских подружек. Как Лепке удалось "угговорить" Тинку, годившуюся ему во внучки и смотревшуюся рядом с Лепкой, как великан по сравнению с лилипутом, остается загадкой. Но факт, как говорится, налицо...

А вообще у сестры живности полон двор. Вот уже взрослые коты Тиша и Парамоша, сытые, гладкие, как две капли воды похожие друг на друга. Они почти круглый год живут на улице, сами добывая себе пропитание. Несмотря на поразительную внешнюю ухоженность и некоторую флегматичность, коты они отчаянные - перевели всех крыс в сарае, от которых раньше не было никакого спасу. Потом один, кажется, Парамоша, стал хулиганить - потаскивать своих и соседских цыплят. И тогда зять отвез его в соседнее село, километров за пятнадцать. Спустя несколько дней слегка потрепанный Парамоша как ни в чем не бывало объявился дома. И с тех пор не безобразничает... А сейчас оба кота, сидя на небольшом крылечке у летней кухни, ожидают, пока сестра подоит корову и угостит их парным молоком. Это ритуал, который никогда не нарушается...

В доме у сестры живет кошка Маруся, мать Тишки и Парамошки, старая и очень умная. Сестра разговаривает с ней - когда ласково, когда требовательно, и кошка всякий раз отвечает ей своим кошачьим писком. У Марусяки есть еще одна поразительная способность: как бы ты ее не положил - на колени, на руки, рядом с собой - она может оставаться в том же положении очень долго, демонстрируя тем самым поразительную приспособленность к жизни и обстоятельствам.

У сестры большое хозяйство - куры и цыплята, корова Ночка, пара свиней, несколько овец и коз, индюки. Впрочем, идея завести последних принадлежит зятю. Он взял пару на развод в соседней Захаровке, чтобы

через год-два обеспечить семью диетическим мясом. По весне индюшки исправно несутся, но индюшата почти не выводятся. Зять грешит на индюка, которого сестра окрестила Семеном. Внешне Семен столь надменен, уважаем и самодостаточен, что поневоле заподозришь: до индюшек ли такому? Вконец разочаровавшись в достоинствах индюка-производителя, зять в прошлом году порешил его. Потом хвалился: "Вышло семь килограммов чистого мяса!"

В небольшом козьем стаде безраздельно царствует старый козел Борька - с белой стариковской бородкой и шершавыми витыми рогами. У Борьки высокомерный, нахальный взгляд, он коварен и зол и может любому задать трепку. Из всех нас он признает одну сестру, которая с ним особо не церемонится. И в случае чего нещадно лупит.

... Мы с братом колем дрова. Со звоном разлетаются поленья, жмутся в своем загоне козы. А Борька тут, рядом - все ему нипочем. Зная, что от него можно ждать любой пакости, брат миролюбиво говорит:

- Ты бы посторонился, Борис, а ну как поленом в лоб получишь!

Козел недружелюбно, не мигая, смотрит на него своими красными глазками, будто говоря: "Чего это мне уходить? Это мой двор - сам иди!"

- Ты прав, Борис, мы оба крутые парни, - не унижается брат, - чего нам с тобой делить?"

Борька трясет в ответ бородой... Мы ему явно не нравимся. Надо как-то налаживать отношения. Но в этот момент сестра за какую-то провинность "отвязывается" на зятя. Характер у нашей сестры - еще тот, и зятя она понуждает от всей души. Эпитеты, которыми она при этом его награждает, по некоторым обстоятельствам я вынужден опустить...

Впрочем, и зятек наш - крепкий орешек. Хорошо изучив бешеный нрав супруги и зная то, что запала ее надолго не хватит, зять обычно применяет в таких случаях тактику пассивной обороны - молчит или вяло отбрехивается. Но, бывает, и он не выдерживает. Как-то привез из города по ее заявке конфет. Конфеты сестре не понравились, и когда она понесла его по кочкам, зять, не долго думая, взял весь кулек и выбросил на дворе в лужу... А я в это время приехал к ним и застал сестру за весьма странным занятием - она огородной тяпкой выуживала кулек из лужи.

- Чего это она, Михалыч? - спросил зять.

- Сама, блин-ешь-твою-мать, заказала, а теперь я, блин-ешь-твою-мать, виноват, - загадочно отвечивал зять.

- Ну что ж, вполне исчерпывающе и ясно, - согласился я, - чаем-то напоите?

... На этот раз миротворческих усилий не потребовалось. Из сарая появились зять с невозмутимым бронзово-коричневым от загара лицом и слегка покрасневшая сестра.

- Ну что, Михалыч, завтра на говны? - полюбопытствовал брат.

- Уж засрались так засрались, - снова зыркнула на зятя сестра, - сколько за тебя мои братья навоз будут убирать?

- Ничего: пусть маленько поработают, чтобы знали, как мясо достается, - парирует зять. Он знает, что мы его любим, и не упускает возможности подшутить над нами, как, впрочем, и "припахать" нас на своем подворье. Потом мы наскоро умываемся и идем к летней кухне, где сестра собирает на стол. Уже совсем стемнело, на угольно-черном небе выпали неправдоподобно яркие и крупные звезды, каких никогда не увидишь в городе. Звенят невидимые в ночи комары, вкусно пахнет дым братовой сигареты, смешиваясь с ароматом цветущих у входа в кухню вьюнков. Мы больше молчим, чем говорим. На душе хорошо... Спокойно...

Я помню...

Талисман

Впечатления детства - самые яркие. И подчас - самые неожиданные: с течением лет забываются события, казавшиеся в пору их свершения наиважнейшими, а какая-нибудь мелочь, пустячок из детства помнятся всю жизнь...

В четвертом классе мне делали операцию аппендицита, в участковой больнице, за два десятка километров от нашего совхоза. Конечно же, я отчаянно трусил, но меня согревала и успокаивала одна-единственная мысль: пока я в носках - все должно быть хорошо... Дело в том, что утром мать помогала меня собирать в больницу и сама надела на меня носки. И вот потом, оставшись один, я внушил себе: раз носки на мне, я по-прежнему связан с ней, значит, она как бы рядом со мной.

Когда за мной пришли на операцию, меня тревожило только одно: надо будет снимать носки или нет? Для меня это был вопрос жизни и смерти.

Разумеется, носки пришлось снимать...

Операция была без наркоза, но помню ее плохо: прикосновение к животу чего-то металлически-холодного, укол, еще укол... Затем перед глазами окровавленный червяк с белыми вкраплениями внутри - аппендикс - его мне показал хирург...

Всё это время в мозгу билась одна и та же мысль: носки, ведь я снял их ненадолго, они еще хранят прикосновение материнских рук, главное - побыстрее их одеть.

От операционной до палаты я шел сам. Едва добрался до кровати - взялся за носки.

- Ты что, с ума сошел? - рванулась навстречу сопровождавшая меня медсестра.

Но, к счастью, она опоздала: носки уже были на мне.

... Тридцать с лишним лет минуло с того времени, и как мне жаль порой, что нет у меня теперь такого заветного талисмана, который так же, как тогда, мог бы придать уверенности в трудную минуту, подарить надежду...

Запах картошки

В первые годы целины наша семья жила бедновато. Как-то случилось, что у нас не хватило картошки до нового урожая, а купить, наверное, было не у кого, а скорее всего - не на что. И вот к нам пришли гости и принесли с собой картошку... Взрослые стали её варить. К столу, когда в доме были гости, нам, детям, подходить не полагалось...

Мы жили небогато, но никогда не голодали... А я до сих пор помню, как пахла та картошка, принесённая гостями, которую варили у нас дома. Мне и теперь кажется, что я не знал запаха вкуснее этого. Картошки в тот раз нам не досталось. А запах помню. И картошку люблю во всех видах.

Спальное место

Когда в наш совхозный дом неожиданно приезжали гости, и надо было как-то всех разместить, для одного из нас, детей, мать сооружала совершенно необычное ложе из трёх-четырёх стульев... Она придвигала их к тёплой задней стенке русской печки, выходящей в зал, - так что спинки образовывали что-то вроде загородки. Затем мать застилала стулья какими-то фуфайками, старыми пальто, и получалось восхитительное ложе - мы едва не дрались за право спать именно здесь.

Ножик

(Кое-что о педагогике)

Не помню точно, сколько мне было лет - наверное, семь-восемь - не больше. Я был в доме у друзей моих родителей - дяди Саши и тети Тоси Агеевых, оказался в комнате один и вдруг увидел ножик, вернее, ножичек. Это был не простой ножичек, с одним лезвием, нет, их было два - большое и маленькое, а еще шило, открывалка для консервов. Он был не плоский и не толстый и так хорошо, ладно ложился в руку, ласкал и охлаждал ладонку... Никогда еще я не видел таких ножиков, у меня учащенно билось сердце... А что если я возьму его? Может, никто и не заметит... А может, он вообще им не нужен - иначе почему лежит просто так? Нет никаких сил положить ножичек на место. Я возьму его... на время... Поношу, поиграю, а потом принесу и положу обратно...

Я взял ножик, спросился домой. "Ты же только пришел, - сказала тетя Тося, - куда спешишь?" - "Мне надо домой", - тихо сказал я и испугался: а вдруг она поймет, спросит: "Что это у тебя в кармане?" И я ушел. Дома никак не мог найти укромное место, чтобы получше рассмотреть свою добычу. Восторг, радость куда-то улетучились... Ножичек теперь доставлял мне беспокойство. Спрятать бы его! Но куда? Вдруг найдут?

Казалось, ножик вот-вот прожжет мой карман.

- Ты что такой взъерошенный? - спросила мать. - Не заболел?

Я вяло помотал головой, отвел глаза.

- Что с тобой? Почему у тебя рука в кармане? Что у тебя там?

- Я непроизвольно вытащил руку - вместе с ножиком. - Откуда это у тебя?

- Нашел...

- Где?

Я больше не мог носить в себе свою страшную тайну и, опустив голову, выдавил:

У Агеевых...

Она все поняла. Не было никаких трепок, хотя по этой части мать была очень быстра на руку, ни даже внушений. Мне было велено пойти и отдать ножик, сказать, что случайно положил в карман и забыл... Что я и сделал.

Потом я еще "находил" авторучку. Верхняя часть корпуса у нее отвинчивалась, открывая пипетку, которой закачивались внутрь чернила. Это было нечто фантастическое - я опять не устоял. В доме у нас таких вещей отродясь не было, и мать меня опять застучала. И снова не наказала, а велела вернуть. С тех пор - как бабка отшептала... Но к хорошим ножикам и авторучкам я до сих пор неравнодушен.

В первый пар

За свою еще не слишком долгую, но уже и не столь короткую жизнь мне довелось побывать в приличном количестве бань. Были среди них многообразные русские, финские и даже одна турецкая, были бани общего пользования и семейные; случалось и в "номерных" банях... А помнится более всего наша собственная, домашняя...

Отец наш страстно любил париться, а приличной парной в целинном совхозе, где мы жили, не было, вот он и загорелся идеей занять свою собственную баню.

Место под нее определили на задворках усадьбы, в огороде. Выкопали яму размером метра три на четыре.

Нарастили пластынные стены - примерно на один метр от земли, наложили сверху березовых жердей, укрыв их опять же пластом, соорудили крохотное оконце - почти на уровне земли - и собственно "здание" оказалось готово. Внутри выкопали еще одну яму - для стока воды, настелили пол, соорудили полок, лежать на котором взрослый человек мог, лишь подогнув колени. Примерно четверть бани занимала печь, сложенная из кирпичика. Полукруглый свод ее состоял из тех же кирпичей да из бутового камня - это была еще и каменка. Слева в углу всегда стояла большая кадушка с водой. Чтобы вода была погорячей, использовалось весьма своеобразное средство. В печи всегда специально нагревались два отслуживших свое гусеничных трака. Когда они накалялись докрасна, их бросали в кадушку. Был еще небольшой предбанник: углубление перед баней, прикрытое от ветра то ли рубероидом, то ли ещё чем-то.

Придирчивый читатель может не без ехидства спросить: а не забыл ли я про такую небольшую деталь, как труба? Но в том-то и дело, что никакой трубы нашей бане не полагалось. Наша баня топилась по-черному: дым выходил не в трубу, а в дверь. Не знаю уж, почему баня была именно такой (вероятнее всего, такую оказалось проще соорудить), знаю лишь, что популярностью в округе она пользовалась чрезвычайной. От желающих посетить баню отбою не было. Вполне возможно, впрочем, что причина крылась не в каких-то особых ее достоинствах, а в том, что большинство наших соседей и такой не имели.

Баный день зимой - целое событие. В субботу после обеда мать затапливает баню березовыми поленьями. В это время мы, ребяташки, заняты подвозкой воды. Надо наполнить кадушку, в которой не меньше четырех-пяти фляг, затем трехведерный бак для холодной воды, почти такой же - для особо горячей... Нужен еще и резерв... В перерывах между поездками (воду возили из колонки) каждый раз проверяем, как горит печь. Поначалу дрова занимают неохотно, в настывшей за неделю бане полно дыма, несусветный холод. Но мало-помалу огонь набирает силу, и вот уже дым весело валит из двери, стелется по заснеженному огороду. Часа три-четыре топится баня, прежде чем мать, лично убедившись в том, что печь прогорела, а оставшиеся в ней угли уже не испускают голубоватого свечения, бросает призывный клич:

- Ну что, архаровцы, кто в первый пар?

Первый пар - не для слабаков. Обычно это привилегия отца. Иногда он берет меня с собой, и я этим горжусь. Мать вручает нам по стопке чистого выглаженного белья, по полотенцу, и мы отправляемся... Я в валенках на босу ногу, в трусах и в пальтишке на голое тело - бегом не замерзну.

И вот баня принимает нас в свое разгоряченное чрево. Все в ней дышит сухим зноем с ароматами дымка, березового веника, раскаленных камней, горячего дерева... Воздух так напоен зноем, что кажется густым, осязаемым: кажется, его можно потрогать руками. Сразу опалает уши, перехватывает дыхание, ощущение - вот-вот затрепчат волосы. Не выдерживая, я тут же присаживаюсь на пол - тут хоть дышать можно.

Отец, довольно покряхтывая, доводит до кондиции березовый веник, обдавая его в тазу кипятком и держа затем в горячей воде. Потом он не спеша взбирается на полок и, недолго полежав, начинает легонько охаживать себя веником - грудь, плечи, спину... Моя задача - быть наготове, чтобы в нужный момент поддать жару. Я уже зачерпнул ковшик горячей воды и жду сигнала, по-прежнему сидя на полу. Мне жарко, но я креплюсь - нельзя показывать слабость.

- Давай полковника! - командует отец. Я, чуть-чуть привстав, плескаю из ковшика на раскаленную каменку. Она как будто взрывается в ответ, и я сразу бросаюсь на пол, чтобы не изжариться заживо в этой встречной волне, заполняющей все уголки небольшой бани. Впрочем, волна достает меня и на полу, поэтому я опускаю лицо в таз с холодной водой.

Чувствую, и отца, однако, достало: веник утих, а с полка доносится протяжное: "А-а-а-а-а..." Впрочем, это продолжается всего несколько мгновений, потом снова слышу веник: сперва шуршание, потом легкое похлопывание и наконец настоящий хлест... Минут через пять снова следует команда "поддать", и я опять плескаю из ковшика на каменку, которая огрызается не менее злобно, чем в первый раз; и баня вновь наполняется невыносимым жаром. А отцу теперь вообще хоть бы что: правда, он парится лежа, но хлещет себя еще неистовей.

Успокаивается он лишь после того, как я поддаю в третий раз. Слизит с полка, голышом выходит на улицу и с минуту упоенно катается по снегу в огороде. Я с опаской наблюдаю за ним через едва приоткрытую дверь и вижу, что эта процедура доставляет ему неопишное удовольствие.

После купания в снегу отец отдыхает несколько минут в предбаннике, а затем вновь забирается на полок... И все повторяется снова. Правда, жар, как мне кажется, становится помягче, и каменка уже не взрывается в ответ на мои "поддавания", а недовольно фыркает...

Наступает мой черед париться. Поскольку сам я этого пока не умею делать, отец укладывает меня на полок и устраивает веником легкую экзекуцию. Сначала я терплю, потом начинаю орать благим матом, что на него никак не действует, и я получаю свою порцию здоровья с известной долей принуждения.

Зато потом мне тоже позволено недолго постоять в предбаннике и самому ощутить, с какой благодарностью принимает разгоряченное тело столь желанную прохладу. Эту телесную радость, это непередаваемое блаженство в состоянии оценить лишь тот, кто его пережил.

Моемся мы с отцом наскоро, без малейшего усердия. Наши расслабленные, напоенные легкой, приятной усталостью тела требуют покоя и отдыха.

Кусочек счастья

Студеное зимнее утро. Матовое солнце равнодушно висит над горизонтом: светит, но не греет. Мороз прибирает до костей, и я начинаю приплясывать, чтобы хоть как-то согреться...

Мне одиннадцать лет. Я жду открытия библиотеки. И для этого есть весьма существенный повод. Все детские

книжки, умещающиеся в библиотеке на одной-единственной полутораметровой полке, я давно перечитал, а вчера был завоз - сам помогал таскать. И вот дожидаясь библиотекаршу, а она, как назло, не торопится.

- Ты чего тут мерзнешь? - слышу наконец знакомый голос.

- Вас жду, - отвечаю я обрадованно.

- Так я сегодня новые книги не выдаю - их зарегистрировать надо, - мимоходом замечает она и, бросив взгляд на мою законченную фигуру, добавляет, - ладно, заходи - хоть погреешься.

Заходить после всего услышанного не хочется, но надежда еще теплится во мне, и я через темный коридор пробираюсь за ней в тесноватую, всего из двух комнат, библиотеку.

Доставленные вчера книги сложены на двух столах и на полу рядом с ними. Среди них и желанный том, который я еще вчера приметил. Из-за него и торчал на морозе, ожидая библиотекаршу.

Она успела раздеться и теперь усаживается за стол, поднимает ко рту покрасневшие ладони, дышит на них. Я по-прежнему стою у двери. Жду, пока на меня обратят внимание.

- Вообще-то не положено, - она говорит, будто сама себе возражает, - но ладно уж - вчера таскал, сегодня мерз... Какую тебе?

- Вот эту! - нужная мне книжка где-то в середине стопки. И пока библиотекарша извлекает ее, сердце у меня замирает: вдруг ошибся - и книжка не та, ведь ворошить всю грудку заново она, конечно, не будет.

- Гайдара? - вопросительно-утвердительно спрашивает она.

Та! Я торопливо киваю.

Она записывает название в мою потрепанную, со вкладышем, карточку, почему-то громко именуемую читательским формуляром. Я мигом расписываюсь и на рысках устремляюсь домой.

Я еще не знаю, что там, в книжке, но душа моя сладостно поет в предвкушении чтения. Это потому, что Гайдар мне немножко знаком: "Р.В.С." прочитал сам, "Чука и Гека" слушал по радио...

... Мое любимое место - в спальне у окна. Сквозь заледенелые двойные стекла пробивается солнечный свет и уже чуть-чуть греет. Синяя, с шершавинкой, обложка приятно холодит пальцы. Стараясь не спешить, открываю плотные спрессованные (еще никем не тронутые!), слегка потрескивающие страницы, читаю название - "Дальние страны"...

Проходит какое-то мгновение, и я погружаюсь в удивительный мир, бесконечно загадочный и далекий, и вместе с тем такой мне близкий и понятный. Я растворяюсь и плыву в нем - вместе с его героями...

Тепло, тихо, уютно. Прекрасные мгновения - слагаемые детского ощущения счастья - многогранного и многоликого.

Федя Попов

Воскресное утро. Вся семья в сборе, сидим за столом. Мать напекла пирогов, и мы их уплетаем за обе щеки. Нас, детей, четверо да двое взрослых - и большая, с горкой, эмалированная чашка быстро пустеет.

- Ну, вы даете, - смеется отец. Он в хорошем расположении духа и не прочь поговорить. - Как Федю Попова - не накормить.

- Какого Федю? - мы уже почти сыты, а потому не прочь и послушать.

- Да был у нас в деревне мужик - Федя Попов - так всего раз в жизни наелся.

- Ну, да?! - изумляемся мы хором. - А как же он жил?

- А так и жил - все время голодный: все садятся за стол, и он садится, все встают, и он встает. А сам никогда не наедается. Раз мужики говорят: "Федя, можешь килограмм сала съесть?" Он говорит: "Могу, только с хлебом". А все вместе только что из-за стола встали - пообедали. Принесли сала, свешали на безмене, булку хлеба нашли...

- И съел?! - восторгаемся мы.

- Съел - и хоть бы хны. Мужики говорят: "А еще можешь?" - "Могу", - отвечает, - только попить дайте сначала". Ну, они плюнули с досады и ушли...

- Ты ж говорил сначала, что наелся, - не унимаемся мы. Рассказ нас страшно заинтересовал.

- А это в другой раз, на базаре, было. Раньше знаете какие базары в больших деревнях были! По воскресеньям отовсюду народ собирался - не обязательно купить там что-то или продать, а пошататься, поглазеть... Из нашей деревни мужики тоже приехали, и Федя Попов с ними. Ну, выпили по шкалику и ходят по базару. А раз выпили - почудить охота. Видят - один мужик пирожки продает. Подошли. "У тебя с чем пирожки?" - "С картошкой". - "Сколько?" - "Было сто, четыре вот продал, девяносто шесть осталось". - "Давай на спор, что наш мужик все твои пирожки сейчас съест!" - "За раз?" - переспрашивает продавец. "Ну, да, прямо здесь". - "А на что спорим?" - загорелся тот. "А на что хошь!" - "Давайте так, - предлагает продавец, - если съест, тогда ничего не платите, а если хоть один не съест, за все, что съел, платите вдвойне". - "Ладно, согласны, - говорят мужики. - Давай, Федя, ешь от пуза и не подкачай, брат!" А тому - только дай. Ему эти пирожки - как нам вареники. Ну, а, с другой стороны, подумать: шутка в деле - такую прорву умять. Съел он пятьдесят штук и говорит мужикам: "Боюсь, братцы, не совладать со всеми... Уплотим за энти, пока не поздно." Те - ни в какую. Спектакль же может сорваться, да и денег жалко. "Ешь, - говорят, - Федя, насыщай свое чрево, другого раза, может, и не будет". Он дальше ест. Штук двадцать осталось. "Все! - заявляет. - Сытый. Спасибо, больше не хочу". Мужики видят - дело плохо, стали уговаривать: "Поднатужься, браток! Да такому, как ты, двадцать пирожков - да это ж раз плюнуть!.." Уговорили. Съел все до последнего.

- Все девяносто шесть? - ужасаемся мы. - И не лопнул?!

- Не подумал даже. Тот, что без пирожков остался, напоследок заругался: "Утроба, говорит, твоя нечеловеческая, в бога тебя и в душу!.." А Федя его спрашивает: "А ты в другое воскресенье еще сюда

приедешь?.."

Казалось бы, пустячный разговор, шутка - а до сих пор помнится.

Как свинью резали

Надо было резать свинью. Но, оказалось, некому. Отец сам не может, я, студент - тем более. Позвали на помощь соседей - застенчивого заикастого Витьку и собственно "забойщика" - дядю Колю с соседней улицы. Дядя Коля - громадный, заросший с головы до ног рыжим волосом, волосы растут у него даже на пальцах рук и из носа.

Договариваемся, как будем действовать.

- "А, чего там, - небрежно бросает дядя Коля, - придержите - да и все.

При этом он любовно трогает большим пальцем лезвие огромного, сантиметров на тридцать, тесака, и добавляет:

- Не тушуйтесь, мужики, от меня еще ни одна не ушла.

Долго ловим свинью, она отчаянно визжит, пока мы ее валим на дощатый настил сарая. Нервы у всех напряжены до предела, а дядя Коля не торопится.

- Чух, чух, чух, - приговаривает он и чешет свинье за ухом. Что он делает потом, я не вижу, слышу все заглушающий пронзительный визг...

Когда свинья перестала дергаться, дядя Коля встал, отряхнул с колен несуществующий мусор.

- Что, мужики, чуть в штаны не наложили, - он глядел на нас с превосходством - он имел на это право. -

Ладно, так и быть, пойдем перекурим это дело.

Курили на крылечке. Молчали, стараясь не смотреть друг другу в глаза.

Когда вернулись в сарай, свиньи на месте не оказалось - она как ни в чем не бывало ходила по загону.

Увидев ее, тщедушный и невзрачный Витька побледнел и медленно пошел на дядю Колю.

- Т-т-ты... М-м-мастер... Ни одна не ушла... Д-д-да я тебя самого...

Витьку еле оттащили.

Свинью кончали без нас с ним. И от свеженины мы тоже отказались.

За день до Первомая

Наша память избирательна и прихотлива. Почему одно помнится, а другое забывается? Мы не всегда это можем сами себе объяснить... Например, я помню мгновения, в которые впервые осознанно ощутил себя счастливым. Хотя повод к этому очень многим покажется до ничтожности несущественным.

Меня включили в сборную школы, отправляющуюся на районные соревнования. И вот как это произошло. Я тогда учился в шестом классе и особыми спортивными данными, увы, отмечен не был, особенно по части легкой атлетики. Несколько лучше у меня обстояли дела со спортивными играми - волейболом и баскетболом, которые входили в обязательную программу соревнований. И я страстно мечтал быть включенным в заветную шестерку счастливых, которым доверяют отстаивать честь родной школы, однако "не поглянулся" тренеру. Его звали Курмет Жусупов, он был на три класса старше нас и на общественных началах готовил "спортсменов" к олимпиаде районного значения.

Мне сразу было дано понять, что на основной состав могу не рассчитывать, но я все равно ходил на все тренировки. На таких, как я, те, на ком Курмет остановил свой выбор, оттачивали игровое мастерство.

Обычно мы играли пару таймов в баскетбол, после чего основная команда оставалась еще на свое собственную тренировку, а все остальные переходили в разряд болельщиков или отправлялись домой.

И вот однажды после одной из наиболее жарких схваток, в которой мы, дублеры, разумеется, проиграли, мне, единственному из них, велено было остаться на площадке с основным составом.

- Побросай в кольцо, - неопределенно сказал Курмет, как бы давая понять, что у меня появился шанс, но также и то, что он еще ничего не решил.

Я был готов бросать в кольцо истрепанный футбольный мяч (им мы пользовались за неимением баскетбольного) не только весь вечер - всю ночь... И не поверил собственным ушам, когда услышал курметовское:

- Завтра на тренировку - как штык...

Последнее было, разумеется, лишним. Я и в "вольноиграющих" не пропустил ни одной.

На следующий день был праздник. Первое мая. Мы с соседскими пацанами ходили за совхоз в поле. Леса стояли еще полные воды от недавно растаявшего снега, а на подсохших возвышенностях уже проклевывался густо-зеленый дикий чеснок. Мы щипали его и ели. Пахло оттаявшей землей, от березовых колков разливалась прохладная свежесть. И куда бы ни посмотрел, о чем бы ни подумал, все время, каждую минуту помнил: "Теперь я в команде, сегодня на тренировку..." Или наоборот: "Сегодня на тренировку. Теперь я в команде..."

И я пришел на ту тренировку. Кажется, один-единственный из всей команды... И был горд тем, что наш суровый Курмет не отправил меня по этому случаю домой. Мы с ним тренировались вдвоем...

Последний матч

После девятого класса меня взяли играть за совхозную сборную команду по футболу. Мне выдали оранжевую футболку под номером десять и старые растоптанные бутсы. Я понимал, какое мне оказано доверие, и всеми силами старался его оправдать. Старанием я пытался восполнить недостаток природных способностей. По правде говоря, это удавалось не всегда. И чаще всего в послематчевых разборках ветераны команды Толик Шарипов и Яшка Галицкий высказывали мне свое неудовольствие. И я не обижался - молчал или говорил, что постараюсь следующую встречу отыграть лучше... А про себя думал: пусть ругают, лишь бы из команды не выгнали.

Иногда за меня заступался центровой защитник Герка Гордеев. Герка имел устрашающую внешность и весил больше центнера (его держали в команде для психологического запугивания соперников, хотя по натуре он был очень добр).

- Да ладно вам, - утробно гудел Герка, - ну, молодой... Научится еще.

Со временем я и впрямь кое-чему научился, и ругать меня стали реже.

Но лучшим в нашей совхозной команде мне было быть не суждено - я числился в середняках. Играл я на правом краю, в нападении, однако голами свою сборную не баловал. И всё же был в моей спортивной жизни матч, за который мне и теперь не стыдно.

В то лето мы, отыграв первый круг, вышли в финал районного первенства. И я тоже должен был ехать на него. Но я уже закончил школу и поступил на работу в районную газету. Стало быть, играть за родной совхоз мне теперь было нельзя. Однако председатель районного комитета по физкультуре и спорту, с которым я успел познакомиться, разрешил мне доиграть сезон в составе совхозной команды.

Решающим оказался первый матч - с нашими соседями из совхоза "Весёлая роща". Игра у нас почему-то не клеилась, и к концу первого тайма мы проигрывали со счетом ноль - один. И в этот момент я забил гол.

Издали, метров с двадцати - двадцати трех. Дело в том, что мне иногда удавались особые удары - удары после касания мяча о землю, когда энергия отскока умножается энергией удара собственной ногой... Тут самое главное - поймать момент отскока, и я его поймал. Конечно, я не был уверен, что забью гол, но мяч, описав большую дугу, угодил точно в левое перекрестие ворот. Вратарь видел тот мой удар, но недооценил... Это была чистейшая, классическая "девятка". Я глазам своим не верил. Но факт оставался фактом, и меня уже тискали партнеры по команде.

- Ребята, надо выигрывать эту встречу! - сказал в перерыве совхозный комсорг (а по совместительству и методист по спорту) Володя Давиденко. - Яша, Толик, что молчите?

- Беру на себя гол! - заявил Яшка Галицкий.

- И я беру, - сказал Толик Шарипов.

Остальные молчали, зная своё место.

Во втором тайме мне опять улыбнулось спортивное счастье. И это был уже не случайный, а трудовой гол. Кто-то из наших издали "навесил" на "веселорощинскую" штрафную. Там был их защитник, и он готовился принять этот мяч... А я бежал к месту его приземления - именно мне он предназначался "на выход". Я бежал, и в этом было мое преимущество перед ожидающим мяча противником. И я "прошел" его - этого сильного, опытного защитника, прошел на скорости, увидел заматавшегося в воротах вратаря и за мгновение до удара почувствовал: "Будет гол!" (Никогда с тех пор мне не довелось больше испытывать этого удивительного чувства уверенности - ещё до самого удара). И мяч заплескался в сетке ворот.

Это был единственный гол во втором тайме, который принес нам столь желанную победу. Еще одну встречу мы сыграли вничью, а одну проиграли, получив в итоге почетное второе место.

Домой наша команда возвращалась через райцентр. По пути завезли меня. Я не хотел оставаться, хотел ехать вместе со всеми, отметить удачу... Но я уже работал здесь и должен был остаться... Яшка Галицкий и Толик Шарипов открыли бутылку водки (это была лимонная водка желтого цвета), налили по полстакана себе, плеснули на доньшко мне.

- Нормально отыграл, - сказал Яшка.

Игру сделал, - оказал Толик. И мы выпили - втроем. Потом они уехали. А я остался. Хотя душа моя уехала с ними вместе...

Признание

После окончания школы я пошел работать в редакцию районной газеты "Ленинское знамя", с которой больше года сотрудничал. Не могу сказать, что дела у меня пошли как по маслу. Тяжелее всего давались встречи с людьми: мои собеседники были много старше меня, мне казалось, они видят меня насквозь - всю мою никчемность - и говорят со мной исключительно из-за своей природной крестьянской воспитанности. А особенно трудно всего мне приходилось дома, в родном совхозе, где все меня знали как облупленного, а мне надо было расспрашивать односельчан о производстве, успехах, проблемах...

И вот пролетели два года, и я, неожиданно для самого себя, поступил на факультет журналистики КазГУ.

Уволился с работы, приехал домой в совхоз к родителям, чтобы собрать вещи - уезжать надо было минимум на полгода. Спать лег поздно - прощался с друзьями, бродил вместе с ними по дорогим сердцу местам, с которыми предстояло расставаться. Утром мать будит чуть свет.

- Вставай, к тебе мужики.

- Какие мужики, мам... Сколько времени?

- Скоро семь, - отвечает мать, - а мужики из бригады... Вставай-вставай!

Ничего не понимая, я встал, вышел на улицу. У нашего дома действительно была бригадная бортовая машина-развозка, с полным кузовом механизаторов. Бригадир, приоткрыв дверцу, одной ногой стоял на

подножке.

Я поздоровался.

- Тут, видишь, какое дело, - без предисловий начал бригадир, - урожай в этом году хороший.

Я сдержанно кивнул: знаю...

- Ну, вот... А у нас машин на вывозку зерна не хватает. Комбайны могут молотить день и ночь, а приходится стоять. Так что выручай, Дмитрич!

Так меня в жизни ещё никто не называл, и я сразу заволновался...

- Да как же я помогу?

- Ну как... Ты же в газете - напиши.

- Да я уже не работаю, учиться вот еду, в Алма-Ату.

- Ну, так и не теряй время, - подытожил бригадир, - садись и пиши, чтоб добавили машин.

И они уехали. А я пошел писать критическую заметку в "районку" - о том, что люди вырастили хороший урожай и теперь какие-то бюрократы не дают им работать в полную силу.

... Недавно прикинул, и оказалось, что мой журналистский стаж перевалил за четверть века. Случалось за эти годы всякое - были и приятные минуты признания моих скромных заслуг на газетном поприще. Но, кажется, не было ничего дороже той просьбы бригадных мужиков из такого теперь далекого августовского утра.

У нас на курсе

Гусар

Самой яркой, колоритной фигурой на нашем курсе был, конечно, Вовка Беев. Находясь в хорошем расположении духа, он, случалось, напевал вполголоса:

- Вла-а-димир Беев - кра-а-са-вещ-парень...

Надо сказать, пел он чистую правду. Вовка и впрямь был чертовски, вызывающе хорош. Но хотя сам гордился, правда, почему-то будучи лишь под солидным градусом, что "прошел путь от рядового до старшего сержанта", ему бы лучше подошел мундир гусара. Тем более, и замашки у него были гусарские.

По Вовке сохли не только студентки, но и некоторые преподавательницы. Расположением последних он небезгрешно пользовался на экзаменах. И сам был свидетелем того, как молоденькая аспирантка, принимавшая у нас экзамен по "Введению в литературоведение", буквально млела от восторга, слушая его невероятный, феерический бред... Талант по этой части у него был поразительный. В колхозе, на сельхозработках он буквально ошарашивал местных мужиков эрудицией.

Вовка говорил так:

- Как утверждает древнегреческий писатель Данте в своем бессмертном романе "Гаргантюа и Пантагрюэль", нет ничего лучше, чем, сходяв по-крупному, употребить вместо бумажки недавно вылупившегося цыпленка. Нет, мужики, вы чувствуете - какой кайф!

Мужики крутили головами, кричали, иные плевались, но никто не уходил - было интересно: а что еще скажет?

Однажды на студенческой вечеринке нам по обыкновению не хватило выпивки. За портвейном отправили Вовку и Толика Егорова - его для надежности, потому что он был полнейшей Вовкиной противоположностью. В магазин они ворвались перед самым закрытием. Портвейн был (до печально известной антиалкогольной кампании оставалось ещё лет десять), а вот продавщица, как водится, куда-то запропастилась... И когда Толик после бесплодных её поисков вернулся в отдел, он застал такую картину.

Вовка, сидя прямо на прилавке, пил кофе. Рядом стояла сумка, полная бутылок.

- Тебя за смертью посылать, Толян, - недовольно сказал Вовка и тут же, без перехода:

- Мать, ну что за дела, я же просил пару пачек "Казахстанских".

Не первой свежести продавщица, потерявшая дар речи, готова была зарыдать от того, что не в силах выполнить ещё один каприз красавца-мужчины... Но "казахстанских" у неё действительно не было.

- Ладно, - смиловившись Вовка, - завтра зайду. Пошли, Толян! Разумеется, он не зашел ни завтра, ни послезавтра. Дело в том, что в это время Вовка был безумно влюблен. Увы, его избранница тоже была хороша собой, избалована и вила из него веревки. Но он был по-гусарски настойчив и добился своего. Они подали заявление.

Это радостное событие отмечали в ресторане. В долг, на мои деньги - будущие супруги переживали очередной финансовый кризис. Все рассчитали чуть ли не по копейкам - и выпивку, и закуску, два-три рубля ещё должно было остаться на такси. Но в самом конце торжественного ужина, обалдевший скорее от свалившегося на него долгожданного счастья, чем от весьма скромной выпивки, Вовка ухватил за накрахмаленный передник официантку, провозившую мимо нашего столика тележку со всякой снедью и потребовал... мороженого и фруктов. То и другое было выдано, причем яблоки оказались отвратительно кислыми.

Когда официант принес счет, оказалось, что у нас не хватает трех рублей. От позора нас спасла невеста: когда Людку пригласил танцевать шеголеватый грузин, она не отказала ему, как другим, и принесла желанные три рубля. Взамен грузину была обещана встреча на завтра.

В конце концов они поженились, но этот брак, увы, оказался непрочным. Наверное, для одной нормальной семьи их двоих было слишком много.

Вовка напоминал о себе и после окончания университета. Притом, подчас самым неожиданным образом...

Как-то получил письмо от однокурсницы, и в нем, кроме всего прочего, страшное известие: погиб Беев... И

никаких подробностей...

Надо сказать, то были не лучшие времена у меня самого. Не особенно ладилась работа, полнейшая неясность с жильем, хотя я уже стал отцом семейства, словом, хандрил. Перечитав несколько раз горестные строки, обругал себя - у людей настоящее несчастье, а ты из-за какой-то ерунды сопли распускаешь...

Подумаешь - квартира! Будет же когда-нибудь, а Вовки уже не будет...

Срочно заказал по межгороду редакцию городской газеты, где работала жена Беева и стал в ожидании звонка прикидывать, как бы поделикатнее расспросить ее о случившемся. Соединили, на удивление, быстро. Услышал в трубке щебечущий Людкин голос, и начали одолевать сомнения: что-то не похоже на убитую горем вдову...

- Ну, как ты там? - спрашиваю мрачно, не зная, как подступиться к главному.

- Да, все в порядке, - отвечает бодро, - а ты как? У тебя что-то случилось?

- У меня-то все нормально, - говорю ей в такт и в душе ругаю себя последними словами за нерешительность.

- А чего звонишь - неужто соскучился?

- Что с Вовкой? - спрашиваю прямо в лоб.

- А что с ним делается, - удивляется она. - Работает...

- Но что-то же там у вас произошло? - не отступаю я. Она наконец догадывается о причине моего звонка и рассказывает о том, что он "отчебучил" на этот раз. В их город приехал в командировку наш однокурсник. Встретившись, как водится, посидели, посетовали на то, что нет рядом других университетских приятелей. А поскольку "посидели" крепко и желание увидеться с другими нарастало, отправились на почту и дали несколько телеграмм с идентичным текстом, извещавшим о трагической Вовкиной гибели и требовавшим срочного прибытия...

Уже на следующий день первый адресат прибыл в Алма-Ату из Киргизии. Разыскал приятелей. У них хватило ума позвонить на студию телевидения в тот город, где работал Беев. И когда он сам подошел к телефону, они, не успев порадоваться его счастливому воскрешению, по очереди сказали ему все, что о нем думают... Кое-кто из однокурсников, как потом стало известно, не имея возможности немедленно выехать, успел выпить за помин Беевской души. Ну что ж, значит, долго будет жить - есть такая примета...

В последний раз мы виделись с Вовкой лет через десять после окончания университета. Явился он, как всегда, неожиданно - с шикарным букетом и изящной очаровательной блондинкой. Ему было уже под сорок, ей - около двадцати. Впрочем, последнее уточнение вряд ли существенно. Владимир Беев был по-прежнему красавец-парень, и легкая седина только добавляла ему шарма.

Обычная история. В одну из своих поездок в дальний район Вовка снимал для телевидения интервью зампреда райисполкома. Зампред бальзаковского возраста пригласила Вовку поужинать, у неё он и заночевал... Как говорится, пустяки - дело житейское. Однако зампредша в результате оказалась беременной и задумала рожать. И вот теперь Вовка не знает, что делать. Как честный человек он должен жениться на ней, но любит другую... Вот с ней и приехал - посоветоваться.

Изящная блондинка сидела с нами. И все слышала. И на своего кумира смотрела с обожанием.

Любимец удачи

Сашка высок, худощав, длиннорук. Он называет себя интеллигентом в седьмом поколении, но на всем его внешнем облике лежит печать разгильдяйства и жизненной неустроенности. В нем поразительным образом уживаются известная образованность, деликатность и заурядное хамство. А вообще он человек действия - не всегда разумного, но активного действия.

На втором курсе Сашка со своим дружком после обмывки стипендии возвращались домой. Сашке показалось, что одна из телефонных будок стоит не на месте. Разумеется, они начали ее переставлять.

Переночевали в медвытрезвителе.

Через несколько дней Сашку прорабатывали на курсовом комсомольском собрании.

- Я - понял, - сказал в ответном слове Сашка.

- Что ты понял, Витковский? - допытывалась комсорг.

- Что нельзя мешать пиво, водку и шампанское.

Сашка был отчислен из университета и проходил исправление по практиковавшейся в ту пору методе на строительстве студенческого городка. Впрочем, через несколько месяцев он вернулся на наш курс. Более того, благодаря связям получил блестящее распределение, о каком никто из нас и не помышлял, - сразу в республиканскую партийную газету.

Как и следовало ожидать, Сашка не "вписался" в состав чопорной, застегнутой на все пуговицы редакции - ей пришлась не по нутру его неукротимая самобытная натура.

Сашка ушел в лесники.

При этом он преследовал две цели - во-первых, обрести желанную свободу и, во-вторых, разбогатеть.

Этот новый крутой поворот в его судьбе закончился тюрьмой. По просьбе одного из своих многочисленных приятелей Сашка срубил для некоего трудового коллектива к Новому году два сотни сосенок. На него кто-то настучал, вместе с сосенками Сашку и взяли. Приятель с обещанным письмом-заявкой как в воду канул. А Сашка получил три года.

Правда, из тюрьмы родственники, включив все мыслимые и немыслимые рычаги, его все же вызволили, тем более что и вина его, как оказалось впоследствии, была не слишком велика...

"Пропустив в жизни два времени года" (это его собственное определение), Сашка чуть поутих. Но с мыслью разбогатеть не расстался.

Его новой страстью стали пчелы. Обложив данью всех своих родственников, Сашка собрал две с половиной тысячи рублей, купил на них десяток ульев, несколько пчелиных семей...

С тех пор вся его жизнь была подчинена пчелам. Вот он звонит мне:

- Ты знаешь, в Алма-Ате клены зацвели...

- Поздравляю. Ну и что?

- Как что? - вспоминается Сашка, - ты знаешь, какой с кленов взяток?

Погода с этих пор приобрела для него сугубо прикладное, без оттенков, значение. Хорошая - это когда пчелы активны. ("Старик, это фантастика, каждая семья тащит в чай по килограмму - не меньше".) И плохая, когда пчелы в "простоях".

На зиму Сашка приволок ульи с гор в свою городскую квартиру. Он ведрами покупал для них сахар, держа при этом жену и дочь на голодном пайке... "Ничего, - говорил он им, - вы и без сахара обойдетесь, а мне нужна к весне сильная пчела. Сами спасибо скажете, когда я вас к осени медом залью..."

Сашка всерьез занялся проблемой скрещивания домашней пчелы с диким шмелем, надеясь к продуктивности первой добавить жизнестойкость второго...

Но произошло непоправимое. Жена травила на кухне тараканов. Их, правда, меньше не стало, а все до единой пчелы передохли, хотя ульи стояли в другой комнате.

Сашка был безутешен. Какое-то время он находился в прострации. А потом решил, что к жизни его могут вернуть только женщины. Сначала он обзвонил едва ли не всех своих знакомых нужного пола, прямо предлагая им свои выдающиеся услуги по этой части. Более чем прохладное их отношение к такому предложению несколько озадачило Сашку. Он решил сменить тактику. Вскоре представился подходящий случай. Работая в журнале для слепых ("Старик, у тебя в лучшем случае читают каждую строчку, а у меня - каждую букровку ощупывают"), Сашка познакомился в командировке с женщиной - администратором провинциального театра музыкальной комедии. Он пустил в ход всё свое недюжинное красноречие, но всё было без толку. Тогда он добился, чтобы его перевели в соседний с ней гостиничный номер. Ночью, как только она, вернувшись после спектакля, улеглась, Сашка перебрался со своего балкона на её... Она буквально окаменела от ужаса, увидев в темном проёме окна чей-то силуэт.

- Не бойтесь, - поспешил ее успокоить Сашка, - это я. Уж тут-то она, конечно, не устояла.

.. Недавно Сашка опять позвонил.

- Старик, ты не можешь помочь достать по дешевке колесный трактор?

- А что случилось?

Да вот решил настоящим делом заняться. Взял в аренду гектар земли - шампиньоны буду выращивать. Ты знаешь, шампиньоны по калорийности превосходят мясо, зимой на базаре килограмм идет по двадцать рублей. Старик, дело верное, хочешь - возьму в долю?

* * *

В Сашкиной жизни произошли значительные перемены. Из журнала для слепых он перешел в республиканскую молодежную газету. Года полтора он здесь как следует вкалывал - завоевывал популярность и авторитет - после чего, будучи утвержденным в должности собкора по одной из северных областей, фактически обрел статус свободного художника. Или, как он сам выражался, забурел. На работу Сашка теперь приходил, в лучшем случае, два-три раза в неделю, а когда кто-то из начальства пытался сделать ему замечание, Сашка резонно отвечал:

- Как я могу находиться на службе, если я собкор по Н-ской области?

Жить он, разумеется, оставался в столице республики, черпая редкие информации из "своей" области исключительно по телефону.

Работа в "молодежке" привнесла в его поскучевшую было жизнь и другие неожиданные перемены. За время одного из дежурств по номеру Сашкино внимание привлекла новая корректорша. Смуглолицая, длинноногая восточная красавица была лет на 15 моложе его, но последнее обстоятельство Сашку нисколько не смущало. По собственному Сашкиному выражению, он от нее "тащился". Вскоре их приятельские отношения перешли в близкие, а потом в очень близкие. Известная своей раскрепощённостью не только на газетных страницах, но и в отношениях сотрудников обоего пола друг с другом "молодежка" давно не знала столь бурного романа. Предметом особой Сашкиной гордости, помимо всего прочего, было то обстоятельство, что в жилах его юной подруги текла кровь потомков самого Чингисхана...

Впрочем, их безмятежное счастье было недолгим: как-то раз Сашкина жена, явившись на дачу в неурочный час, застала их в таком положении, когда любые объяснения бессмысленны, потому что вопросов просто не возникает. Пока подруга с достоинством одевалась, Сашка, зная крутой нрав законной супруги, зорко следил за тем, чтобы она не пустила в ход первый попавшийся предмет...

На этот раз все обошлось, не считая, правда, того, что путь не только на дачу, но и в собственную квартиру ему отныне был заказан. Но на переживающего вторую молодость Сашку это мало подействовало, он перебрался на постоянное житье к потомкам именитого рода. С этих самых пор в его облике начали происходить разительные перемены. Он стал появляться на людях в отутюженных брюках, модных пиджаках и туфлях; он взялся стричь ногти и даже расчесываться... Он выглядел столь respectable, что некоторые из старых друзей его просто не узнавали.

И только душа у Сашки оставалась прежней - она жаждала предпринимательской деятельности. Все это время бизнесмен в нем не умирал ни на минуту. Сашка ухитрился взять в аренду пару гектаров полузаброшенного яблоневых сада и с головой ушел в новое предприятие. На работе теперь его стали видеть еще реже. Тем же, кто пытался его урезонить, Сашка с обидой отвечал:

- Что я, сижу, что ли? Я сейчас свои сады понижаю... Дело в том, что доставшиеся ему яблони были, по Сашкиному мнению, чрезмерно высоки, и он задался целью "опустить" их кроны до оптимального уровня, что, как он уверял своего очередного собеседника, сулит и повышение урожайности сада. Обескураженные столь убийственной логикой ревнители редакционной дисциплины замолкали, а Сашка в очередной раз устремлялся в горы, к своему саду.

В то же самое время он активно изучал конъюнктуру рынка - как столичного, так и регионального. И тут он никому не мог довериться - торговал своим товаром сам, нисколько не смущаясь тем обстоятельством, что его родная "контора" находилась от рынка через улицу. Когда механизм формирования базарных цен в столице был им полностью раскрыт, Сашка взял командировку в ту область, собкором которой он по-прежнему числился и, загрузив полкупе отборным алмаатинским "апортом", отправился в путь. В качестве компаньона его сопровождала будущая супруга, которая, в отличие от законной прежней, сразу поверила в его счастливую предпринимательскую звезду.

Прямо с вокзала "спецкоры" отправились на базар, где в считанные часы распродали товар, не только покрыв затраты, но и получив кое-какой навар. Помимо всего прочего, Сашка живописал путешествие на страницах своей газеты в специальных заметках и, надо сказать, сделал это столь мастерски, что какое-то время спустя получил за них и еще пару-тройку других статей аналогичного содержания премию Союза журналистов СССР (тогда Союз был еще жив).

Премия оказалась как нельзя кстати. Разумеется, не сами деньги - не бог весть какие, а статус лауреата. Во-первых, были посрамлены те, кто все время пытался призвать Сашку к порядку на работе, кто теперь был он и кто они? Приставать отныне к лауреату союзной премии с дурацкими вопросами типа: а почему ты на прошлой неделе ни разу не появился в редакции? - было, по меньшей мере, бестактно. А во-вторых, именитая Сашкина родня, весьма смущенная предпринимательской деятельностью будущего зятя, ведущейся на грани фола, получила наконец блестящее подтверждение Сашкиной теории, суть которой он не раз ей разъяснял: творчество бизнесу не помеха - скорее наоборот. Теперь, когда его и здесь зауважали вдвойне, Сашкины руки оказались полностью развязаны для дальнейшего рывка в рынок.

Тут, кстати, умерла одна из его многочисленных тетей, и ее более близкие родственники уступили Сашке по сходной цене в пригороде половину дома, которую она занимала. Обосновавшись на новом месте и осмотревшись, Сашка, однако, решил, что половины ему будет маловато и, создав соседям "соответствующие" условия ("А чего их было жалеть, старый, - делился он после со мной, - они, ханыги, всю жизнь домами спекулировали..."), стал обладателем дома в целом.

Мы с ним какое-то время не виделись, но Сашка иногда позванивал, приглашал в гости. Я обещал - при случае, и вот такой случай представился.

- Да ты не тушуйся, старый, - весело говорил мне по телефону Сашка. - Найдешь меня просто. У меня перед домом котлован... Да нет - не бассейн... Это я овощехранилище затеял. Ну да, - на сотню тонн... Приезжай - покажу!

По этой примете я его кое-как и отыскал, проболтавшись минут сорок по абсолютно темной - хоть глаз выколи - деревенской улице, зажатой с двух сторон многоэтажками, а с третьей - автострадой... Сашка тут же потащил показывать усадьбу.

- Вот тут у меня Ташкент, - с гордостью объяснял он, указывая на выложенную из перегноя терраску, - солнечная сторона - даже зимой загорать можно... Я тут нынче устроил грядку для помидоров... С полтонны собрал, буду наращивать...

Само собой пошли к будущему овощехранилищу. Огромный котлован под него вырыл за поллитру знакомый Сашкин экскаваторщик.

А запустить овощехранилище Сашка намеревался в самом ближайшем будущем. И тогда, как он считает, можно будет перейти уже на оптовую торговлю продуктами (до этого они поочередно с супругой по-прежнему торговали на базаре сами) и выйти на годовой доход примерно в четверть миллиона рублей. (Уточню - встреча происходила до известной гайдаровской либерализации цен, когда рубль еще кое-что стоил - авт.). На первое время, говорил Сашка этого будет вполне достаточно.

Еще Сашка показал мне приобретенный неведомыми путями "Запорожец" - вездеход с порванным в нескольких местах брезентовым верхом. И хотя машина без номеров и без техпаспорта, это не мешает ему ею пользоваться. А если его останавливают гаишники или милиция, Сашка, ссылаясь на занятость, предъявляет вместо водительских прав и техпаспорта свое служебное удостоверение и пропуск на все заседания Верховного Совета (после обретения им лауреатства его утвердили парламентским корреспондентом газеты). И еще не было случая, чтобы его задержали.

- Да неплохо живем, - куря и непрерывно сплевывая, делился Сашка. - Мясо всегда свое, опять же дичь... Косуль, кабанов, а также мелких пернатых он бьет в окрестностях арендованного им сада из трех имеющихся в хозяйстве до сих пор незарегистрированных ружей. Еще завели кур (так что и яйца опять же свои), кроликов, но последние, правда, пока не ведутся...

Пошли в дом. Тут же Сашке в колени ткнулся светловолосый пацан лет трех. Второй, грудной, лежа в кровати, пускал пузыри... В остальном обстановка оказалась для меня вполне привычной - в доме был грандиозный беспорядок. Может быть, впрочем, еще и потому, что хозяева в целях перепланировки прорубили новую дверь в стене, ведущую во вторую половину их жилища. Зато Сашкина жена по-прежнему блистала красотой и свежестью - во всяком случае, незаметно было, чтобы она хоть в чем-то испытывала недовольство жизнью.

Сашка любовно и снисходительно тронул жену за тугую смуглую щеку, с превосходством поглядел на меня и широким жестом пригласил к столу:

- Вот так-то, старый!

* * *

Пропавший было Сашка опять позвонил сам.

- Жди в гости, старый! - заявил он. - А то теперь не скоро меня увидишь.

- Что, в капстрану, на дипработу? - ехидно спросил я.

- В Россию собираюсь, - не принял Сашка моего шутивого тона, - тут, верно, ловить больше нечего...

- А как же имущество, хозяйство?

- Все повезу с собой.

- На чем?

- Да я "КамАЗ" купил...

- За сколько?

- За шесть...

- Наших? - удивился я.

- Ну, старый, я в наших уже давно ничего не считаю - шесть штук долларов... Так что почти все своё в него и затарю.

- А мне говорили, что у тебя еще и "Нива" есть.

- И "Нива", и "ЛуАЗ", если помнишь, - лениво перечислял Сашка, - а еще пару "уазов", ну, типа "скорой"...

- Столько-то зачем?

- "КамАЗ" в аренду буду сдавать, на "уазах" перевозить оборудование, а "Нива" - для представительства. Все продумано, старый...

- Приезжай, - сказал я, - тебя встретить?

- Встретят, - многозначительно сказал Васька. - Там у вас есть одно малое предприятие, надо с ним разобраться. Взяли у наших ребят деньги и не возвращают... Придется потрясти...

- А ты что, уже и авторитет у деловых?

- Да уж имею вес, - отвечал он, - а ваших надо поучить - пусть не хулиганят...

Но Васька почему-то не приехал. И следующий его звонок был совсем издалека.

- Привет из нашей бывшей общей столицы, от российских фермеров, - услышал я его бодрый голос.

- Привет. А ты что в Москве делаешь?

- Да вот, заехал по делам, дай, думаю, позвоню другану.

- Расскажи, как устроился?

- Все ништяк, старый. Возрождаю родовое имение Витковских на орловской земле.

- Заливаешь, как всегда?

- Обижает, старый. Я же - Саша. Приехал в Орел, сразу пошел к Строеву... Да ты его знаешь, был секретарем ЦК по сельскому хозяйству. А теперь он там глава областной администрации. Меня сразу вспомнил - по материалам в "Сельской жизни"...

- Да у тебя материалов там было - раз, два и обчелся...

- Зато - какие? Принял меня, как родного, говорит - действуй, буду помогать.

- И где же ты обосновался?

- Записывай! Шаблыкинский район, совхоз "Хотьковский", деревня Глинки... Да я уже и землю получил. Дом построю - в три этажа. Приезжай - сам все увидишь!

Словом, это был Сашка, в своем обычном амплуа, полный надежд и самых грандиозных планов. Но, похоже, жизнь у российских фермеров не такая уж радужная, какой она ему показалась в первые дни и недели пребывания на отчей земле. Потому что его следующий звонок из все той же Москвы был гораздо менее оптимистичным. Нет, Сашка не жаловался - это не в его правилах, но и по тону, а главное - по очередной идее, которую он прокручивал, чувствовалось, что дела его далеко не блестящи.

- У вас там есть завод ферросплавов, - скорее уточнил, чем спросил Сашка.

- Есть такой, - сдержанно сказал я, догадываясь, что меня будут "подключать" к, наверняка, сомнительной акции.

- А директора знаешь?

- Знаю, но не так, чтобы очень...

- Ты поговори с ним, старый, мы ему тут нашли таких потребителей...

- Кто это - мы?

- Мы с ребятами из бывшего ЦК комсомола... Скажи, что в обиде не будет, да и тебе за посредничество подкинем!

- Ты же знаешь - я в эти игры не играю. Да и проблем со сбытом у завода, насколько мне известно, нет. Сашка наседавал, я отнекивался. Сошлись на том, что я вооружил его телефонами приемной директора без права ссылки на меня.

- Уговорим, - сказал на прощание Сашка, - жди скоро в гости.

Судя по тому, что в гости он опять не приехал - не уговорили... Да и не звонит что-то долго российский фермер Александр Витковский. Может, дела резко пошли в гору и старые друзья вспоминаются все реже? А может, проблемы заели?

Президент, или Нераспознанный талант

Он появился на нашем курсе где-то к середине университетского марафона, стройный, смуглый, с хитроватыми раскосыми глазами и фантастически пышной шевелюрой. Но вспыхнувший было к нему интерес,

вызванный скорее всего столь экзотической внешностью, скоро пропал. И то, что он много, часто без умолку, говорил, всегда намекая на какие-то особые обстоятельства, на какие-то полутаинственные связи, отнюдь не прибавляло ему авторитета. Скорее - наоборот. Как-то очень быстро за ним закрепилась репутация человека недалекого, ничего за душой не имеющего. Мы звали его - Пришелец. И вдруг после летних каникул новость - как снег на голову: проходил практику в "Комсомольской правде". Это когда мы все прозябали кто в районках, кому повезло больше - в областных, и лишь единицы-счастливчики - в республиканских газетах. Правда, никаких своих материалов, увидевших свет в "Комсомолке", он тоже не привез. Зато похвалился номером с автографами почти всех ее ведущих перьев.

О случившемся поговорили и стали забывать: ну, совершил вояж в столицу, покрутился в редакции, результатов-то, не считая автографов, никаких... А тут другая новость: руководителем диплома у нашего Пришельца не кто иной как редактор республиканской партийной газеты, человек весьма крутого нрава - к нему даже его сотрудники предпочитали без особой нужды не заходить. Но у моего однокурсника, видно, уже тогда появился какой-то особый талант, который никто из нас вовремя не распознал и не оценил. Защитился он на "отлично". Однако неумолимое распределение расставило все по своим местам, и назначение Пришелец получил в соответствии с весьма посредственным содержанием своего дипломного вкладыша - в районную газету - и самую что ни на есть тьму-таракань.

Там он долго не задержался и через несколько месяцев вновь всплыл в Алма-Ате. Потом лет пять или шесть трудился в каких-то пресс-центрах, конторах, нигде больше полугода не задерживался, пропадая из виду и опять появляясь на горизонте. К нам в город он приезжал по "спецзаданию "Правды", якобы заказавшей ему очерк об одном директоре совхоза. В течение нескольких дней он буквально терроризировал наше агропромское начальство, требуя то немедленно соединить его по телефону с Москвой, то машину, чтобы ехать к будущему герою, то доставить в город героя самого... Но названный им телефон в столице почему-то все время не отвечал, а с будущим героем очерка он так и не встретился...

Потом Пришелец опять неожиданно пропал и так же неожиданно объявился - в ту пору, когда на волне перестройки начали, как грибы после дождя, плодиться многочисленные кооперативы. Он стал членом правления какой-то их республиканской ассоциации, возглавил рекламную кооперативную газету... Впрочем, это, как всегда, продолжалось недолго. Он снова исчез, и с полгода о нем не было никаких вестей. Вдруг звонок - межгород, Москва. Приятный женский голос:

- С вами будет говорить президент Международного фонда малых народностей и этнических меньшинств... Сразу захотелось встать - ещё ни разу в жизни не говорил с президентами. Успел только подумать: ошибка какая-то, наверно.

- Привет, старина! - слышался в трубке до боли знакомый баритон. - Как дышишь? Не нужно ли чем помочь?

- Привет, - неуверенно сказал я, - а что ты там делаешь?

- Да вот - избрали... Уйма дел - все надо раскручивать... На днях в Бразилию лечу...

Тут я окончательно поверил, что это он: таинственность, полунамеки и ничего невозможно понять... Однако справедливости ради надо сказать, что на этот раз я был удостоен реального номера телефона и мне было предложено звонить, если буду в столице.

Оказавшись в Москве - позвонил. Дня три никто не брал трубку, и я уже почти поверил в то, что стал жертвой розыгрыша, как мне неожиданно ответили. Нет, разумеется, не сам Президент - его помощник-секретарь.

Строго осведомившись о том, кто я такой, но какому вопросу мне нужен Президент, и получив от меня сбивчивые объяснения (в самом деле - зачем мне Президент, что я мог ответить?), после некоторых раздумий секретарь сказал:

- Ждите у телефона. Вам позвонят.

Минут через двадцать телефон зазвонил и жизнерадостный голос произнес:

- Привет, старина! Что ты делаешь в наших краях?

- Да вот, был по делам, сегодня уезжаю... Хорошо бы встретиться.

- Так-так, сейчас посмотрим, что у меня сегодня, - деловито прозвучало в ответ, - в четыре часа - теннис, потом сауна, в шесть тридцать - бассейн...

Я сказал, что настаиваю на своем предложении.

- Ладно, - решил он, - жди. Сейчас позвоню в Совмин - вызову машину.

... Пришелец ничуть не изменился. Он был все так же строен и смугл, но еще и подчеркнута деловит. И, как всегда, ничего невозможно было понять из его таинственного, с полунамеками и полумолчаниями, рассказа... Разумеется, я несколько не сомневался в благородности и огромной важности предпринимаемых им усилий по защите прав и интересов малых народностей и этнических меньшинств (а таковыми, как я понял из его объяснений, являются не только малые, вымирающие нации, но и, например, русские, проживающие в Африке или, наоборот, африканцы, решившие перебраться к нам на постоянное место жительства), но, по правде говоря, куда больше меня интересовал другой вопрос: как он попал в Президенты?

- Как обычно, - пожал он плечами, - избрали на альтернативной основе. Было четыре претендента: два зарубежных и два наших. Главным соперником оказался наш... Да ты его знаешь: бывший посол, затем секретарь ЦК КПСС...

Вероятно, лицо мое выражало в эту минуту крайнее изумление, потому что Президент сделал паузу и предложил:

Хочешь - позвоню ему, прямо сейчас, отсюда. Мы с ним (прозвучала фамилия - из тех, что были в ту пору на слуху) теперь запросто...

Предложение позвонить звучало в ходе нашего недолгого разговора ещё не раз, и мне стоило усилий отговорить Президента от этой затеи.

- Слушай, а может быть, перетащить тебя к нам? - великодушно предложил он, - я недавно одного из наших сокурсников взял. Хотя с ним было проще - он, оказывается, мордва. А у тебя и отец и мать русские? Да-а, жаль... Но давай подумаем, что можно сделать.

Я вежливо, но решительно отказался. Во-первых, я не знал, что мне надо теперь делать с моими родителями, а во-вторых, моя работа меня вполне устраивала.

Президент вручил мне на прощание шикарную визитку, удостоверяющую, что он действительно Президент, и даже проводил меня на аэровокзал - на попутной машине, которую мы вместе с ним поймали на улице.

С тех пор наши пути долго не пересекались, и я грешным делом думал о том, что созданный нашим Пришельцем фонд приказал долго жить. Вдруг читаю заметку: в нашей республике создано отделение того самого Фонда и на его презентации присутствовал и выступил с речью Президент... "Вот тебе и Пришелец, - с запоздалым раскаянием подумал я, - наверное, все-таки талант у человека - большой талант".

Захотелось узнать, как обстоят дела на благоприятном поприще защиты прав малых народностей и этнических меньшинств. Но по телефону, значившемуся на подаренной мне визитке, сварливо ответили, что "они съехали", а куда - неизвестно: телефона и адреса не оставили.

К счастью, Президент скоро сам объявился. Его очередной звонок настиг меня в гостинице, на этот раз в Алма-Ате.

- Куда пропал, старина? Что нового?

- Да я все там же, это ты пропал, - отвечал я, делая вид, что обиделся. - Ты откуда звонишь?

- Ты знаешь, пришлось переехать. Штаб-квартиру будем переводить в Испанию или в Италию. В Союзе, сам понимаешь, нестабильность, а это сказывается на репутации Фонда... А тут я отдыхаю: знаешь бывший цеховский санаторий, блок повышенной комфортности, трехкомнатный люкс... Пару недель отдохну - и в Австралию...

... В последнее время я уже ничему не удивляюсь. Просто жду звонка. Он обещал позвонить из Австралии или из Аргентины, куда тоже собирался.

Похороны любви

Он и Она. Студенты-первокурсники. Он - закомплексованный деревенский парень, и мысли не допускающий о том, что может всерьез понравиться девушке. Она - тоже из деревни и в глубине души верит в появление своего принца. Она черноглаза, черноволоса и хороша той неяркой, неброской внешностью, за которой подчас таится истинная красота.

И Он, и Она - натуры романтические, и это их быстро сближает. Но, впрочем, их отношения остаются чисто дружескими. При этом Он сгорает от любви, а Она понятия не имеет о чувствах, которые его обуревают. Ей вполне хватает его хорошего отношения к ней, а Он счастлив от возможности видеть Ее каждый день, оттого, что их комнаты в общежитии расположены напротив, а уж тем более тогда, когда они оказываются рядом, за одним столом в университетской аудитории. А однажды Она Его даже поцеловала. И хотя это был дружеский поцелуй, в щеку, по поводу Его дня рождения, душа Его затрепетала: ведь это было первое прикосновение Ее Губ. Он впервые увидел их так близко - чуть-чуть полноватые, четко очерченные. И еще, оказывается, на верхней, слегка приподнятой губке, были крохотные, едва заметные, темные усики... Отчего Она показалась Ему ещё милей.

Так продолжалось несколько месяцев. Как-то весной Он и Она оказались в одной студенческой компании, отправившейся на выходные в горы. День был чудесный - почти по-летнему теплый, места - изумительно красивые: по обеим сторонам дороги тянулись цветущие яблоневые сады, склоны гор розовели - то зацветал на них дикий урюк. Всё вокруг радовало глаз, после дымного смрадного города легко, вольно дышалось. Все были беспечны и веселы. Он шел рядом с Ней, говорил о каких-то пустяках или просто молчал; иногда их плечи и руки соприкасались; случалось, Он подавал Ей руку, помогая перешагнуть горный ручей, перепрыгнуть с камня на камень, перебраться через упавшее дерево. И от всего этого, от того, что все вокруг было столь удивительно, неправдоподобно красиво, душа Его наполнилась тихой беспечной радостью. К вечеру стали устраиваться на ночлег. Разбили палатку - одну на всех, разложили большой костер, вытащили из рюкзаков нехитрую магазинную снедь, купленные вскладчину бутылки портвейна...

И опять они оказались рядом, и Он чувствовал своим плечом Её упругое плечо, и не столько сам ел, сколько следил за тем, чтобы Её не обделили чем-нибудь за этим стремительно пустеющим столом. И Ему было хорошо от того, что Она брала все, что Он Ей подавал - ела азартно, с удовольствием.

На горы быстро спускалась темная южная ночь. На небе высыпали неправдоподобно яркие и крупные звёзды. Снизу, из ущелья, тянуло прохладой и сыростью. Пора было устраиваться на ночлег.

Она ушла вместе с другими в палатку, а Он остался у костра, желая хоть немного продлить очарование этого удивительного дня, так много подарившего ему. "Смотри, останешься без места", - стали кричать из палатки. Он сгреб в кучку догоравшие угли и пошел к остальным.

Место Ему досталось посреди всех - как раз напротив входа. И снова - о чудо! - они оказались бок о бок. И опять Он испытывал ни с чем не сравнимое блаженство - боясь пошевелиться, лежал не дыша.

Все долго не спали, говорили, смеялись, но усталость наконец сморила и самых неутомимых. Он не засыпал дольше других, потом все же стал забываться, как вдруг ему почудился шепот и странный задыхающийся звук. Сперва Он никак не мог понять, что это такое. Но звук повторился, и его уже ни о чем нельзя было спутать - это был звук долгого поцелуя. Целовались рядом с ним - с той стороны, где была Она. Он с холодной отчетливостью понял, что происходит, и Ему стало трудно дышать. Он пытался вдохнуть и не мог: ему было больно и стыдно. Рядом продолжали целоваться, и Он был не в силах больше это переносить. Он

разом, резко сел, и сразу рядом повисла испуганная тишина.

Он вышел из палатки и пошел к едва тлеющему костру, скорее автоматически, чем осознанно, стал подкладывать в него тонкие прутики и легонько дуть. Когда костер снова занялся, Ему стало легче. Он понял, что должен делать. У Него был костер, и самое главное - дров хватит до утра. А еще есть чай, оставшийся после ужина в закопченном ведре.

Потом Он стал сам себе читать стихи и петь песни - все, какие знал, но утро все не наступало, и тогда Он стал рассказывать сам себе содержание книг, которые читал... А когда на еще темном небе начали проявляться очертания далеких горных вершин, Он тронулся в обратный путь. В оставленной им записке было всего три слова: "Я должен уйти". Он шел быстро, не оборачиваясь, и рассвет застал Его почти на половине пути. Утро наступило серое, туманное, горы были угрюмы и сумрачны. Ночью кое-где прошел дождь, тропа местами раскисла, идти было неудобно... Потом Он долго ждал автобус на конечной остановке, а когда тот наконец приполз, Он всю обратную дорогу не мог унять противную мелкую дрожь в теле.

Уже в городе, по пути в общежитие, Он зашел в гастроном и купил на оставшуюся до стипендии пятерку бутылку вина, полбуханки хлеба, банку дешевых консервов.

Когда Он открыл своим ключом дверь, у него немного отлегло от сердца - в комнате никого не оказалось. Сбросив отсыревшие грязные рифленки, Он наскоро умылся и присел к столу. Нарезал хлеб, открыл консервы, а когда взялся за бутылку, дверь распахнулась. На пороге стоял Алик, его сосед по комнате. Он не хотел сейчас видеть никого, а тем более Алика - отношения у них были натянутые. Однако тот, заметив бутылку, радостно оживился и, потирая руки, быстро направился к столу.

- По какому поводу гуляем? Что за праздник?

- Праздник... - усмехнулся Он, - да нет, скорей похороны, - помолчал и добавил: - Вернее сказать - поминки.

Алик тут же сделал скорбную физиономию.

- А кто умер-то?

- Один человек - ты всё равно не знаешь, - сказал Он и опять взялся за бутылку, - давай второй стакан...

Женитьба Стипендиата

Любовь пришла к Стипендиату, когда он дописывал реферат по историческому материализму. Он Ей кивнул и, не отрываясь от работы, пригласил взглядом сесть. Именно в эти минуты Стипендиат полемизировал с классиками марксизма-ленинизма, и ему не терпелось закончить этот заочный спор. Но Любовь была настроена решительно.

- Хватит писать, Стипендиат, разве ты не видишь, что я пришла? - строго сказала она и положила ему сзади на плечи свои девчоночьи руки.

Стипендиат был некрасив и застенчив. А еще он был добр и, может быть, поэтому считался факультетской жилеткой, в которую по отдельности, а подчас и коллективно плакались. Но как-то так выходило, что все курсовые красавицы доверяли ему только свои души, а тела предпочитали отдавать другим, менее искусным в психологии, зато более умелым и решительным в иных сферах человеческих занятий. Впрочем, Стипендиат на них не обижался: он как-то смирился со своим положением и не строил иллюзий насчет того, что им может всерьез увлечься представительница прекрасного пола. Зато он учился лучше других и одно время даже получал именную стипендию (за что и удостоился клички), ходил по субботам в театр, а по воскресеньям - в горы. И был вполне доволен своей жизнью, которая текла спокойно и размеренно, насколько это возможно в студенческом общежитии. Пока не пришла Она...

Любовь была пронзительно голубоглаза. Она ходила в синей плиссированной юбчонке - такой короткой, что садиться в ней было просто неприлично. А еще, когда она улыбалась, на щеках проступали очаровательные ямочки... В такие мгновения она становилась так дьявольски хороша, что Стипендиат, будучи много старше ее, всегда терялся, краснел и отводил взгляд.

... Любовь положила ему руки на плечи и попросила Стипендиата сразу о трех вещах. Чтобы, во-первых, он не сидел, как истукан, когда она пришла; чтобы, во-вторых, он поцеловал её; и, в-третьих, чтобы он перед этим лучше выключил свет...

Первое и третье Стипендиату удалось без особого затруднения. А вот со вторым получилась небольшая заминка, и тогда Любовь закинула ему на шею свои ручонки и приподнялась на цыпочки... И только всерьез испугавшись, что она может и не достать до его лица, Стипендиат сам склонил к ней свою полуодревеневшую шею.

Так начались их отношения, подобных которым у Стипендиата никогда не было. Он верил и не верил этому столь неожиданному свалившемуся на голову счастью, которое, впрочем, больше представлялось ему стихийным бедствием. Он похудел и стал рассеянным, потому что еще как-то не привык к тому, чтобы его любили. Сам Стипендиат тоже испытывал сильные чувства, но ничего не говорил ей о них... "Вполне возможно, она ошиблась во мне, - рассуждал наедине сам с собою Стипендиат, - она ведь очень юна и мало что видела в жизни. И потом у нас большая разница в возрасте: я уже работал после школы в газете, а она, смешно подумать, еще была пионеркой... Да и потом, я, скажем прямо, некрасив, а она очаровательна... Нет-нет... Она сама скоро поймет, что мы не пара..."

Так или примерно так размышлял Стипендиат, пока Любовь однажды снова не пришла к нему. На ее щеках не было очаровательных ямочек, которые он так любил. Она была печальна и строга.

- Отложи свои бумаги, Стипендиат, и послушай, что я тебе скажу, - задыхаясь говорила Любовь. - Я не приду к тебе больше, потому что ты бесчувственный чурбан. Тебе нужны рефераты, коллоквиумы, семинары и совсем не нужна я. Поэтому я ухожу, стипендиат, и ты еще об этом пожалеешь...

Может быть, она говорила не именно так, но что-то в этом роде. Главное, что она говорила все это очень серьезно. Настолько серьезно, что Стипендиат ей поверил. И, поверив, ужаснулся мысли о том, что ее может больше не быть в его жизни... Но пока он соображал, как именно ему поступить, она вдруг заплакала и побежала из его комнаты, позабыв закрыть дверь...

Какое-то время Стипендиат бесцельно топтался на месте, потом медленно, еще не будучи уверенным, то ли он делает, полез в шкаф. Он вытащил оттуда свой потрепанный рюкзак, достал из него ботинки-рифленки, старые джинсы, штормовку. Когда он выходил из общежития, солнце клонилось к закату. "Ничего, должен успеть", - подумал он про себя.

Часа два спустя Стипендиат был на месте. Он пришел как раз вовремя: его самые любимые цветы с удивительным названием Марьи Коренья уже распускались, и он набрал целую охапку. Правда, на обратном пути он немного заплутал и домой вернулся уже полночь. Он попросил у сонной вахтерши ручку и клочок бумаги, быстро написал на нем несколько слов и твердым шагом уверенного в себе человека, который знает, что делает, пошел на второй этаж, где была Ее комната. Стипендиату открыла заспанная соседка.

- Ты с ума сошел, Стипендиат, - сказала она, - ты знаешь, сколько теперь времени? Мы спим давно... А твоя первая улеглась... Вы что, поругались?

Стипендиат терпеливо ждал, пока она закончит, потом спросил:

- Слушай, чистое ведро есть?

- Есть, а что?

- Ну, так неси - цветы надо пристроить!

Букет едва уместился в ведро, свернутую пополам записку Стипендиат положил сверху, чтобы было сразу заметно. Ведро он наказал поставить рядом с кроватью, у изголовья. И с чувством исполненного долга пошел спать.

... То было лето. И прошел еще почти год, в котором тоже было много событий - хороших и не очень, пока не наступил день, когда все узнали - Стипендиат женится. Курсовые красавицы почему-то погрузтели на время.

"Что, бабки, упустили Стипендиата, - затыгиваясь "Аидой", говорила им на традиционном перекуре секретарша декана с диковинным именем Бувениса. Она уже успела дважды побывать замужем и кое-что понимала в этой жизни. - Молчите? А что вам остается? Раньше надо было думать, дурахи..."

Бувениса презрительно оглядывала дамское собрание, бережно "бычковала" сигарету, сохраняя ее остаток для следующего перекура, и, поигрывая бедрами, удалялась к себе в деканатский "предбанник".

... Разумеется, ничего этого Стипендиат не слышал и слышать не мог, потому что ехал с молодой женой на свадебном такси в горы. Дорога была не просто плохая - ужасная, таксист злился. Его урезонивал друг Стипендиата Толик, имевший из-за своего пристрастия к воздушно-десантным войскам кличку "ВДВ":

"Спокойно, шеф, я тут все знаю - доедем. Ну и что - что серпантин? Камень? Камень я уберу... Жених - сидеть! - последнее адресовалось уже Стипендиату, когда он в очередной раз порывался выскочить из машины и помочь другу скатить с дорожной колеи перегородившие ее булыжники.

Рискуя порой сверзнуться с горного проселка вниз, они все же добрались до места, где уже собрались немногочисленные гости - их самые близкие друзья...

Свадебный стол был поставлен прямо в яблоневом саду. Для Стипендиата и его юной жены приволокли откуда-то огромный валун и накрыли его старым цветастым одеялом. Все остальные ели и пили стоя...

Была весна... В этом заплутавшем в горах саду запоздало и отчаянно цвели яблони. При легких порывах ветра белые лепестки опадали на головы и плечи, на праздничный стол, заставленный немудреными студенческими яствами. Когда лепестки попадали в разнокалиберную "посуду" с портвейном, гости кричали "Горько!" и делали вид, что следят за тем, чтобы молодые "не халтурили".

Весенний день был отчаянно хорош и светел, а пригоревшая картошка в закопченном ведре необычайно вкусна. И все были беспечны и веселы... И Стипендиату казалось, что так теперь будет всегда...

Он вдруг почувствовал в своей руке маленькую прохладную руку жены, передавшую ему клочок бумаги. "Что это? - одними глазами спросил он. - Это тебе на память, - шепнула она, - потом, когда один будешь, прочтешь". Стипендиат кивнул, сунул клочок в карман, забыв, что он дырявый...

Завалившаяся за подкладку пиджака пропажа обнаружилась несколько лет спустя, когда жена перебирала старые вещи. Записка неплохо сохранилась. В ней было три коротких фразы. "Я - дурак. Выходи за меня замуж." Это его торопливые каракули. И приписка - её стремительным летящим почерком: "Я согласна".

- Стипендиат, - позвала она мужа давно забытым прозвищем, - как ты думаешь, с чем это я была согласна: с первым или со вторым?

Метаморфозы Ефимова

По утрам меня будит солнце. Оно заглядывает к нам в комнату поверх штор, бесцеремонно тычется своими лучами мне в лицо, и я просыпаюсь. По нашим студенческим понятиям еще рано, можно спать да спать... Я с завистью гляжу на безмятежно посапывающего на своей кровати у противоположной стены Ефимова и уже в который раз даю себе клятвенное обещание - сегодня же переставить свою кровать в другое место.

Мне уже не заснуть. Вчера ночью мы с Ефимовым опять обсуждали наше с ним не слишком веселое житье-бытье. Мы с ним товарищи по несчастью. Мы оба страдаем от неразделенной любви.

Общее несчастье сближает нас, хотя, впрочем, каждый несчастен в своем несчастье по-своему. Почти как у Льва Толстого.

... Дамы наших сердец тоже непохожи одна на другую. Ефимовская вызывающе красива: когда она в своих красных брюках проходит по университетским коридорам, у мужиков шеи сворачиваются. Но она, увы,

сумасбродна и строптивая, о чем всем давно и хорошо было известно, за исключением разве что Ефимова. Теперь это не секрет и для него. Что там у них произошло, даже я, числящийся в друзьях у Ефимова, не знаю, а он упорно молчит.

У меня с моей пассивией дела ничуть не лучше. Наверное, полкурса знают о той, по которой я вздыхаю, но сам я с ней объясниться всё никак не осмелюсь.

Она - полная противоположность бывшей ефимовской подруги - тихая, задумчивая, темноглазая. Но что-то в ней такое есть, что привлекает парней, и я страдаю от каждой ее измены... То она целовалась в горах с приятелем нашего однокурсника, то танцевала весь вечер с длинноволосым поэтом с филфака, то вообще закрылась в комнате неизвестно с кем... Может быть, конечно, она закрылась бы в комнате и со мной, но мне как-то и в голову не приходит это ей предложить...

Я перебираю в памяти наш с Ефимовым ночной разговор.

- Запомни, Хребет, что я тебе скажу, - слышу я ефимовский голос, - мы не последние слоны в этом стаде! Когда-нибудь они это поймут!..

Хребет - это я. Точнее - становой хребет факультета.. Так окрестил меня Ефимов, имея в виду мои несомненные заслуги перед родным факультетом: образцовую учебу, участие в работе научного студенческого общества, редактирование рукописного факультетского журнала и массу других нагрузок... Но крайние слова как-то сами собой отпали, и теперь я просто Хребет.

- Поймут, наверное, - уныло соглашаюсь я, хотя эта отдаленная перспектива меня как-то не вдохновляет. Вот если бы прямо сейчас открылась и дверь, вошла она и сказала... А что бы она сказала?.. Ну, например, это: "Прости, но я же ничего не знала... .Теперь я стану совсем другой... " - "Ладно, - скажу я в ответ, - хочешь пойдем сегодня в горы?... Вдвоем... "

Что скажет она, я додумать не успеваю, потому что опять включается Ефимов:

- Ну что ты мямлишь, Хребет! Мы же мужчины: сказал - отрезал!

Ефимов считает меня мягкотелым и пытается закалить мой характер, лепя его по своему образу и подобию. Но в данном случае напускная его суровость шита белыми нитками: все, что он говорит, адресуется, скорее, не мне, а ему самому. Ведь "отрезать" свою Нинель самому ему никак не удастся.

А ведь характер у Ефимова - кремь. Его идеал - воздушно-десантные войска, в которых служит офицером после окончания училища его старший брат. Этим обстоятельством Ефимов страшно гордится, носит подаренную братом десантскую тельняшку без рукавов и благосклонно принимает давно приклеившуюся к нему на факультете кличку "ВДВ". Образ бравого парня дополняет пружинистая походка Ефимова и широкая грудь, которую он не прочь продемонстрировать факультетским красавицам. Своеобразна и речь Ефимова, которой он - к месту и не к месту - придает некий военизированный характер. Например, когда состоялось распределение, и оказалось, что Ефимов и наша однокурсница Надька Ручкина должны отправиться в один из отдаленных районов Восточно-Казахстанской области, он, снисходительно потрепав Ручкину по плечу, заявил:

- Без паники, Ручкина! Еще застучат наши с тобой автоматы в зайсанских степях!

"Еще застучат наши автоматы" - это была его любимая фраза на все случаи жизни. Все мы, обитатели общаги, об этом хорошо знали. А Надька ошалело посмотрела на Ефимова и на всякий случай отошла: вряд ли ее прельщала перспектива отправиться из столицы в Зайсанские степи - даже с автоматом.

Над нездоровой страстью Ефимова ко всему военному любил подшучивать наш сосед по общаге, успевший до университета отслужить в армии, Леха Колупаев. Иногда Ефимов ему подыгрывал.

Вот Леха вваливается в нашу комнату и зычным командирским голосом произносит:

- Студент Ефимов! - так к нам обращаются офицеры на военной кафедре.

- Я! - вскакивает с кровати Ефимов.

- Даю вводную - выровнять наши южные границы по Кушке!

Шутка явно удалась: Ефимов заливается счастливым смехом.

Еще Ефимов с подчеркнутым пиететом относится к руководству страны. Вещественным доказательством чего стал плакат с фотографиями членов и кандидатов в члены Политбюро, украшенный сверху лаконичной исчерпывающей надписью - "Вожди".

У нас с Ефимовым - родственные души. Оба мы из простых небогатых семей, и, конечно, нам живется несладко. Но мы не показываем виду, что нам трудно. Мы держимся друг за друга. Нам кажется, мы научились стойко переносить удары судьбы. Если бы еще не эти сердечные раны...

... Увы, дама моего сердца так и не пришла ко мне со своим "прости", а я так и не удосужился признаться ей в своих чувствах... А ефимовская подруга так и не простила (до сих пор не знаю за что) Ефимова... А потом мы уехали по распределению...

* * *

Ефимов хоть и нечасто писал мне из "зайсанских степей", где он быстро проникся большим уважением к труду районного газетчика, и в письмах убеждал меня в том, что "районка" - главный хлеб журналистики. Тем не менее через год он, распрощавшись со своей тьму-тараканью, вернулся в столицу. Но журналистов в столицах всегда было пруд пруди, и ему не без труда удалось устроиться лишь в республиканскую детскую газету.

"Ты знаешь, Хребет, журналистика для детей - это очень серьезно, - убеждал он меня по телефону, - ведь для детей надо писать не только так же хорошо, как для взрослых, но еще лучше".

Потом он работал в редакции литературного вещания на республиканском радио, чем также очень гордился, и даже попробовал себя в качестве переводчика с казахского.

Все эти перемещения были, как бы это точнее выразиться, промежуточными станциями на его пути к другой,

более значительной цели. Он без устали верил, что ему улыбнется настоящая удача. И она пришла: неведомыми путями беспартийный Ефимов оказался в штате главной партийной газеты республики. Он работал в секретариате и, случалось, позванивал мне.

- Как ты там сидишь в секретариате? - удивлялся я. - Это же скука смертная.

- Ты что, это страшно интересно, - переубеждал меня он, - это же штаб редакции... И потом - это влияние... Я думал, за этот выпавший на его долю козырь Ефимов будет держаться изо всех сил. Но я ошибся: когда один из его коллег по редакции выдвинулся в редакторы областной провинциальной газеты и предложил Ефимову пойти к нему замом, тот не отказался. Наверное, тут сыграло свою роль и то, что Ефимов уже несколько лет был женат, но все не имел своего угла. Новая же должность жилье гарантировала, притом в самое ближайшее время. И все же я, как ни силился, не мог представить его в новой роли.

Проработав в замах чуть больше года, Ефимов нагрел ко мне в гости. Он изрядно раздался в плечах и слегка в поясе, утратил часть шевелюры; его фигура приобрела несвойственную ей ранее значительность.

- Солидность, основательность, серьезность - прежде всего, - умышленно теряя на окончаниях мягкий знак, говорил мне Ефимов, - наш юг - это не ваш север.

А я не мог понять - шутит он или на самом деле так считает. Уж больно не вязалась его напускная значительность с тем, что я о нем знал.

Я повел Ефимова знакомить с редактором. Не скрою, тут был и маленький расчет: вот, мол, мой сокурсник, моложе меня, уже в замах, а я у вас все еще "наш корр". Но редактор наш был стреляный воробей и Ефимова раскусил мигом. Когда я назвал газету, в которой работает Ефимов, и его должность, мой шеф серьезно поинтересовался:

- А где это?

Надо было видеть в этот момент лицо Ефимова! "Солидность" с него как рукой сняло, и дальше у нас пошел уже нормальный журналистский треп.

В областной газете Ефимов долго не задержался. Его заметили и двинули по партийной линии - завзамом отдела пропаганды обкома партии. С тех пор главным делом его жизни стало писание докладов. Его вооружали цифрами и справками, а политического чутья у него самого было с избытком - так что речи у партийных секретарей выходили что надо - хоть по ускорению, хоть по перестройке партийно-массовой работы, хоть по проблемам наращивания производства риса, хоть по совершенствованию здравоохранения и образования. Обкомовская верхушка, и лично первый секретарь в Ефимове души не чаяли, он сам мне об этом говорил, поясняя почему:

- Они же все говорят с моего голоса!

Очередная наша с Ефимовым этапная встреча произошла в коридорах ЦК Компартии Казахстана. Я туда приехал для собеседования на предмет возможного редакторства, а Ефимов оформлял документы на очное отделение Академии общественных наук при ЦК КПСС (его рекомендовал обком). Я в тот момент, не будучи уверенным, что сажусь в свои сани, замордованный нескончаемыми встречами в цеховских кабинетах, являл собой жалкое зрелище. Провинциал, впервые попавший в эти коридоры - что тут еще скажешь? Зато Ефимов был настоящий орел и чувствовал себя здесь как рыба в воде. Он был словно ступок энергии - вводил меня в курс дел (как себя вести, что говорить), кому-то рекомендовал ("Это наш парень - не подведет!"), с кем-то знакомил, куда-то убегал и вновь возвращался.

- Ты видишь - наше время пришло, - сказал он мне напоследок, - я, знаешь ли, всегда в это верил!

* * *

Сюжет моего повествования, конечно же, требует того, чтобы в следующий раз мы непременно повстречались в Москве, и это произошло. Как ценный партийный кадр я был направлен на курсы повышения квалификации при той самой Академии общественных наук (сами "академики" для краткости именовали ее АОН - не путать с ООН), где учился Ефимов. Об этой кузнице партийной элиты можно рассказывать бесконечно, тут ограничусь лишь одним фактом: новый комплекс зданий АОН при ЦК КПСС на юго-западе столицы позволял ее слушателям вести полное автономное существование в течение всего времени учебы. В том смысле, что им незачем было идти в город, так как на этом относительно небольшом пятачке они имели все, что нужно для жизни человеку с запросами повыше среднего: комфортабельное жилье, прекрасное питание, включая ресторан с баром, учебную базу, спортивные сооружения (включая теннисные корты), кинозал и прочая, прочая, прочая...

Едва поселившись, само собой я тут начал разыскивать Ефимова и при первой же возможности ринулся к нему в гости. Пришел я не совсем кстати. Во-первых, через несколько дней Ефимову предстояла защита кандидатской диссертации, а во-вторых, он с утра должен был идти на службу.

- Редактирую новую газету, - сдержанно сообщил он.

- Где, какую газету?

- В Зеленограде, городскую, горкома партии.

- Ну, и как?

- Пока держимся, - уклонился Ефимов от прямого ответа, - хоть это и непросто в таком рассаднике демократии.

Мы толком не успели поговорить, как Ефимов засобирался идти.

- Куда это на ночь глядя? - любопытствовал я.

- Научный руководитель Коли, академик Боркович, в это время прогуливает свою собаку, - включилась в разговор жена Ефимова, - ну, и они с Колей заодно обговаривают вопросы по диссертации.

- А отказаться нельзя? - спросил я и понял, что допустил бестактность.

Ефимов ушел, а мы с его женой сели пить водку - благо, мы давно друг друга знали. Водку она привезла из

города, где они прежде жили - в Москве тогда с этим делом была напряженка, а успешную защиту даже в АОН полагалось обмывать.

На защиту я тоже пошел. Ефимовская диссертация звучала мудрено: оптимизация местных средств массовой информации в условиях национальной республики. Ефимов держался молодцом, и защита прошла без сучка и без задоринки. Хотя я, как ни напрягался, из того, что говорилось, понял в лучшем случае половину.

- Зачем столько иностранных слов, терминов, неужели нельзя просто по-русски? - спросил я после защиты у Ефимова.

- Ты что, я ведь должен был дать понять ученому совету, что я владею не только материалом, но и терминологией.

Защиту диссертации отмечали все в той же АОН, где-то на двенадцатом этаже. Было в общем мило, хотя и не так весело и беззаботно, как на наших, теперь уже далеких студенческих пирушках. Герой дня Ефимов шел нарасхват, и поговорить толком нам так и не удалось.

* * *

Теперь мы с Ефимовым живем в разных странах. Он мне не пишет и не звонит, что с ним - я не знаю. Я часто его вспоминаю - всякий раз, когда вижу лидера российских коммунистов Геннадия Зюганова. Я говорю это без всякой иронии: они действительно очень похожи.

Я все еще верю, что Ефимов разыщет меня. Ведь он знает, где меня искать...

В одной редакции

Как я был Ломоносовым

После окончания университета я попал по распределению в редакцию областной газеты. Странная это была редакция. Все ее сотрудники, включая завхоза, имели визитные карточки, а, по меньшей мере, треть журналистов не имела жилья. В этих условиях я, успевший к тому времени обзавестись женой и ребенком, мог в лучшем случае рассчитывать на общежитие.

Выколачивать его взялся первый зам. редактора - П.А.П., как его у нас называли.

Наверное, в каждой редакции есть такой человек... Вот и наш тянул неблагодарный воз всевозможных хозяйственных хлопот, возился с практикантами, доставал дефициты (от входящих тогда в моду паласов до куриного помета на дачу нашему единственному персональному пенсионеру). П.А.П. был потрясающе неутомим в жизни и потрясающе непредсказуем. Закончив вскоре после войны Высшую партийную школу при ЦК КПСС, он откасался от престижного кресла редактора газеты одной из автономных республик, решив вернуться на милый сердцу Алтай. То было время великих хрущевских реорганизаций, когда вместо районных газет стали создаваться объединенные. Одну из таких, рассчитанную сразу на пять районов, и возглавил П.А.П. И начал он с того, что, собрав всех бывших редакторов районок, без обиняков заявил им: они не только никудышные редактора, но и никудышные журналисты, а посему работа во вновь создаваемой газете - занятие не для них... Впрочем, и сам П.А.П. поруководил недолго: несколько месяцев спустя разошелся во мнениях с начальником местной милиции, в результате чего тот остался без двух зубов, а сам он - без работы.

Дело и вовсе могло принять уголовный оборот, если бы П.А.П., не подхваченный единым порывом, захлестнувшим всю страну, не оказался на Целине. Правда, проявить до конца свои способности в главной газете Целины он просто не успел - Целинный край был расформирован за ненадобностью творцом будущего застоя, а с ним почил в бозе и краевая газета.

Так П.А.П. волею судеб оказался в нашей области, где и возглавил одну из многотиражек. Конечно же, рамки заводской газеты были тесны для его кипучей неукротимой натуры, и как-то на журналистской летучке, оказавшись в кулуарах рядом с редактором областной газеты, он с вызовом спросил:

- Ну, что, долго еще будете меня гноить в многотиражке?

Тот, было, опешил от подобного нахальства, но, будучи человеком воспитанным, все же осведомился: в чем, собственно, дело?

П.А.П. дал понять, что не прочь перейти на работу в областную газету.

- И в каком качестве? - не без ехидства спросил редактор.

- Да хоть уборщицей, - с присущей ему непосредственностью заявил П.А.П.

Ответ редактору настолько понравился, что уже через два дня в областной газете появился новый литраб. В отделе партийной жизни, к которому П.А.П. был прикреплен, он скоро развил такую бурную деятельность, что опасавшийся конкуренции заведующий, выдвинул его на заведование другим отделом - сельскохозяйственным. Это была родная стихия П.А.П. - он опять оказался на коне. А тут кстати пришла пора первому заму отправляться на пенсию, и П.А.П. по праву занял этот пост.

Много лет спустя П.А.П. в задушевной беседе признавался мне: случившееся настолько потрясло его, что, просыпаясь ночами, он не уставал изумляться, спрашивая сам себя: "Твою мать, неужели это правда - я, Петя П. - первый зам?!"

Впрочем, надо отдать ему должное. Сделав столь головокружительную для провинции карьеру за каких-то два-три года, П.А.П. ничуть не изменился: он был все так же неутомим в жизни и непредсказуем в поступках. Для него не существовало авторитетов в привычном смысле слова... Вот ему звонит первый секретарь привилегированного хлебного района - недоволен критической публикацией, П.А.П. слушает, потом

постепенно "заводится" и, наконец, исчерпав аргументы, выпаливает:

- Ну и что: вас, первых секретарей, в области двенадцать, а я один! - и кладет трубку.

Не слишком церемонился он и в обкоме партии... Идет очередной инструктаж в сельхозотделе: новый первый секретарь обкома поручил еженедельно публиковать сводки по всем видам сельскохозяйственных работ и сдаче всех видов животноводческой продукции. Указание дурацкое - получается надо давать по две-три сводки ежедневно. Но возразить никто из его ретивых помощников не осмелился, и теперь они "выкручивают руки" П.А.П.

- Кокчетавский вариант не пройдет! - заявляет П.А.П., и у завсельхозотделом отвисает челюсть (новый "первый" прибыл к нам из Кокчетав, где он буквально замордовал местных газетчиков публикацией этих самых сводок)... А эта фраза, кстати, стоила П.А.П. республиканской персональной пенсии. "Первому", конечно же, донесли о выходке строптивого зама, и он наотрез отказался подписать ходатайство в республику, когда П.А.П. после бессменной тринадцатилетней вахты на этом сумасшедшем посту, пережив трех редакторов, уходил на пенсию...

Впрочем, все это будет потом. А тогда, сразу после инструктажа, П.А.П. долго прорабатывали в родном отделе пропаганды и агитации. Но он и не подумал каяться, заявив напоследок:

- Все равно - газета выше обкома!

Две эти фразы надолго получили самое широкое хождение в редакции. "Кокчетавский вариант не пройдет!" - говаривали мы друг другу, когда речь шла о безнадежном деле. А в трудные минуты, когда бывало уже нечего сказать, кто-нибудь произносил: "Ничего, все равно - газета выше обкома!" - и становилось как будто полегче...

Время, о котором я пишу, юмористы впоследствии окрестили расцветом застоя. Нетрудно представить, насколько не вписывалась неумная натура П.А.П. в номенклатурную обойму, в коей ему полагалось по должности находиться. Если добавить к тому же, что ни многочисленные "разборки" в обкоме, ни собственный "боевой" опыт, ни предпенсионный возраст, по сути, ничему не научили П.А.П. и никак не меняли коренных свойств его характера, можно догадаться, каково жилось ему и его подчиненным. К последним относился и я. П.А.П. приметил меня еще в практикантах, взяв под свою опеку - так что мне довелось полной мерой испытать и его отеческую (в прямом смысле) заботу и его деспотическую любовь. Он мог, к примеру, спустившись вечером со своего Олимпа, зайти в наш тринадцатый кабинет и забрать меня к себе домой ночевать... А мог по пустячному поводу устроить выволочку. И обижаться на него было не то что не принято - неудобно: доброта и заботливость по отношению к другим всегда преобладали в нем над сумасбродством и непредсказуемостью. Зато его самого два последних свойства "вели" всю жизнь и в значительной степени творили его судьбу. Но это, впрочем, тема для отдельного разговора...

Итак, П.А.П. предстояло выбить для моей семьи комнату в общежитии. Он вызвал меня к себе и объяснил ситуацию: все крупные предприятия города обложены данью, в их общежитиях кто-нибудь из наших уже живет. Поэтому пойдем на химзавод, где директором у него давний знакомый - бывший главный инженер того завода, на котором П.А.П. был редактором многотиражки.

Завод, куда мы направились, был особым - суперсекретным. Никто из наших журналистов представления не имел о том, что он выпускает. Зато нашей газете (единственной в стране!) было дозволено упоминать о нем на своих страницах. Но не более того.

...С полчаса мы получали пропуск в заводоуправлении, еще столько же прождали в приемной, пока, наконец, не попали в директорский кабинет. Кабинет был огромный, как футбольное поле. Стол директора располагался у противоположной от входа стены, в углу, и с каждым шагом по упруго пружинящему, диковинной расцветки, ковру таяла моя уверенность в успехе нашего предприятия...

Тут просто необходимо сделать еще одно отступление. Проработав в газете несколько лет и побывав на аудиенциях у порядочного количества начальников, я долгое время никак не мог понять - зачем им такие громадные кабинеты. Пока один из них, руководивший, по меньшей мере, лет тридцать, не раскрыл мне глаза.

- Зелен ты, братец, жизни не видел. А тут целая наука - философия, если хочешь знать... Вот ты представь: идет ко мне сотрудник или того хуже - посетитель... И к тому же настырный. Сперва его моя секретарша задержит в приемной, как положено - у него смелости-то и поубавится. Разрешают ему войти. Он дверь открывает, думает, что за ней кабинет, а за ней другая дверь... Тоже, знаешь ли, отрезвляюще действует... Так что пока войдет - от него половина прежнего останется... А тут еще кабинетище - заблудиться можно, и до моего стола ему идти да идти... Пока ко мне доберется - считай готов, бери его голыми руками... А ты говоришь - зачем?

У меня сложилось впечатление, что сказано все это было на полном серьезе. И уж что-что, а душевное состояние воображаемого просителя откровенный начальник передал на удивление точно. В случае, о котором я рассказываю, размеры и роскошь директорского кабинета настолько подавляли, что, пока мы добрались до него самого, меня действительно можно было брать голыми руками. Сесть нам было предложено у приставного столика, жалким отростком лепившегося к массивному директорскому столу. Слева под рукой у директора уютно устроился еще один столик - с телефонами. Их было не меньше десятка.

- "ВЧ?" - уважительно спросил П.А.П., указав движением бровей в сторону одного из аппаратов - с гербом в центре циферблата.

Директор небрежно кивнул.

- Третий в области, - уточнил П.А.П. (разумеется, для меня). - Один - у первого секретаря, второй - у председателя облисполкома, а третий - здесь. Снимаешь трубку и говоришь с секретарем ЦК...

Как я потом понял, таким образом он готовил плацдарм для будущего наступления: что может значить для обладателя такого телефона какая-то пустяковина - комната в общежитии. Не знаю, как на директора, а на

меня "артподготовка" подействовала. "ВЧ" в моем сознании ассоциировался со следующей картиной: Великая Отечественная - командующий фронтом Жуков говорит по прямому проводу со Сталиным...

- Да, - вздохнул П.А.П., - это, конечно, уровень, - на такую орбиту вышел...

Директор сначала благосклонно кивнул, потом стал постукивать пальцами по своему полированному столу.

- Да у нас, собственно, мелочь, - сориентировался П.А.П. и открыл принесенную с собой папку, - вот, редакция ходатайствует...

Директор мигом поймал ключевую строчку нашего прошения, благостное выражение с его лица как ветром сдуло.

- Ничем помочь не могу - своих селить некуда.

Иного я и не ожидал и погрузился в еще большее уныние...

П.А.П. пытался продолжить разговор, напирая то на уровень директора, которому должна приличествовать широта натуры, то на благотворительность, которую проявляют в подобных случаях по отношению к редакции руководители других предприятий, то на их прежнее знакомство... Но ни лесть, ни уговоры, ни другие ухищрения на директора не действовали - это был крепкий орешек. Однако и наш, как оказалось, не лыком шит...

П.А.П. вдруг стремительно встал и, указав на меня пальцем, с обидой спросил директора:

- А вы хотя бы представляете, кто перед вами?

- Кто? - слегка смутился тот.

- А я вам скажу, раз так, - тоном, не предвещающим ничего хорошего, сказал П.А.П. - Круглый сирота.

Самородок. Целинник. В университет чуть ли не в лаптях пришел!

Я попытался издать некий протестующий возглас. Мои родители в ту пору были, к счастью, живы и здоровы, а поступать в университет я прилетел на самолете... Но П.А.П. на все это, похоже, было уже наплевать - его неудержимо несло.

- Молчи! - бросил он мне. - А вы слушайте! - Это директору.

- С отличием закончил, - рубил он фразу за фразой, - женился, ребенка родил, в газету пришел...

Я был готов сквозь землю провалиться - мне уже не нужна была комната, хотелось одного - как можно быстрее уйти отсюда.

А в голосе П.А.П. слышались уже трагические нотки:

- А может быть, это наш павлодарский Ломоносов? - вопрошал он. - Вы что, талант хотите загубить?..

Не знаю уж, добила ли директора эта зажигательная речь или он просто не выдержал осады, но неприступность его сменилась неопределенно-руководящим: "Надо посмотреть..."

Удивительно, но факт: спустя несколько дней я вселился в девятиметровую общежитскую конуру, "временно, в виде исключения, выделенную редакции". Чувство стыда куда-то улетучилось. Я был горд тем, что впервые в жизни обладаю лично мне выделенным жилищем. Я был готов достойно принять на свою жилплощадь жену и полугодовалого сына...

...Сын теперь девятиклассник. Недавно пришел из школы в расстроенных чувствах: в классе его дразнят Ломоносовым.

- Успокойся, это у нас семейное, - сказал я.

Рыба

Наши кабинеты были на одном этаже, и я часто становился свидетелем того, как начинался трудовой день Семена Семеныча. Он являлся примерно в половине девятого и с достоинством шествовал к себе, в угловую комнату.

Создавая Семена Семеныча, природа не пожалела материала: все у него было большим, основательным - и фигура, и черты лица, и руки. И даже портфель, с которым он, казалось, никогда не расставался, был не только самым большим в редакции, но и неизменно раздутым. И я всякий раз думал: что он там может носить во времена нашего всеобщего дефицита? Идя по коридору, Семен Семеныч заполнял собой едва ли не весь проем, и если он двигался к тому же одетым, редким встречным приходилось протискиваться боком или сворачивать в попутные кабинеты, чтобы пропустить его.

Раздевшись, Семен Семеныч отправлялся в туалет для совершения утреннего ритуала. Оттуда доносилось сопение, сморкание и, наконец, жужжание бритвы. Этот ритуал почти никогда не нарушался... После чего Семен Семеныч возвращался к себе - и словно пропадал. Своих подчиненных (а он числился одним из руководителей газеты) Семен Семеныч тревожил крайне редко, они ему тоже не докучали. Редактор, случалось, по несколько дней не вспоминал о его существовании и лишь в нечастых случаях спохватывался: да у нас же есть Семен Семеныч!

Справедливости ради, надо сказать, что ко мне Семен Семеныч почему-то благоволил, и, хотя я не был в его прямом подчинении (меня курировал другой редакционный начальник), он иногда, вероятно, в знак особого расположения, подпитывал меня собственной житейской мудростью. Бывало, впрочем, и сам жаловался мне на свои невзгоды.

- Думаешь, хорошо быть руководителем? - сетовал он, - все идут, и каждый чего-нибудь просит: дай, Семен Семеныч, помощи, Семен Семеныч! А никто не пришел и не предложил: на, Семен Семеныч!

Я сочувственно кивал, и он, растроганный, переходил к воспитательной части разговора.

- Я вот вижу: ты все строчишь и строчишь... А зачем? Плохо кончишь. Нет, брат, я тебе так скажу: до обеда надо работать, как в замедленном кино, а после обеда лучше вообще отдыхать...

Сам Семен Семеныч после обеда регулярно отдыхал, закрывшись изнутри в кабинете на ключ. Зайдя однажды

к нему в этот неурочный час (он забыл запереться), я увидел его покоившимся на поставленных посреди кабинета буквой "Т" стульях. А укрылся он своим необъятным пальто... Зрелище было столь необычным, что я тут же поспешил ретироваться.

В числе очень немногих я был приобщен к святой святых - творческой лаборатории Семен Семеныча. В командировки он ездил чрезвычайно редко - раз в год по несчастью, как у нас говорили. Зато с охотой ходил по всевозможным совещаниям и писал о них скучнейшие, идеологически девственные отчеты. При этом источников вдохновения у него было два: его собственный блокнот, записи в котором делались им всегда очень крупным, очень разборчивым почерком и очень красивым почерком; и партийные газеты - республиканские и центральные. Придя с очередного собрания(пленума, конференции, семинара), Семен Семеныч вырезал из блокнота исписанные листки и, предварительно пронумеровав их, в нужном порядке наклеивал на большой, во весь стол, лист ватмана. Таким образом, половина дела была сделана. Для второй требовалось несколько "Правд" с руководящими статьями. Нужные места в них загодя были подчеркнуты цветными карандашами - в зависимости от назначения: общеполитические - красным, общеэкономические - синим, понравившиеся Семен Семенычу сравнения и обороты - зеленым. Эта вторая составная часть его творческого метода именовалась "рыбой". "Рыб" у Семен Семеныча было великое множество - на все случаи жизни. Старыми, порой полуистлевшими, газетами был забит и завален не только его двухтумбовый письменный стол, но и специальные полки. Пропылившиеся папки с "рыбами" громоздились на подоконниках, на шкафу, в котором он держал свое пальто, а также новые туфли и выходной костюм (на тот случай, если в обком вызовут), на стульях и под ними...

Поручая изредка кому-нибудь из подчиненных написать того или иного материала, Семен Семеныч всегда выдвигал при этом железный аргумент.

- Да ты не бойся, справишься - я тут тебе "рыбу" приготовил.

Сам Семен Семеныч, как вы, вероятно, уже догадались, создавал свои вещи, списывая их с блокнотных листков, наклеенных на ватман, и разбавляя их по мере необходимости "аргументами", почерпнутыми из многочисленных "рыб". "Рыбой" у нас в редакции его и именовали - за глаза, разумеется.

Поскольку Семен Семеныч был человеком сверхосторожным, на его материалы никогда не было опровержений, как, впрочем, и вообще никаких откликов. Может быть, их попросту никто и не читал? По правде говоря, газетное дело было настолько чуждо ему, что для меня всегда оставалось загадкой - как он мог попасть в журналистику?

Все же, отдавая Семен Семенычу должное, надо сказать, что рыбой он был далеко не во всем. Когда на какой-нибудь редакционной гулянке Семен Семеныч брался за баян и своим красивым мощным баритоном заводил: "Лесорубы! Ничего вас не берет", - все непременно замолкали. Это был уже другой человек. Тут он был царь и бог и парил над нами. Может быть, за эти, а может, за другие природные достоинства, скрытые от постороннего взгляда, его раньше примечали женщины. И мне до сих пор жутко любопытно: как он с ними знакомился, как затем развивались их отношения? "Во всяком случае, жалоб от них не поступало, " - как-то не без юмора заметил Семен Семеныч и поведал мне о пикантном моменте одного из своих романов: "Говорю ей во время "этого дела" : как же, мол, так - у тебя муж есть, а ты со мной... " А она отвечает: "Не отвлекайся - и ему хватит".

Самого Семен Семеныча, судя по всему, "хватало" на многих. Как легенду, из уст в уста, рассказывают у нас в газете историю о том, как он со своим приятелем развлекался... По утрам в студенческом общежитии они, встав против друг друга и заложив руки за спину, приподнимали и какое-то время держали на весу табуретку. Чем они ее приподнимали и на чем держали, надеюсь, понятно... Подъемным механизмом им служили взбодренные поутру предметы их мужской гордости. Выспорив в очередной раз бутылку водки, рекордсмены гордо удалялись. Женщины на подобные состязания, разумеется, не допускались, но, конечно же, столь выдающиеся способности Семен Семеныча не могли быть для них тайной, и проблем с "этим делом" у него не было.

...Теперь Семен Семеныч на пенсии. В редакцию заходит редко. Иногда я ловлю себя на мысли, что мне его очень недостает.

Беркутов

Всегда удивляюсь тому, насколько извилистым бывает у людей путь в журналистику. Судьба Беркутова - тому подтверждение. Недоучившийся деревенский подросток (война помешала) - бригадир колхозной тракторной бригады - строитель-монтажник высокой квалификации... Вполне сложившийся, почти сорокалетний мужик. Написал заметку с предложением что-то техническое усовершенствовать. В редакции заинтересовались - отнесли редактору. Тот почему-то захотел посмотреть на автора и после беседы предложил ему написать еще что-нибудь... А спустя месяц Беркутов уже числился в корреспондентах.

Тогда, на излете хрущевской волны, газета еще кое-что позволяла себе, и Беркутов со своим крестьянско-пролетарским происхождением, некнижным знанием жизни, острой наблюдательностью пришелся ей как нельзя ко двору. Можно сказать так: была нужда в человеке, способном объяснить с читателем на его же образном и самобытном, но простовато-грубоватом лексиконе.

Я застал Беркутова уже далеко не в лучшие его времена, но все еще помнили - какой это был орел. От одного его появления трепетало на периферии не только совхозно-колхозное, но и районное начальство.

- С вашим братом - журналистом лучше не связываться, - выговаривал мне, молодому газетчику, уже немолодой председатель колхоза. - Беркутов как-то приехал... Я его полдня по полям возил, рассказывал, как мы безотвально пахоту внедряем. И вроде довольным уехал... А дня через три читаю в областной газете

статью под заголовком "Безотвальные болтуны". Разделал в пух и прах - нас с агрономом в районе года два только так и звали...

Секрет беркутовской популярности был довольно-таки прост: по причине глубокого знания деревенской жизни ему почти невозможно было втереть очки, а еще он не стеснялся в выражениях. И последнее читателю нравилось, особенно на фоне регулярно публикуемых целевых полос под шапкой "Человек шагает в коммунизм!"

Как-то Беркутов взял меня с собой в командировку - для натаски. Заехали в колхозную мастерскую, на машинный двор, где он, по моим представлениям, проявлял поразительную беспечность: почти ничего не спрашивал, вообще ничего не записывал... Перебрасывался с чумазыми механизаторами двумя-тремя ничего для меня не значащими фразами, иногда при этом хмыкал - и уходил... В конторе он минут десять рассеянно слушал взволнованный рассказ директора о прогрессивном поточно-узловом методе восстановления техники, потом решительным жестом остановил его монолог:

- Слушай, а может, хватит о своих мнимых успехах... Лучше бы пообедать предложил...

Как я впоследствии узнал, этим своим излюбленным приемом Беркутов пользовался довольно часто. И безуспешно. В этот раз минут десять спусти мы уже сидели в уютной комнате, спрятанной от постороннего взгляда в недрах колхозной столовой, за столом с запотевающей поллитрой.

- Ну, вот, - ворчливо-добродушно резюмировал Беркутов, - давно бы так.

В высшей степени своеобразно протекал у Беркутова мыслительный процесс. Он ходил из кабинета в кабинет, рассказывал свои бесконечные байки, в которых правда и вымысел были настолько перемешаны, что никак нельзя было одно отделить от другого. Все это время он похихатывал, притопывал и прихлопывал, и люди, давно его знавшие, сразу догадывались: Беркутов рождает новый материал. И через день-два он в самом деле выдавал что-нибудь сногшибательное. Например, фельетон: "Куры в "Океане" или проблемную статью "На Иртыше ли Павлодар?"

А один свой материал, рассказывал мне Беркутов, он увидел во сне. Вот как это было. Беркутов примеривался к нему так и этак, перевел кучу бумаги, чего с ним отродясь не бывало, а тот все давался. Пока, наконец, не приснился автору: уже набранный, сверстаный, стоящий на полосе... И даже текст прочитывался. Беркутов проснулся, схватил ручку и тут же все записал.

Утром он пришел к ответсекретарю и попросил поставить свое новое произведение в номер "на то самое место". Тот сперва послал его к черту, но, услышав невероятную историю, сменил гнев на милость, и материал пошел в газету без всякой очереди.

В последние годы Беркутов, как мне кажется, значительно охладел к газетному делу. Может быть, устал, а может, разуверился в том, что наше ремесло может хоть чем-то усовершенствовать эту несовершенную действительность. Может быть, впрочем, он никогда всерьез к журналистике и не относился: работать системно, углубленно, мучиться над материалами он не любил. Его стихией были - порыв, импровизация, легкая фантазия, своеобразное видение мира... Некоторые собратья по перу до сих пор считают, что в нем умер настоящий писатель. И это тоже похоже на правду, хотя у меня сложилось впечатление, что самому Беркутову было на все это решительно наплевать... Тем более, что в конце журналистской карьеры его захватило новое увлечение, которому он посвящал не только все свободное, но и значительную часть рабочего времени.

Беркутов завел дачу. И сделал это отнюдь не из любви к сельской жизни, а чисто из прагматических соображений. На склоне лет он приобрел "Жигули", из-за чего залез в долги. Дача и должна была помочь ему рассчитаться с ними.

Как-то он позвал меня в гости, и я смог лично убедиться в том, что хозяин даром времени не терял. Спсавшись за зиму с опытными станциями, садоводами, коллекционерами, Беркутов заполучил семена едва ли не всех сортов помидоров, какие только имелись в Союзе. Это была не дача, а какой-то испытательный полигон. Помидоры темно-красные и желтые, малиновые и фиолетовые, розоватые в какую-то полосочку; помидоры размером чуть ли не с горошину и с небольшой дыню; помидоры круглые и продолговатые, "бычьего сердца" и "дульки"... Встречались грушевидные и чуть ли не пирамидообразные, не хватало разве только квадратных... Но Беркутов заметил, что и это не проблема: если поставить такую сверхзадачу - будут... Беркутовские помидоры созревали чуть ли не первыми в городе, и его жена торговала ими на рынке уже с середины лета, имея своих постоянных клиентов.

А Беркутов задался целью приобщить к дачному участку всю редакцию. Со мной он проводил десятки бесед, красочно расписывая все прелести дачной жизни: от гастрономических до сексуальных. Он находил мне выгодных продавцов, агитировал по телефону жену и мать, чтобы они повлияли на меня. И теперь, тоже став обладателем дачного участка, я жалею о том, что не послушал его раньше.

...Иногда Беркутов появляется в редакции - постаревший и погрузневший, в огромных кирзовых сапогах. Мне почему-то всякий раз жаль его. Мне кажется, он обладал талантом, какой выпадает немногим. Обладал, но не смог им распорядиться - как распорядился, к примеру, своей помидорной плантацией. Но может быть, я и ошибаюсь. Ведь бывают в природе самородки, которые прекрасны именно своей первозданностью и которым не нужна никакая шлифовка...

Мартыныч

В редакцию районной газеты "Ленинское знамя", а, может, в журналистику вообще, я попал во многом благодаря Владимиру Мартыновичу Калиновскому. Класса с девятого я посылал заметки в газету - про школьные вечера, совхозные праздники, субботники... И вдруг однажды получаю письмо из редакции -

напечатанное на машинке, на фирменном бланке. Там были какие-то ободряющие слова насчет моих писаний, предложение расширить сферу интересов (сходить в мастерскую, в гараж, на ферму...) и даже предложение приехать на зимних каникулах для знакомства. И подпись: В. Калиновский, заместитель редактора. Конечно, мне была знакома эта фамилия, она появлялась на страницах газеты очень часто, и притом под солидными материалами, среди которых встречались даже рассказы. Конечно, я был тронут таким вниманием.

В райцентр я отправился не без душевного трепета, со смешанными чувствами, где были и некоторая гордость ("Заметили, позвали... "), и неуверенность ("Еще неизвестно, как встретят... "), а преобладала тревога... Я переживал, как мне найти Калиновского - редакция мне представлялась солидным учреждением со множеством кабинетов. Но на всякий случай у меня было с собой то самое письмо, и я намеревался его показывать, чтобы мне ненароком не сказали: "Нечего тебе тут делать, иди отсюда!"

Мои страхи оказались сильно преувеличенными. Редакция занимала в здании райисполкома всего две комнаты. В одной, большой, сидели все сотрудники, включая Калиновского, и только у редактора был скромный отдельный кабинет с крохотной приемной. Познакомиться нам в этот раз не удалось, доброжелатель мой был где-то в отъезде, но приняли меня хорошо, надавали заданий, а спустя несколько месяцев один из редакционных столов в большой общей комнате стал моим. Тогда-то я и был представлен Калиновскому.

Если честно, особого впечатления он на меня не произвел: высокая, слегка сутулая фигура, поношенный костюм с мятыми коротковатыми брюками, ботинки, похоже, не знавшие сапожной щетки. У него были бледно-голубые, слегка навывкате, глаза, рыжеватые редкие волосы. Не красавец, словом, по газетным материалам я почему-то представлял его куда более значительным.

Он был самоучка, из бывших механизаторов, писал заметки в редакцию, не стесняясь задеть и начальство, если находился повод. Совхозному руководству это, конечно, не нравилось, но терпели - передовой тракторист, селькор, фигура... Пока как-то раз директор с агрономом не нашли какие-то огрехи и на им вспаханном поле.

- Что же ты, - сказал ему директор, - других критиковать мастак, а сам халтуришь... Напиши теперь - как сам накуролесил...

И Калиновский написал сам про себя критическую заметку. Правда, ее не опубликовали, зато взяли его на работу в "районку". А к нам он пришел уже на повышение, закончив заочно филфак пединститута.

То было время, когда "районки" прочно стояли на ногах, в их штате было до восьми - десяти журналистов, газеты выходили три раза в неделю. Как я теперь понимаю, Калиновский был на голову выше большинства своих коллег-районщиков - по творческому потенциалу, уровню профессионализма. Он хорошо чувствовал слово, пробовал себя в прозе и стихах, переводил казахских поэтов, сотрудничал с областной газетой. Когда в ней выходил его очередной крупный материал, притом без правки, он не без гордости говорил мне:

- Запомни, молодежь, расти надо не по должностям, а по газетам!

Хотя, впрочем, тщеславным его назвать было нельзя - скорее творчество было его потребностью. А вот ровным характером он никогда не отличался, легко воспламенялся, мог наговорить лишнего, но, правда, и отходил быстро.

Будучи в хорошем расположении духа, предлагал мне сыграть в шахматы. И тут выдержка изменяла ему чаще, чем когда-либо. Бывало, проиграв на третьем-четвертом ходу пешку, он сразу темнел лицом, цедил сквозь желтоватые от курева зубы: "Сдаюсь!", - разворачивал доску, меняя фигуры, и мы начинали другую партию. Так он мог в течение десяти минут проиграть, по сути, не играя, две-три партии. Зато если выигрывал четвертую, удовлетворенно подытоживал:

- Играть не умеешь, молодежь! - начинал насвистывать, что свидетельствовало о том, что он вполне доволен собой.

При всем том он был труженик каких поискать, работал за полредакции, каким-то особым нюхом чувствовал способных людей, чем-то их заинтересовывал, и они обязательно становились авторами газеты. Мне он помогал избавляться от многословия (он называл это словоблудием), излишней восторженности, учил ставить перед собой более трудные задачи.

Иногда бывало так, что мы оставались с ним вдвоем на всю редакцию. Я пугался: что теперь будет, а он сохранял олимпийское спокойствие. Для начала мы садились играть в шахматы, и как только он выигрывал, следовало неизменное: "Играть надо уметь, молодежь!" Потом он отсылал меня в ближайший совхоз "брать полосу по животноводству", а сам садился за телефон, собирая заметки таким образом, или заказывал материал авторам. Так мы держались вдвоем неделю - дней десять, пока не выходил еще кто-то.

Хлеб "районки" - тяжелый хлеб. Прожорливая, как кукушонок, эта газета требует материалов ежедневно, их все время не хватает. Отсюда неудовлетворенность собой у тех, кого Бог отметил если не талантом, то способностью чувствовать что хорошо, что плохо... А вечером по рублю-два и расслабились. И жизнь уже не кажется такой скучной и серой, и на душе повеселело...

У большинства районных газетчиков - трагическая судьба, мало кто из них доживает до пенсии. Немало тех, кто умирает не своей смертью. Не избежал этой участи и Калиновский, хотя именно ему могла быть уготована иная судьба. Вышло так, что он не воспользовался правилом, которому учил других, - "расти не по должностям, а по газетам", - и сам стал редактором "районки". Поднять ее ему не удалось, "расслабиться" приходилось все чаще... Дома, в полном смысле этого слова, у него не было... Он заболел, что-то случилось с психикой, лежал в больнице... А однажды ушел из дома - и сгинул без следа.

И вот я думаю: на что ушли его душевные силы, его талант - журналистский и человеческий? Почему так благосклонна судьба к одним и неласкова к другим? Что зависит от самого человека, а что предопределено

свыше?

Я даже не помню, когда мы виделись в последний раз: наверное, лет двадцать с лишним назад. Но я помню Владимира Мартыновича Калиновского и всегда буду ему благодарен.

Последний романтик

Как и многие его сверстники, взрослевшие на излете хрущевской волны, к окончанию школы Сенька Мухин просто не мог не стать отчаянным романтиком. Таких, как он, вскормленных духовной "грудью" радиостанции "Юность", журнала с одноименным названием и еще бог знает чем, имеющих неистребимую романтическую закваску, в их классе было несколько. Романтическая дурь не только наполняла - она распирала их души, требовала выхода. Очень многим тогда хотелось быть похожими на мужественного бородатого Хэмингуэя в свитере с полузабытой теперь фотографии, петь "под Окуджаву", многих манил ветер дальних странствий. Просто идти по жизни Сеньке и его компании было мало - им еще хотелось бежать, лететь, плыть. Куда, спросите вы? А все равно куда - хоть "за туманом и за запахом тайги"... Лишь бы "трое суток шагать, трое суток не спать..."

В ту пору, на стыке шестидесятых и семидесятых, выпускники школ, едва получив аттестат в одиночку и группами тут же устремлялись на великие стройки коммунизма. В их классе идейным вождем и вдохновителем этого патриотического порыва был Сенька. Может быть, отчасти им двигало желание чем-то поразить даму своего сердца, лишь недавно появившуюся в их классе. Ее звали Лилия, она была на полголовы выше отнюдь не малорослого Сеньки. Худая, тонконогая, она чем-то напоминала цаплю, весьма, впрочем, недурственную собой. А Сенька перед ней просто млел, теряя рассудок.

По мере приближения выпускных экзаменов число желающих испытать себя на прочность таяло. В конце концов непоколебимой осталась лишь отважная четверка.

В школе и в семьях к затее романтиков отнеслись более чем сдержанно. Сенькина мать плакала, пытаясь отговорить сына от его затеи, а отец, напротив, поощрял: "Ничего, пусть едет... Пусть его жареный петух в жопу клюнет - узнает, что почем в жизни!" Сенькиной пассии ее отец сказал так: "Прижми хвост, а то придушу, как котенка". Сверхосторожный директор школы увещевал одного из четверки смелых, не вышедшего роста Толика Петелина: "Ну, они-то все - лбы здоровые, а ты-то куда лезешь?.. Кирпич упадет сверху - и прибьет" - "Ничего, у меня голова крепкая", - хладнокровно парировал Толик. Родители Юрки Кубракова, давно готовившего себя к всевозможным лишениям и по этой причине даже зимой, в тридцатиградусные морозы, ходившего исключительно в пиджаке и без шапки, предоставили ему право решать свою судьбу самому.

И они все-таки поехали. Впятером. Не получившая благославения отца, Лилька попросту сбежала из дому, прихватив свою подругу "со стороны". Одной из знаменитых комсомольских ударных строек была тогда гидроэлектростанция на Енисее. Но свалившихся как снег на голову комсомольцев-добровольцев там никто не ждал. Пришедшему в штаб ударной стройки от имени "бригады" Сеньке вежливо, но вполне определенно дали понять, что "неорганизованные" добровольцы, да еще не имеющие ни строительных, ни других профессий, стройке коммунизма не требуются. Правда, дали совет: попытаться предложить свои услуги в небольшом городке, за сотню километров от ГЭС, где тоже есть ударная комсомольская, возводящая горнообогатительный комбинат.

Энтузиазма у романтиков сильно поубавилось: одно дело всемирно известная ГЭС и совсем другое - никому не известный комбинат...

Но родительские деньги, выданные на проезд и на первое время, быстро таяли. Возвращение назад казалось невыносимым... Так вся компания оказалась в захолустном райцентре. Устроиться, хоть и не без труда, удалось в строительном управлении - разнорабочими.

Потом в их жизни произошло много разных событий - хороших и не очень: Лильке-ослушнице было родительское проклятие и последовавшее за этим прощение. Был период разброда в стане романтиков, когда позорно сбежала, не выдержав суровых трудовых будней, "примкнувшая" к четверке одноклассников Лилькина подруга. Но вскоре, осознав всю низость своего поступка, она прислала покаянное письмо с просьбой: нельзя ли ей вернуться? и блудную дочь простили.

Потом к нашим героям пришла заслуженная слава. Местная районка опубликовала очерк чуть ли не на целую полосу, под заголовком "Идут по земле романтики". Через какое-то время его с небольшими сокращениями и собственными добавлениями перепечатала казахстанская молодежка... И у наших первопроходцев даже нашлись последователи - из следующих выпусков их родной школы.

Финал этой романтической эпопеи в общем закономерен.

Через год с небольшим четверо из пяти (видимо, себе уже все доказав) разъехались кто куда. А Сенька остался. На радость на беду ли (ближе к истине, мне кажется, все же второе) он к тому времени стал своим человеком в здешней районке, где печатал стихи и заметки. Его взяли на работу в штат. Оттуда же он ушел в Армию, а, отслужив, снова вернулся в газету.

В его жизни началась пора исканий и становления. Именно эта фраза сама собой напрашивается в продолжение. Увы... Новую пору в его жизни скорее можно охарактеризовать, как период шатаний и болтаний. Что тоже, в общем, закономерно. Не добившись благосклонности от своей голенастой Лилии, Сенька не спешил связывать себя семейными узами ни с кем из других возникавших в его жизни подруг. И в этом, наверное, не было бы ничего страшного, если бы свойственная ему некоторая безалаберность не получила на газетной стезе столь благодатной почвы для дальнейшего расцвета.

В самом деле: хорош собою, кудряв, высок, подающий надежды поэт... Работа не изматывает, отдельная

квартира, друзья-приятели... Жизнь беззаботная-полусветская... Сенька стал попивать. Чем дальше - тем больше.

Этому не смогли помешать ни благородная женитьба на женщине, уже имеющей двоих детей, ни Сенькина заочная учеба в Высшей партийной школе, сулившая заманчивые служебные перспективы.

После партшколы Сенька дорос уже до замредактора своей газеты, и дальше ему светил редакторский пост... Но главным делом его жизни стало пьянство. К тому времени к двум приемным детям у него добавилось двое своих, но и это его не останавливало.

Уставшая от Сенькиных художеств жена сдала его на принудительное лечение в ЛТП. Там он чуть приутих, вошел в авторитет и за примерное поведение был досрочно отпущен домой. Здесь зато в первый же день напился и сказал жене все, что о ней думает.

Но дело этим не закончилось. В отместку жене Сенька написал обличительные стихи, начинавшиеся строками "Я проклиная день и час, когда связался с этой бабою..." Стихотворение получило хождение в литературных (и не только) кругах райцентра. Назревал скандал, и Сеньку вызвал для беседы первый секретарь райкома.

- Ну, я понимаю, товарищ Мухин, пустить по матушке... Ну - в углу зажать... Но так опозорить на весь район - это уж слишком!"

Сенька гордо молчал - он был отпущен.

Семья, разумеется, распалась. Бывшая супруга в очередной раз вышла замуж, а он продолжил странствия по жизни. Переезжал, меняя районки. Стихи, как ни странно, писать не перестал. Но печатает их исключительно в газетах, в которых работает.

Одно время казалось, что в его жизни наступят отрадные перемены - он женился на женщине много его моложе. Ее звали Алина, мне она запомнилась тем, что без устали переписывала в общую тетрадь многочисленные Сенькины стихи. Но из этого брака тоже не вышло ничего путного.

Потом ему встретилась еще одна женщина. Было странно и отчасти смешно наблюдать, как, собираясь к ней, разгильдяй Сенька чистит зубы и даже обмахивает тряпкой ботинки. Они бы могли сойтись и жить, и к тому вроде шло, но умерла первая Сенькина жена, у которой от него были сын и дочь, уже старшие школьники. Он не жил с ними шесть или семь лет.

Все это годы мы с Сенькой виделись редко. В памяти остались обрывки каких-то фраз, которыми он, как щитом, отгораживался от меня, когда я по праву друга брался его воспитывать.

Например, вот эта - чуть не на все случаи жизни.

- Я сам себе Мухин.

Или вот еще, но это обычно спьяну:

- Меня можно убить, но победить меня нельзя!

Или:

- Ну, замок-то я еще смогу подломить!

Наверное, ему казалось, что все это очень весомо, убедительно...

И вот встреча - я у него проездом. Сеньку трудно было узнать. Он сгорбился, заметно постарел.

Я все допытывался: "Как ты живешь, какой смысл видишь в своей жизни?"

И он вдруг сказал:

- А я для себя так решил: до пятидесяти лет буду жить, как хочу, а после пятидесяти - как получится...

Вечером он повел меня к себе домой, в холодную, запущенную квартиру, располагавшуюся на втором этаже двухэтажного неблагоустроенного дома. Описывать убранство Сенькиного жилища вряд ли имеет смысл, достаточно сказать, что из съестного в доме были только соль да лук, и поужинали мы тем, что осталось у меня с собой из прихваченного в дорогу.

Как говорится, из песни слов не выбросишь, поэтому не могу обойти молчанием наш с ним поход в места общего пользования. Дверь дощатого туалета закрывалась с трудом из-за того, что внутри с начала зимы успел нарасти холм окаменевшего на морозе дерьма, оставленного бывшими тут по необходимости обитателями его дома.

- Вот... Голгофа... - не то смущаясь, не то восхищаясь, сказал Сенька.

- А как же вы тут, - я замялся, подыскивая уместное слово, - ходите?

- Приспичит - сможешь, - весомо отвечал он.

Спал Сенька одетый - в трико и в свитере. И когда я уезжал, посетовал:

- Жалко ты у меня мало пожил - я бы и тебя приучил в штанах спать...

После этого Сенька сделал отчаянную попытку ужиться с детьми, которая также закончилась полным крахом.

Что уж тому виной: его собственная, скажем так, нерядовая натура или эгоизм детей - сказать трудно.

Просто, наверное, все надо делать вовремя - рожать детей, воспитывать, расставаться с ними...

... Его старшая приемная дочь вышла замуж за еврея и живет теперь в Израиле.

Вторая приемная дочь не вернулась со стажировки из США, выйдя там замуж за американца.

Ни о какой привязанности к отчиму и речи быть не может.

Родной сын ушел из дома. Жить с отцом не захотел.

Родная дочь, пожив с Сенькой какое-то время, выставила его из квартиры...

Теперь он временно живет у приятеля. Когда Сенькина мать узнала об этой последней новости, заплакала и сказала:

- Неудельное дерево... Прожил, прости Господи, как за пнем высрался!

В свой очередной отпуск Сенька заехал ко мне. Отогрелся, отоспался и, когда мы с ним вечером "приняли на грудь", заявил:

- Меня списывать еще рано, на худой конец у меня еще кое-что имеется!

Я подумал про себя: "Худой конец и есть худой конец, что там может еще оставаться", - но вслух ничего не

сказал.

А когда я на следующий день провожал его на поезд, Сенька, будто возражая себе вчерашнему, обронил:
- Я все думал, что жизнь еще впереди, а она, оказывается, уже где-то ... сбоку.
И было ему от роду сорок четыре года.

"Мы - пьяницы..."

Миша Клюев работал у нас фотокором. Наш сельхозотдел и его фотолаборатория располагались напротив - через коридор. Миша был невысок, хорош собою - кудряв, черноволос, коммуникабелен. И хотя снимками секретариат никогда не заваливал, зато не халтурил.

Мишина фотолаборатория служила нам прибежищем для выпивок. А поскольку проблем со спиртным в ту пору не было никаких, поводы находились очень быстро. И застукать нас было очень сложно. Если зайвится некто замотаетсека - поинтересоваться насчет снимков - у Миши всегда дверь на замке и ответ готов:

- Проявляю!

И мы затаимся. А услышав удаляющиеся шаги, покатываемся со смеху. И тот, чья очередь "принимать", непременно добавляет:

- Ну что ж, наливайте - теперь надо закрепить.

В то время нас, молодых, в редакции было немало, собирались мы и на холостяцкие пирушки. И Миша бывал с нами. После двух-трех стаканов портвейна он непременно звонил жене - доложить, что скоро будет. Но "скоро" не получалось, поэтому он звонил еще и еще...

У его жены был пункт: она почему-то считала, что если Миша пьет, то обязательно с женщинами.

- Мариночка, какие могут быть женщины, - обиженно бубнил он в трубку, - я же пьяный...

- Правильно, Миша, мы не блядуны, а пьяницы, - всякий раз добавлял закоренелый холостяк

пятидесятилетний корреспондент Дьяков и отбирал у него телефон.

Мы были молоды и беспечны и не считали эти пирушки каким-то грехом. Тем более, что умели мы останавливаться и делать дело. А Миша останавливался далеко не всегда. По утрам он любил "поправляться" - чаще всего "ливзейкой" - спиртовым настоем какой-то травы в двадцатиграммовых бутылках, которые он оптом закупал в аптеке.

Разумеется, Миша плохо кончил. Как-то их с приятелем, выпивающих в городском сквере, застукала милиция. Наверное, можно было бы договориться, но Миша неожиданно бросился бежать, швыряя на ходу под ноги преследующих его милиционеров оставшиеся бутылки с портвейном - как гранаты... Потом была бумага из вытрезвителя, и Мише пришлось уйти из газеты.

Он уехал на Дальний Восток и, устроившись на рыболовецкий сейнер, начал там новую жизнь. Когда года через два появился в редакции, мы его просто не узнали. Белозубый красавец в белом плаще, лакированных туфлях, с новеньким кейсом, которые тогда только входили в моду, казалось, сошел к нам с рекламного проспекта...

Как водится, вспомнили старое... Тем более у Миши "оказалось с собой"... И скоро он опять звонил жене:

- Мариночка, я скоро буду!

Нам было слышно, как клокотала телефонная трубка, а Миша в ответ обиженно оправдывался:

- Какие бабы, Марина, я же пьяный...

- Ты прав, Михаил, мы пьяницы, а не... , - произносил свою коронную фразу закоренелый холостяк без пяти минут пенсионер Дьяков, и, отобрав у него трубку, водружал ее на место...

...Повидав в своей жизни немало пьющих журналистов (любителей "этого дела" было куда больше нежели трезвенников), я удивлялся и продолжаю удивляться одному: почему одни пьют едва ли не всю жизнь и не спиваются, а другие начинают деградировать очень быстро...

Понимаю, что у людей может быть разная степень привыкания к алкоголю и разная способность противостоять заболеванию, но у меня есть ощущение, что ломаются быстрее более искренние и менее защищенные, более совестливые и менее толстокожие... Во всяком случае, на моей памяти лишь один журналист сумел совершить обратный путь - от пьянства и деградации к абсолютной трезвости и творческому подъему.

...Я не знаю, где теперь Миша. В редакции он больше не появлялся. Я никогда не был в числе его близких друзей, но во мне почему-то до сих пор живет неосознанное чувство вины перед ним.

Парамоныч

Он встречает меня утром в редакционном вестибюле и с преувеличенным энтузиазмом жмет руку.

- Приве-ет!

Он в прекрасно отутюженном костюме, он свежевыбрит, элегантен и бодр. Это значит, что Парамоныч в очередной раз "завязал" и что он снова полон творческой энергии.

Одной рукой он цепко держит меня за рукав, а другой потрясает свежеиспеченной рукописью.

- Ты знаешь, я одну вещь сделал - как раз для вас. Пойдет, как из пушки. Ты только послушай...

Дело принимает серьезный оборот. Раз уж попался, главное - не дать втянуть себя в беседу.

- В другой раз, Парамоныч! Опаздываю! Давай материал - сам посмотрю.

Повезло - убежал. Однако надо читать. Так и есть: очередная ода общепитовцам из комбината общедоступной сети столовых и ресторанов, с честью выполнившим взятые на себя обязательства и тут же

взявшим новые...

Парамоныч - злой гений нашей редакции. В отделах от него шарахаются как черт от ладана, но он, увы, неутомим и всепроникающ, и мы несем его по жизни как крест вместе с его любимыми общепитовцами. Мы познакомились лет пятнадцать назад, когда я проходил преддипломную практику в газете, а он уже пребывал на заслуженном отдыхе. Парамоныч разъяренным тигром метался по крошечному кабинету и восклицал:

- Отлучить задумали! И кого! Меня! Ну- нет! Им это даром не пройдет!

Лицо его пылало гневом, выражая крайнюю степень негодования. Как я потом узнал, по вине Парамоныча газета в очередной раз попала впросак, и новый редактор (сам большой оригинал) предложил отлучить его от редакции.

Но разве можно отлучить рыбу от воды, а птицу - от свободного полета! Того редактора и след простыл, а Парамоныч по-прежнему творит, особенно в промежутках между запоями.

Когда-то очень давно (так давно, что, кроме Парамоныча, этого никто не помнит) он был собкором республиканской партийной газеты. Можно только догадываться о том, какую по тем временам он имел власть, если возвращаясь навеселе из командировки, он имел обыкновение звонить домой кому-нибудь из секретарей обкома и заявлять:

- Ты завтра на работу можешь не выходить.

- А что такое? - удивлялся тот.

- Да ничего - я тебя увольняю.

И это сходило ему с рук до тех пор, пока он по ошибке не попал на нового первого. Тот "шутки" не понял, позвонил редактору, и на этом собкоровская карьера Парамоныча была закончена.

Правда, об этой странице своей биографии Парамоныч распространяться не любит. Как, впрочем, и о выговоре "за обман партии", который он носил больше года. А дело было так. После очередного загула Парамоныча обсуждали на партбюро, где он клятвенно заверил, что больше - ни капли в рот... Но слово не сдержал и по настоянию секретаря партбюро-ортодокса ему впаляли выговор с такой формулировкой. Рассказывают, когда секретарь горкома партии на бюро зачитал ее, у него глаза на лоб полезли. Но, будучи человеком, не лишенным чувства юмора, он решил позабавиться и, насупив брови, как можно суровой спросил:

- Ну, расскажи-расскажи, как ты ее, родимую, облапошил?

...Парамоныч был посрамлен. Но не настолько, чтобы совсем утратить вкус к жизни. Он и по сию пору в числе боевительших наших пенсионеров-корреспондентов, за глаза именуемых "пенькорами". Он подводил редакцию бесчисленное количество раз, большинство его материалов вполне можно публиковать как остроумные пародии на материалы. Мы испробовали все возможные способы, чтобы отвести его от редакции. Иногда нам даже казалось, что мы добились своего... Но в один прекрасный день Парамоныч возникал в вестибюле редакции, и все начиналось сызнова.

И вот теперь я думаю: а что, может, без таких, как он, наша жизнь была бы куда менее интересной.

Странник

Вокруг всякой провинциальной газеты обязательно вращается с десятков ее постоянных внештатных авторов. Никто их особенно не привечает, но их жизненные орбиты почему-то оказываются привязанными к газете, как к центру мироздания. И они без нее уже не могут - как спутники без планет или сами планеты без Солнца. Таков наш Дмитрий Петрович.

Раза два в неделю его худощавая, слегка сутулая фигура неизменно возникает в редакционных коридорах. Летом он в обязательных сандалиях (часто на босу носу), в темной рубашке, застегнутой до самого горла, и в соломенной шляпе. Зимой - в одном и том же длиннополом пальто, войлочных ботинках или валенках. И в любое время года обязательно с какой-нибудь книгой под мышкой.

- Здравствуй, я пришел! - с порога объявляет он, и мы садимся играть в шахматы, если у меня есть время...

Никто точно не знает, сколько ему лет, где и как он живет. Дмитрий Петрович никогда никого к себе не приглашает. Он, как говаривали в старину, всегда в одной поре - во всяком случае незаметно, чтобы он старел. У меня лично такое ощущение, что Дмитрий Петрович был всегда, пока существовала газета. Шли годы, менялись редакторы и поколения сотрудников, газета совершала головокружительные зигзаги, стремясь поспеть за генеральной идеологической линией... А он неизменно оставался верен ее страницам.

Рассказывают, когда-то давно Дмитрий Петрович руководил областной конторой "Сортсемоовощ" и одновременно был собственным корреспондентом республиканского информационного агентства. Разумеется, ни одно ни другое его республиканское начальство не подозревало о его совместительстве, а сам он его тоже не афишировал. Так продолжалось не один год, пока Дмитрий Петрович, к несчастью, не заболел и не перестал передавать свои заметки в агентство. На его розыски прибыл представитель из центра, и тайное стало явным.

Был жуткий скандал. С собкорством пришлось расстаться, но привязанность к газете осталась... Дмитрий Петрович уже лет двадцать на пенсии, но это не мешает ему писать лирические стихи на темы деревенской жизни, откликаться (как правило, в той же стихотворной форме) на важнейшие политические события. Он охотно переводит на русский стихи местных казахских и немецких поэтов. Он член областного литературного объединения, не пропускает ни одного заседания, и его совершенно не смущает то обстоятельство, что среди новых членов объединения уже внуки тех, с кем он когда-то начинал свои литературные занятия.

А еще Дмитрий Петрович краевед и автор нескольких книг о природе и прошлом нашего края. Он регулярно

поставляет редакции всевозможные истории типа "а вот еще был случай" - то о том, как орел чуть было не унес в когтях подростка, осмелившегося приблизиться к его гнезду; то о немом пастухе, ушедшем в пустыню от людей вместе со стадом любимых им верблюдов, то об обнаруженном им гигантском пне сосны, якобы росшей на берегу Иртыша и видимой со всех сторон за многие десятки километров... Историй этих - великое множество, и никогда нельзя понять, где в них правда, а где вымысел.

Думаю, ему несладко живется, но я ни разу не слышал, чтобы он когда-нибудь жаловался по этому поводу.

Мне кажется, он давно перестал обращать внимание на внешнюю сторону бытия и просто странствует по жизни или живет в другом, им самим созданном мире.

Для меня он по сей день остается загадкой. Не могу сказать, чтобы скучал без него, но я всякий раз безотчетно радуюсь, услышав знакомое:

- Здравствуй, я пришел!

Редакторские были

Проект "Летающая река"

Он вошел в мой кабинет легкой уверенной походкой, неся на одной руке плащ и держа в другой небольшой плоский "дипломат". Посетитель был элегантен, подтянут и чертовски обаятелен. И говорил исключительно по делу, что стало ясно с первых слов.

- Меня зовут Арнольд Михайлович. Я инженер-конструктор. У меня к вам дело, требующее общественной поддержки. Все сегодня говорят о конверсии, но дальше разговоров не идут. А я имею вполне реальный проект. Условное название - "Летающая река".

- Рассказывайте. Я весь - внимание.

- Как вам известно, мы договорились с американцами уничтожить все ракеты средней дальности. Теперь они свои режут, наши и того хуже - взрывают. А зачем же переводить добро, когда оно еще вполне может послужить?

Арнольд Михайлович сделал паузу, щелкнул замками "дипломата", извлек из него кипу бумаг и положил перед собой:

- Что я предлагаю? А вот что. Берем ракету, их "Эм-Экс" или нашу "Эс-Эс-20" - это неважно, внутренности удаляем, а саму оболочку, так называемый корпус, оставляем. Полдела, считай, сделано. Кладем эту пустую ракету на бок и просверливаем в ее нижней части как можно больше отверстий - примерно, как в решетке. Остается наполнить ракету водой, подцепить ее к вертолету - это средство доставки - и полив обеспечен. У нас ведь влаги не хватает, а так можно поливать везде, даже в труднодоступных местах.

Идея столь контрастировала с внешним обликом автора, его безукоризненными манерами и грамотной речью, что я просто опешил:

- Вы это что - серьезно?

- Ну, разумеется. Вот тут у меня все расчеты, - он похлопал рукой по своим бумагам. - К тому же мой проект многоцелевого назначения. Поскольку зимой полив невозможен, я предлагаю на это время запаивать отверстия и использовать ракету для перевозки любых жидких грузов наземным способом.

Увы, я слишком поздно понял, с кем имею дело. Автор проекта века стал раскладывать передо мной чертежи, схемы и графики, официальные письма на фирменных бланках...

Спасла меня опытная секретарша. Заглянув зачем-то в кабинет, она сходу сориентировалась и некоторое время спустя сурово напомнила по селектору:

- Вы не забыли - сегодня летучка? Все уже собрались, ждут вас...

Гонорар за... общение

Он перехватил меня в коридоре:

- Вы редактор?

- Я редактор.

- У меня к вам срочное дело.

- Пойдемте, раз так.

В кабинете, перед тем как сесть, он пошарил где-то за пазухой, выложил на стол пачку денег.

- Что это?

- Ваш гонорар.

- За что?

- За общение со мной!

- ??

Оказалось, собеседник, его звали Петр Павлович, намеревался открыть свою собственную газету "Светило" и хотел бы получить необходимые консультации на этот счет. Газета его будет духовной (что под этим подразумевается, он не сказал, сославшись на коммерческую тайну). Выходить она будет "по мере необходимости". На первых порах Петр Павлович собирается пропагандировать создание региональных энергетических колец. Одно из них уже действует вокруг Павлодара. Оно сооружено по инициативе шефствующего над городом и его окрестностями Высшего Реально Действующего Разума, представителем которого и является Петр Павлович. Энергокольцо имеет радиус 130 километров - во все стороны; начинается

оно в центре Земли и поднимается на определенную высоту ("Чуть выше туч", - уточнил мой собеседник.). Кольцо служит исключительно мирным целям, ограждая всех тех, кто в нем находится, от всевозможных вредных воздействий и продляя людям жизнь. Но состоящим на службе у Высшего Реально Действующего Разума энергомонтажникам, сооружающим такие защитные кольца, следует платить - кто сколько может. Для чего Петр Павлович просит пока (до создания своей газеты "Светило") опубликовать свой расчетный счет в банке и домашний адрес, куда можно переводить деньги. Готов он принять заявки и на создание энергетических колец для других регионов...

...Закончив, Петр Павлович напоследок поинтересовался:

- Журналистами не поможете?

- Не помогу - самим не хватает.

- Напрасно, - предостерег он, а потом махнул рукой: - Хотя чего там - сами потом ко мне побегут...

Кинул взгляд на деньги, которые все так же сиротливо лежали на краю стола, деловито поинтересовался:

- Ну, а с гонораром как?

- Никак. Забирайте свои деньги.

Он еще постоял в раздумье, вздохнул и опять засунул их куда-то за пазуху:

- Правильно. Я бы тоже не взял...

Жизнь такова...

Кадры решают все

В редакционные начальники я выбился совершенно для себя неожиданно. Сразу два заместителя редактора уходили на пенсию, и в нашей редакции (да и не только, впрочем, в ней) развернулась скрытая, но отчаянная борьба за право обладания этими креслами. Я в претендентах себя не значил и был в ней не участником, а, скорее, болельщиком. Отрубив восемь лет корреспондентом некогда горячо любимого сельхозотдела (на стене нашего кабинета под номером тринадцать за моей спиной все эти годы красовался лозунг "Душой и телом - с сельхозотделом!"), я ни о каких административных должностях не помышлял, свято веруя в то, что дело журналиста - писать самому, а не руководить кем-то... К тому же я всегда помнил наказ своего первого учителя - замредактора из Железинской "районки" Калиновского: "Запомни, молодежь: расти надо по газетам, а не по должностям!" И подумывал о переходе на собкоровскую работу - бег по замкнутому сельскохозяйственному кругу (посевная - сенокос - уборка - зимовка скота) мне порядком осточертел...

И вдруг редактор пригласил меня к себе и в обстановке строжайшей секретности сделал предложение стать его замом, да еще первым... Это теперь я понимаю, что он хорошо все просчитал и у него были свои резоны поступать именно так. А тогда, совершенно обалдев от услышанного, я только спросил:

- А почему я? А как же тот-то, тот-то и тот-то?...

Ответом мне был совет, во-первых, не задавать глупых вопросов, а во-вторых, благодарить за доверие и соглашаться, тем более что в верхах все уже согласовано. И еще мне было особо наказано держать состоявшийся разговор в строжайшей тайне (даже от жены!) - до момента официального моего представления.

Случившееся стало полной неожиданностью для всей нашей конторы: известие о моем назначении было выслушано в напряженной, какой-то зловещей тишине...

К своим обязанностям я оказался настолько психологически не готов, что первое время был абсолютно деморализован, пребывая в некоей постоянной протрации... Кабинет мне казался слишком большим (я в нем боялся затеряться, как в лесу), стул - неудобным (я потом притащил свой "родной" из сельхозотдела), мне казалось, что собратья-журналисты, с которыми я еще вчера был на короткой ноге, бойкотируют меня. Мне было одиноко и неуютно в своем новом кабинете. Гнетущее состояние не отпускало и дома, ночами я лежал без сна и думал: "Ну, почему этот П.А.П. (наш бывший зам) ушел на пенсию, а не я?" В ту пору мне было, кажется 32 года, и как же я завидовал ему!

...Время и жизнь все расставили по своим местам. И когда три года спустя уходил на пенсию уже сам редактор, я был выдвинут ему на замену... Хотя тяну редакторскую ляжку уже довольно долго, до сих пор не уверен: свое ли место занимаю, мое ли дело - редакторство? Но об этих своих сомнениях как-нибудь в другой раз. А сейчас я хочу рассказать о том, как происходило утверждение.

О, это был целый ритуал!

Дело в том, что редактора областных партийных газет числили в так называемой учетной номенклатуре ЦК Компартии Казахстана. Партия ценила или, вернее говоря, контролировала эти свои кадры. Так что проходить собеседование мне полагалось в недрах здания, порог которого простым смертным вряд ли когда случалось переступать.

Сначала пришлось побегать по коридорам родного обкома. И если в отделе пропаганды разговор был нормальный, человеческий, то в кабинетах рангом повыше почему-то строжились, обязательно давали понять - сколь высоко оказываемое мне доверие, что я не должен обольщаться...

Так, первый секретарь, поджав губы, сказал: "Вы не думайте, у нас есть и другие кандидатуры... Мы раздумывали - вас выдвинуть или... - Секретарь назвал фамилию. - Он посолиднее, но у вас кругозор пошире... Так что имейте в виду..."

Что иметь в виду - я так и не понял. Мне почему-то казалось, что он сожалеет о том, что выдвигает меня, а не

того, другого...Я, собственно, и не обольщался на собственный счет - меня и без того одолевали сомнения. Но порой и досада брала: я же проработал больше десяти лет у вас на глазах, все мои материалы вы читали, как я работал замом (в последнее время почти семь месяцев без редактора), знаете...Что же меня проверять еще? Но тут, как видно, действовали свои правила, каких не могла поколебать начавшаяся три года назад перестройка.

Наконец мне вручили в обкоме большой пакет из плотной бумаги (насколько помню - без каких бы то ни было опознавательных знаков). С ним мне надлежало явиться в отдел пропаганды ЦК. Этот пакет - в нем и было-то две-три бумажки - так называемая "объективка", то есть служебный список с рекомендацией обкома, характеристика, да несколько фотографий - стал в поездке предметом моего наибольшего беспокойства. В карман из-за внушительных размеров не положишь, в багаж тоже не сдашь, поэтому держал его в дипломате, стараясь не выпускать последний из рук. Я ощущал себя дипкурьером и разведчиком одновременно... Все же я благополучно прибыл в столицу, приехал в бывшую цековскую гостиницу, где мне забронировали номер. (Вообще-то, я мог остановиться у знакомых, но меня в обкоме предупредили - лучше в гостинице). В отделе пропаганды и агитации ЦК работал мой давний, еще со студенческих времен, приятель, с которым мы не один литр водки выпили, и, по простоте душевной, я попросился идти вместе с ним. "Только до бюро пропусков", - лаконично уточнил он и действительно оставил меня у дверей этого самого бюро.

Тут, наверное, нужны кое-какие пояснения. Ведь кому-то поведение моего приятеля может показаться по меньшей мере странным. Он - инструктор ЦК, ответственный работник, я первый заместитель редактора областной партийной газеты (можно сказать, без пяти минут редактор), у меня с собой редакционное удостоверение, партбилет, наконец...Почему бы нам сразу не пройти вместе - тем более я приглашен на собеседование? Приятель, с которым я поделился своими сомнениями, не особо вникая в детали, высказался в том смысле, что ЦК не проходной двор, а режимное учреждение, и вообще посоветовал мне не слишком афишировать наши с ним близкие отношения, ибо еще не известно, чем это может обернуться в дальнейшем и для меня, и для него.

Как бы там ни было, спустя примерно полчаса, заказав пропуск, я оказался в отделе, где затем целый день ходил по кабинетам. Беседовали со мной человек десять, от инструкторов, завсекторами и замзавотделами до заведующего отделом и секретаря ЦК по идеологии. Вошел я в здание около девяти утра, а вышел из него около восьми вечера. Содержание тех разговоров теперь уже подробно не помню, но кое-что в памяти отложилось. Особенно дотошным оказался заведующий сектором, который курировал национальную политику. Его интересовал "немецкий вопрос" и мое к нему отношение. Я сказал, что немцы у нас в области составляют примерно десятую часть населения и эмиграционные настроения, конечно, есть.

- Так, может, им автономию дать, - спросил он, - что вы думаете насчет автономии?

Не ожидавший столь прямого вопроса по существу, я подрастерялся.

- Проблема есть, - уклонился от прямого ответа, - а как решать - вам тут сверху виднее.

- Все ясно - готовый редактор, - засмеялся он и отправил меня дальше.

Секретарь ЦК интересовался тиражом (а он тогда у нас был - о-го-го - 150 с лишним тысяч), напомнил об ответственности...Ну, а в целом был по-отечески доброжелателен.

Последним со мной беседовал заведующий отделом, пришедший часов в семь вечера с какого-то совещания. На столе у него горкой лежали неразобранные газеты - видно, не успевал читать. Еще я обратил внимание на телефон с гербом. Он вдруг зазвонил, из разговора я понял, что звонил первый секретарь ЦК - речь шла о какой-то недоброжелательной статье в "Правде", на которую следовало отреагировать. Они говорили минут десять, но когда я дал понять, что могу подождать в приемной, завотделом жестом остановил меня. Это мне запомнилось потому что, когда мы с зав отделом обкома были на собеседовании у нашего первого секретаря и ему также позвонили из ЦК, он, даже не начиная разговора, небрежным движением руки выставил нас из кабинета. Так что завотделом ЦК мне сразу понравился; может быть, еще и потому, что когда-то он работал у нас в области, а потом сам был редактором республиканской газеты.

Потом завотделом быстро пролистнул лежавшую перед ним тощую папочку с моим досье и устало пошутил:

- Ну что, можешь считать, ярлык на княжение получил - езжай редакторствовать.

Помолчали, и он вдруг как-то прямо в лоб спросил: правда ли, что наш первый секретарь - главный тормоз перестройки в области? Может быть, он выразился не дословно так, но смысл был именно таков.

"Ну и нравы в этом заведении, - ужаснулся я про себя, - неужели им нужны еще и какие-то мои свидетельства?"

А вслух ничего не сказал. Хотя, по правде говоря, обстановка в ЦК показалась мне куда более естественной и человеческой, чем в нашем собственном обкоме.

Чего стоили одни обкомовские утверждения на должность!

Пройдя все необходимые собеседования и оформив все нужные бумаги, кандидаты на должность ожидали своей участи в "предбаннике", за дверями комнаты, где заседало бюро и узкий круг других руководителей, допускаемых на его заседания. Строгости при этом были такие, что одно время на бюро обкома не допускался даже первый заместитель редактора во время отсутствия последнего. Кадровый вопрос всегда рассматривался первым. Вызывали по ранжиру, - пропуская первыми тех, кто утверждался на более высокие должности. Заходили по одному. Приглашенный садился на стул у дверей, конечно же, ощущая себя в этой компании бедным родственником. Пока зачитывались сведения о нем, можно было сидеть, а когда работник орготдела заканчивал читать, и первый секретарь спрашивал, какие есть вопросы, полагалось встать. Вопросов, как правило, не возникало, чаще были всевозможные наказания - пожелания. После чего следовало: "Утверждаетесь в должности...", и утвержденный, не переводя дыхания, устремлялся за дверь. Точно так же утверждали в должности первого зама редактора и меня самого. Когда я встал, первый секретарь спросил:

- Ну, так как: будет у нас гречиха?

Вопрос был с подвохом: незадолго до этого я опубликовал большую статью о том, что в области вытесняется с полей эта культура, а между тем гречки в магазинах днем с огнем не сыщешь.

Но я подвоха не почувствовал:

- Хочу, чтобы была, - отвечивал бодро, - потому и написал.

- Но вы же не специалист, - поморщился первый секретарь, - о самолетостроении же не пишете...

"При чем тут самолетостроение, - подумал я, даже не обидевшись на "неспециалиста".

- Он написал, - а нам план по гречихе набавят, - с укоризной сказал доселе дремавший председатель комитета народного контроля, - об области надо больше думать.

- Вот-вот, - одобрительно продолжил первый секретарь, - вы ведь теперь не просто журналист будете, а руководитель...

Случались при назначениях курьезы, иначе не скажешь... Утверждали как-то бывшего инструктора обкома, отправленного "на вырост" и на укрепление в одну из газет. Человек ограниченный, далекий от газетного дела, он там никак не приживался, но "линию проводил". В конце концов его решили вернуть обратно в обком, на прежнюю должность. И вот его утверждают. Второй секретарь, как видно, желая досадить собрату-секретарю по идеологии (это по его представлению возвращается инструктор), с издевкой спрашивает:

- Вам скоро пятьдесят. В газете вы ничем особым себя не проявили, теперь возвращаетесь на прежнее место... Зачем?

- Я солдат партии, - вытянув руки по швам, отвечает он, - куда партия посылает - туда и иду.

Утвердили...

И все же, поварившись не один год в партийном котле, кое-что сравнивая, не могу не признать: у почившей в бозе партии была весьма приличная система отбора кадров. За редким исключением, ей удавалось вылавливать толковых, знающих дело, работающих людей. Обычно это были хорошие специалисты - технологи. Поддержав их какое-то время на партийной (тогда говорили - аппаратной) работе, двигали дальше. И чаще всего они становились толковыми руководителями предприятий и отраслей. Да и чего греха таить - и сегодня еще прежняя работа в партийных органах для очень многих едва ли не лучший пропуск в нынешние коридоры власти.

Но я, впрочем, сильно отвлекся. Вернувшись из столицы домой, я вскоре - теперь уже по упрощенной схеме, как ранее утверждавшийся и к тому же получивший благословение ЦК - пересел на редакторское место за одним из приставных столиков в зале бюро обкома. (У части номенклатуры были на заседаниях бюро свои постоянные места, одно время даже с металлическими табличками - Иванов, Шарипов, Матвиенко...).

Прежний редактор, которому выразили благодарность за безупречную службу, тут же ушел, и его место было еще теплым. Почему-то я это запомнил...

Характеристика

Характеристики как форма партийного воспитания кадров стали внедряться в практику с приходом в нашу республику нового первого секретаря ЦК Компартии. Он был прислан Москвой для оживления процессов перестройки. Считалось, что Казахстан все еще находится на ее обочине, а он уже успел продемонстрировать новаторские, революционные методы работы на посту второго секретаря ЦК одной из национальных республик, а затем первого секретаря обкома партии крупной российской области.

Через это чистилище - утверждение личной характеристики - прошли многие. В зависимости от ранга партийного комитета (райком, обком, ЦК) это мог быть колхозный бригадир или директор совхоза, директор завода или даже министр. Республиканские газеты печатали в изложении утвержденные характеристики руководителей - коммунистов - в качестве образцов. Этот опыт подхватывали низовые партийные комитеты. Не знаю, насколько эффективной была эта мера партийно-политического воздействия, но крови она людям попортила немало. Неутверждение характеристики было чревато прощанием с должностью. Бывало так, что утверждение характеристики откладывалось, и тогда коммунисту-руководителю давался срок на устранение каких-то производственных или иных огрехов... Характеристику одного из павлодарских руководителей бюро обкома обсуждало трижды. И хотя никаких особых прегрешений ни в служебном, ни в личном плане у него не было, всякий раз перед ним маячила реальная перспектива расстаться с креслом...

Но что это я, впрочем, о других... У меня ведь есть и собственный опыт по этой части...

Начало моего редакторства, как я уже писал, совпало с революционными процессами перестройки. Причем уже в их завершающей стадии, когда партийно-государственная машина еще не пошла вразнос, но все предпосылки к этому были налицо: желание ускоряться (по всем направлениям) соседствовало с не меньшим намерением со стороны партии "держать процесс под контролем". Это был тот самый случай, когда дают и по газам, и по тормозам одновременно... А газета оставалась органом (согласитесь, тут поневоле приходят на ум чисто физиологические ассоциации) и обязана была следовать курсу. Курсу, которого не было.

Тут даже у опытного редактора может крыша поехать. А я был начинающим, неискушенным в хитросплетениях аппаратных игр, сомневающимся в своем праве на редакторство, непрерывно рефлексирующим... Я свято верил всему, о чем неутомимо вещал наш новый генсек. И хотел делать хорошую газету. Один наш журналист, не лишенный поэтического дара, родил четверостишие:

Напишу я так, что люди -

Девяносто пять из ста -

Будут рвать друг другу груди

У газетного листа.

То есть такой это будет "убойный" материал. А мне - молодому редактору - хотелось всю газету делать такой. Сказать по правде, мне это не особенно удавалось. Но я надеялся на лучшее. Я поверил в гласность и в меру сил старался расширять ее горизонты на страницах вверенного мне издания. Иногда меня похваливали, чаще поругивали, но какое-то время все было в пределах нормы - в том числе и мои отношения с обкомом. Споткнулся я на неформалах.

Теперь это слово вряд ли услышишь. А тогда оно для одних было едва ли не синонимом свободы, а для других - некоей зловредной силой. "Формалы" - это были все те, кто отождествлял власть, а неформалы - кто по зову души представлял народ.

Школьный учитель, инженер телецентра, преподаватель института, рабочий, еще несколько человек организовали инициативную группу. Им до всего было дело... Почему власти не остановят цех химзавода, отравляющий город и горожан? Почему ведется строительство жилья в пойме? Почему первый секретарь обкома на выборах в Верховный Совет не имел альтернативы? Эти "почему" множились, и неудивительно, что именно в неформалах партийная власть усмотрела угрозу своему до сих пор монопольному влиянию на умы и сердца трудящихся.

А когда неформалы и вовсе замахнулись на святая святых - задумали выдвинуть своего кандидата в народные депутаты СССР - чаша партийного терпения оказалась переполненной.

Обком стал выработать жесткий курс по отношению к ним. И проводить его надлежало газете, чьим органом она в ту пору была. Требовалось заклеить демагогов и популистов, рвущихся к власти, открыть людям глаза на деструктивные элементы, расшатывающие устои социалистического общества и подрывающие основы социалистической экономики.

Я этому решительно воспротивился. Не только потому, что в душе я симпатизировал этим ребятам, которые в открытую говорили многое из того, о чем я думал наедине с самим собой (Признаться же в этом открыто тогда было равносильно самоубийству). Как ни молод и неопытен я был, а хорошо понимал: родной обком может простить многое, но только не это. Политическая неблагонадежность партией не прощалась никогда. Но вместе с тем я наивно полагал, что смогу убедить тех в обкоме, кто принимает решения, в ошибочности и даже вредности жесткой линии по отношению к неформалам.

Совсем необязательно любить их, выстраивал я линию вообразимого разговора, а встречаться и говорить надо; и тогда какие-то их вопросы отпадут сами собой, какие-то потеряют остроту; противоречия, конечно, останутся - ну и пусть, такова сегодняшняя жизнь - зато никто не упрекнет власть, что она игнорирует мнение общественности.

Так думал я, и мои аргументы нравились даже мне самому. Я решил не мельчить и выйти сразу на первого секретаря. И в этом была моя главная стратегическая ошибка. Я нарушил субординацию, перескочив сразу две ступени, кои следовало до того пройти - заведующего отделом и секретаря, ведающего вопросами идеологии. Помимо всего прочего, я сразу настроил их против себя - вопрос-то был нешуточный.

Основополагающий! Вторая ошибка была в том, что я бросился к "первому" очертя голову - не "проветурировав", где это возможно, каково его собственное отношение к этой проблеме. Но я ведь, повторюсь, был молод и наивен, меня в тот момент не очень занимало, что думает первый секретарь (я просто предположить не мог, что жесткую линию задает он, а не кто иной), мне было важно, что я ему скажу...

Шел я на встречу, полный радужных надежд, а возвращался... Я был подобен пробитому футбольному мячу: он еще сохраняет внешнюю форму, хотя весь воздух из него уже вышел. Общение наше напоминало разговор слепого с глухонемым.

Никакие мои доводы отклика не возымели. Наоборот, мне дали понять, что политически я близорук и не вижу ("А может, не хотите видеть?!") грозящей опасности...

"А вам известно, что у них уже налажены связи с границей, - просвещал меня "первый", - со всеми этими прибалтийскими народными фронтами? Они и литературу оттуда получают..."

Мне велено было идти и подумать...

Но на этом дело не закончилось. Следующую прочистку мозгов мне устраивали заведующий отделом и секретарь по идеологии... Наверное, это были худшие дни в моей жизни...

Чего конкретно от меня требовали? Чтобы в газете появился материал, разоблачающий неформалов. А я упорствовал, ведь разоблачать было нечего. Это тянулось несколько недель. Потом меня вновь вызвали к "первому".

- Как вам известно, последние установки бюро ЦК требуют решительных мер по отношению ко всякого рода оппозиции, - сказал он не глядя на меня.

Я угрюмо молчал.

- В этой связи вам предлагается "запустить" статью соответствующего содержания, - продолжал "первый". - Таким образом будет сформировано надлежащее общественное мнение вокруг этой группки крикунов. Акция получит политический резонанс, у людей раскроются глаза... Статью обсудят на партсобраниях... Коммунисты, вошедшие в группу неформалов, из партии будут исключены... Чтоб другим неповадно было.

И он вручил мне статью, подготовленную, как я понял, в недрах обкома. Я пробежал глазами текст и ужаснулся: творение было просто ублюдочное.

- Этого я никогда не подпишу...

- Почему?

- Потому что это тот случай, когда усердие превозмогает разум.

- Плохая?

- Не то слово...

- Ну так сделайте хорошо!

- Из дерьма конфетку не сделаешь.

Помолчали. После чего "первый" с расстановкой сказал:

- Но вы же понимаете - у меня нет другой газеты, чтобы провести линию ЦК...А вы, как видно, и редактором хотите быть, и невинность сохранить...

"Какую там невинность, - подумал я, - тут хоть бы остатки совести не потерять...". А вслух спросил:

- Готовиться сдавать дела?

- Ну, так вопрос пока не стоит, - рассудительно заметил "Первый", - хотя, если надумаете, держать не станем...

Размышляя теперь, по прошествии лет, об этой истории, я, честно сказать, удивляюсь: почему "первый" так долго терпел мою строптивость? Строитель по профессии, довольно быстро вознесшийся на партийный Олимп, он отнюдь не склонен был к сантиментам - головы у нас в области при нем летели куда позначительней моей...Может быть, ему просто никто не говорил того, что он слышал от меня? Или все же что-то такое было в моем упрямстве, что останавливало его перед последним решительным шагом? Как бы там ни было, ко мне решили применить еще одну степень воздействия - пропустить через утверждение характеристики на бюро обкома.

От домашних не удалось скрыть моего сумеречного состояния. Матери я сказал в сердцах:

- Приперли к стенке - хоть в петлю лезь!

Сказал машинально, не особенно задумываясь о смысле слов. А под утро проснулся от тихих шагов матери: в предрассветный час она бродила по квартире, искала меня - ей показалось, что меня нет на обычном месте в постели...Утром за завтраком мать мне сказала:

- Покорись им, сынок, - все равно они тебя обрадуют.

В редакции мне сочувствовали, но что могли сделать в редакции? В качестве превентивной меры при обсуждении характеристики на партийном собрании в ее текст вписали рекомендательный пункт - что-то насчет усиления критической линии в газете, утверждения в газетной практике принципов гласности, развития социалистического плюрализма...Но особой надежды на то, что всё это сработает, у меня не было: характеристику ведь должны были "доводить до кондиции" в отделах обкома. И, разумеется, в текстовом варианте, представленном на бюро, все наши потуги были попросту похоронены.

Газета все же дала публикацию по неформалам, подготовленную общими усилиями. Лучше бы мы ее не печатали...Материал был, по сути, нейтральный, но в обкоме его восприняли как поддержку неформалов, а те, в свою очередь, обиделись на газету, вообще неизвестно за что.

И вот - бюро обкома. "Мой вопрос" был вторым, сразу после утверждения кадров. Согласно указанному в повестке дня регламенту, на обсуждение отводилось 50 минут. Так рассматривались только основные вопросы - характеристики обычно "проскакивали" минут за десять-пятнадцать. Словом, "парить" меня собирались основательно. Тем более, что члены бюро были еще свеженькими, ничем не утомленными. Для остротки велено было явиться на обсуждение и двум моим замам и секретарю парторганизации.

Меня усадили на стул - напротив стола, за которым расположились члены бюро. За моей спиной сидели мои замы, а впереди - прямо передо мной - был первый секретарь. Зачитали характеристику - в целом лояльную, с традиционным набором биографических данных, положительных моментов в работе, критических замечаний и пожеланий. Никакого упоминания о неформалах и моей примиренческой по отношению к ним позиции в проекте характеристики не оказалось.

После этого я, как и полагалось, встал, и мне начали задавать вопросы.

Первый секретарь горкома (он был членом бюро) спросил:

- Половина ваших подписчиков - жители нашего города...Так?

- Даже больше, - уточнил я.

- Почему же в таком случае город на страницах газеты проходит преимущественно в негативном, критическом плане?

Я ответил, что это не так, и привел аргументы, назвал несколько статей, опубликованных в последнее время.

- Все равно вы не любите город, - с обидой сказал секретарь, - других руководителей представляете в газете, а избрание всех трех секретарей горкома проигнорировали...

Таким образом неудовлетворительная оценка по части освещения жизни города мне была выставлена. И было положено начало проработке.

Затем секретарь обкома, курирующий строительство, припомнил мне недавний прокол. Мы опубликовали критическую заметку под язвительным заголовком "Когда прокукарекает петух" - о птицефабрике-долгострое.

Но она пролежала, и к моменту ее выхода на фабрике уже вывели первых цыплят.

- Кто же прокукарекал? - ехидно спросил секретарь.

Крыть было нечем. Я согласился, что это наша ошибка, но она исправлена, повторный материал опубликован, а виновные, в том числе редактор, наказаны.

Тогда секретарь по строительству припомнил мне и другие прегрешения.

Зам пред облисполкома, курирующий сельское хозяйство, тоже не остался в стороне:

- Зачем вы сводку по сдаче животноводческой продукции с критическим комментарием дали на первой странице? Зачем указали цифры падежа - это ведь закрытые данные?

Замечание было настолько вздорным, что я лишь развел руками.

Однако нужный тон разговора был взят, и теперь требовалось закрепить достигнутое. Встал первый секретарь...Застегнул все пуговицы на пиджаке...И вдруг я увидел в его руках густо исписанные листки бумаги. Это было что-то новое: уже год при нем я ходил на бюро обкома, и еще не было случая, чтобы он, выступая, использовал хоть какие-то предварительные записи. Он вообще любил изъясняться просто и исчерпывающе. Например, при определении наказания проштрафившемуся партийцу:

- Ну что, объявим ему выговор - и привет горячий!

В узком кругу (а подчас и по телефону) он не чурался крепких выражений.

Вторым исключением из правил было заявление, которым "первый" предварил выступление:

- Я выскажу свое личное мнение. Если что - товарищи меня поправят.

Мне стало как-то очень неуютно от всех этих приготовлений, только и успел подумать: "Поправят они тебя, как же..."

Говорил первый секретарь недолго. Остановился на текущем моменте, необходимости выработки четких идеологических позиций и роли в этом партийной прессы, которая была и остается важнейшим средством воспитания трудящихся масс; на партийной ответственности журналиста-коммуниста... Суть предъявленного мне обвинения звучала так:

- В поисках создания дешевого авторитета редактор заигрывает с негативно настроенными кругами, в целях завоевания ложной популярности ориентируется на разнузданную прибалтийскую и московскую прессу.

"Неужели он сам верит в то, что говорит?" - изумился я.

- Но мы с этим мириться не намерены, - голос "первого" твердел, глаза суровели, - мы не допустим, чтобы газета вышла из-под партийного контроля!

Желающих поправить своего товарища по партии или возразить ему среди членов бюро не нашлось.

Председатель облизполкома как-то вяло попенял мне на годичной давности полемическую статью в пользу государственного двуязычия, опубликованную в разгар газетной дискуссии по проекту закона о языках. (Я-то, дурень, по простоте душевной, считал, что в пору всенародного обсуждения судьбоносных проектов надо представлять весь спектр мнений). Эта реплика председателя облизполкома едва меня не доконала. Дело в том, что он ко мне, как бы поточнее выразиться, благоволил, что ли... Во всяком случае, так мне казалось.

Размышляя перед бюро о возможной линии поведения, я вынужден был с грустью констатировать, что защитить меня будет некому. Мой "идеологический" секретарь был в отъезде, о настроениях других я догадывался. Оставалась надежда именно на председателя облизполкома - я пару раз выполнял его деликатные поручения (готовил за него статьи для республиканских газет и журналов), как-то написал подробный отчет с исполкома (чего мы раньше не делали), при встречах он меня похлопывал по плечу, однажды дал понять, что поддержал мое выдвижение в редакторы... И вот именно ему я имел глупость накануне бюро позвонить: мол, будут утверждать характеристику, наверное, придется туговато - прикройте, в случае чего, больше мне рассчитывать не на кого. Ответом было его энергичное "хорошо!"

И вот - "поддержал"...

Теперь-то я понимаю, что иначе он поступить не мог. О какой поддержке после такого выступления "первого" могла идти речь? Тут и промолчать-то нельзя было. Возникла необходимость продемонстрировать морально-политическое единство бюро - и он его продемонстрировал. И дело было, в общем, даже не во мне. Вместо меня мог оказаться кто-то другой, и наиболее влиятельные члены бюро обязаны были - каждый по-своему - выдать свою порцию розог отчитывающемуся...

Тут мне кажется уместным одно сравнение. Кто-то посчитает его кощунственным, но у меня возникает именно эта ассоциация. Как раз в то время вышел на экраны один из первых перестроечных фильмов об отечественной мафии "Воры в законе". Там есть такой эпизод. Главарь одной бандитской группировки с сообщниками настигает другого и безжалостно всаживает в него несколько пуль. "Теперь ты!" - командует он сообщникам, и каждый из них тоже совершает по выстрелу в бездыханное тело. У нормального человека возникают вопросы: зачем, какой смысл? А затем, что члены банды теперь повязаны кровью. Отныне это их будет объединять сильнее, чем что-либо другое...

Нечто подобное было и тут. Раз занимаешь должность, облечен особым доверием, отмечен принадлежностью к местной партийной элите - должен играть по действующим здесь правилам, среди которых единство бюро - отнюдь не последнее. Любой из отчитывающихся обязан понимать, где он находится... "Не забывайте, где находитесь!" Эта фраза, очень часто употребляемая в наших партийных коридорах, должна была, по мнению ее произносящих, отрезать любого...

Словом, спектакль, в котором все роли были давно распределены (в том числе и моя - мальчика для битья), разыграли как по нотам. Мне еще повезло, поскольку обошлось без оргвыводов... Первый секретарь дал поручение доработать характеристику с учетом высказанных членами бюро замечаний, пожелав мне не опускать руки, а засучивать рукава...

При всем при том о неформалах на бюро никто даже не заикнулся. Это слово вообще не упоминалось. Когда я через день оказался у "первого", полюбопытствовал:

- Вы это серьезно говорили на бюро - насчет подражания Прибалтике? Это и в характеристику войдет?

- Да ну, - отмахнулся он, - это я так - для профилактики.

- А как же с неформалами?

- Бог с ними, с неформалами, что у нас других забот нет!

Он произнес это машинально, явно занятый другими своими мыслями.

Я вышел из обкома. Смеркалось, накрапывал дождь. И я вдруг впервые за многие годы пожалел, что бросил курить...

* * *

Не хотел, чтобы у тех, кто прочитает эти строки, сложилось впечатление, будто в нашем обкоме на руководящих должностях были сплошь приспособленцы и недоумки. Это не так. Там было много очень толковых, порядочных людей, с некоторыми у меня до сих пор вполне приличные отношения. С тем же первым секретарем мы потом стали находить общий язык (видно, он все-таки понял: опираться можно лишь на то, что сопротивляется). И когда у него самого наступили трудные времена и ему стало плохо, как мне

перед утверждением характеристики, он, по его собственному признанию, испытывал те самые чувства. Оказывается, "некто человеческое" не чуждо и первым секретарям. Теперь же, многократно битый (за дело и "просто так"), я иногда думаю: а может, и хорошо, что эта история случилась со мной именно тогда, в самом начале моего редакторства? Если бы не устоял - уже не работал бы редактором. А так научился - жизнь заставила - в критические моменты говорить "нет!" тем, кому по роду службы приходилось и приходится подчиняться. Согласитесь, это ведь тоже немало стоит.

Ошибка

Каких только ошибок не встретишь на газетной полосе. Их обнаруживал - даже в самых именитых изданиях - всякий мало-мальски грамотный читатель. За последние несколько столетий, с тех пор, как издаются газеты, было предпринято великое множество попыток поставить заслон ошибкам. В частности, у нас в стране в сталинские времена, кроме дежурного по номеру и корректоров, готовую газету читал еще и специальный человек, именуемый "свежим глазом" или "свежей головой". Считалось, что у читающих сверстанные полосы дежурного редактора и корректора глаз "замыливается" после многочисленных исправленных ошибок. А вот "свежая голова" смотрит готовую газету набело, и этот человек - уже третье сито - обязательно выловит огрехи, оставленные в ходе двух предыдущих читок.

Увы, ничто не помогает. Ошибки вездесущи и всепроникающи. От них не застрахована ни одна газета. Журналисты-ветераны нашей газеты любят запугивать своих молодых коллег воспоминаниями о том, как одного из редакторов "взяли" прямо на редакционной планерке. И все потому, что в заголовке "Приказ Верховного Главнокомандующего" в последнем слове в ходе правки выпала буква "л". Кто был главнокомандующим, объяснять, думаю, не надо. Как и то, кто "взял" редактора. В семидесятые годы был освобожден от своей должности редактор "Звезды Прииртышья" лишь за то, что при правке метранпаж перепутала строчки в подписях под указами (а дежурный по номеру и корректоры недоглядели), в результате чего Брежнев и Косыгин поменялись должностями - первый стал Предсовмина, а второй - Генсеком. Эту же ошибку несколько лет спустя повторила алма-атинская "Вечерка", притом в очень неудачный момент. Как раз в это время в Алма-Ате был зять Леонида Ильича Юрий Чурбанов, и столичная верхушка больше всего опасалась, как бы газета не попала ему в руки. Обошлось - не попала. А газетчики отделались легким испугом. Может быть, только потому, что власти не захотели выносить сор из избы. С заголовками вообще случаются вещи удивительные. Очень часто стремление газетчиков сделать их ярче, призывнее, оригинальнее оборачивается прямо противоположным результатом. Что, например, может подуматься далекий от знания тонкостей воинской службы человек, прочитав репортаж с названием "Ночью на директриссе". А для людей военных все тут ясно: речь идет о специальном полигоне, где проходили ночные стрельбы.

А вот еще заголовок из рыбацкой газеты: "Путина в разгаре. Всех коммунистов - в море". А это из заводской многотиражки: "Сталевары! Ваша сила - в плавках!" Или вот еще: "Близится момент отдачи". О чем это? О скором пуске строящегося объекта.

Иногда любят пошутить наборщики, и тогда появляется такая, например, "шапка" (заголовок на целую страницу) - "Жратва - ударный фронт". Речь, разумеется, идет о жатве. В слове "странный", вынесенном в заголовок, наборщик может "по недосмотру" упустить букву "т". И, как правило, все это обнаруживается в последний момент...

Что касается ошибок-опечаток (в редакциях их еще именуют "очепятками"), то их наверняка великое множество в истории любой газеты. Одна из наших "районка" в программе телевидения популярных "Бременских музыкантов" перекрестила в "беременных", другая - художественный фильм "Заговор послов" преподнесла как "Заговор ослов" (А причина - пустячок: во время правки "потерялась" в слове буква "п", или линотипистка пошутила, а корректора зевнули).

На страницах нашей газеты выростал на полях двадцатиметровый сорняк вместо двадцатисантиметрового, животноводы получали от каждых ста овцематок по сто телят, а от каждых ста конематок по сто ягнят. Сыроделы у нас были сыроедами, а видный деятель превращался в "винного"...

Чего только не встречается в газетной практике. В хрущевские времена журналистам ночи напролет приходилось просиживать, набирая и вычитывая пространные речи Никиты Сергеевича, передаваемые непременно с пометкой "в номер". Передадут, бывало, "болванку" - заранее подготовленный текст доклада. Его набрали, сверстали полосу, а печатать нельзя: Н.С. любил отвлекаться от текста, предпочитая экспромты. Значит, надо ждать поправок к переданному тексту, от которого, случалось, в конце концов почти вообще ничего не оставалось. Но вот получены поправки, их вставили в нужные места речи, а подписывать номер все равно нельзя. Могут быть еще добавления особого рода. Такие, например: "Аплодисменты", "Продолжительные аплодисменты", "Смех", "Оживление в зале". Так что порой только к утру и подписывали газету в печать...И поскольку поправок всякого рода бывало великое множество, а внимание притуплялось, да и силы у дежурной бригады оказывались на исходе, иногда случались казусы: путали абзацы речи, теряли их; бывало, поправка приходила уже после выхода газеты...И почти всякий раз тряслись: дежурный редактор и старший корректор особенно - ведь это были промахи "политического" рода, за которые в те времена никому бы не поздоровилось. Но - поразительная вещь - почти никогда и никем подобные упущения не обнаруживались.

Во времена застоя доклады и другие речи первых лиц государства и вовсе никем не читались, даже теми, кому они были адресованы. "Казахстанская правда" как-то по ошибке опубликовала не тот доклад: кто-то из

партчиновников в суматохе не разобрался и сунул другой, с предыдущего пленума на аналогичную тему. И никто этого даже не заметил...

Чего только не бывает в газетной практике...

Нашей "Звезде Прииртышья" не раз приходилось хоронить живых людей. Не по своей, впрочем, вине. Однажды, например, редактор по просьбе коллеги с телевидения принял текст соболезнования их сотруднику по поводу смерти матери, хотя умер отец. Утром, когда обнаружился этот трагический казус, стали вместе думать, как исправлять положение. Повторить соболезнование, уже правильно - значит, нанести человеку еще одну травму. Потом опять же звонки пойдут - так кто же на самом деле умер? Не нашли ничего лучшего, чем просто извиниться перед коллегой в следующем номере, не объясняя читателям сути ошибки.

Правда, с тех пор в нашей газете действует железное правило: соболезнования принимаются лишь на фирменных бланках, с подписью руководителя предприятия или организации.

Но, кстати говоря, в этой своей ошибке мы также были не одиноки. Встречаются вещи и пострашнее.

"Известия" недавно опубликовали заметку "Прижизненный некролог" - о том, как районная газета из Архангельской области вынуждена была заплатить миллион рублей своей читательнице. Газета напечатала некролог, в котором по ошибке назвала женщину умершей. Когда та прочла написанное, ее хватил удар. Она подала иск в суд о взыскании компенсации за моральный ущерб, который был судом удовлетворен.

Случались ошибки во время дежурств и в моей журналистской практике. Но, скажем так, не смертельные, за исключением одной, которая могла стоить головы. О ней чуть позже, а сперва о некоей закономерности. Старые журналистские волки знают: чему быть - того не миновать; если ошибке суждено прорваться на газетную полосу - ничто ее не остановит.

Как-то я дежурил по номеру, в котором шло сообщение о вступлении в должность нового первого секретаря обкома. Уходя домой, редактор спустился со своего четвертого этажа к нам в корректорскую и отечески наказал мне:

- Сегодня бди особо - новую эру открываешь!

Разумеется, я обещал бдеть.

Вслед за редактором зашел зам с тем же наказом, а потом еще и ответсекретарь...

Я занервничал и, конечно, вляпался. Притом, очень по-глупому. Не сверил перед подписанием номера в печать выходные данные: дату выпуска газеты, номер и т.д. Я точно помнил, что просматривал их в "дежурной" полосе, потому и не сверил. А их, оказывается, перелили заново (какой-то знак был чуть-чуть сбит), не поставив меня в известность. И вместо 1983 года у нас номер был датирован 198...годом. Вот уж воистину я открыл новую эру - редактор как в воду смотрел или, точнее говоря, накаркал. И хотя ошибка была из рода не смертельных, скорее, казусных, переживал я страшно. Зато теперь, сам став редактором, если и захожу изредка к дежурным, никогда не наказываю бдеть - ибо это то же самое, что наказывать рыбу плыть, а птице - лететь...

А теперь об ошибке, какие случаются (хочется в это верить!) раз в жизни. Произошло это в апреле 1995 года, когда в газетах разворачивалась кампания по подготовке к референдуму о продлении президентских полномочий Н. А. Назарбаева до 2000 года.

Растолкав с утра все срочные дела, я собирался попить чаю. Чайник уже шумел, когда "заговорила" "вертушка" - номенклатурный телефон спецсвязи.

- Ты свою газету читаешь? - услышал я знакомый голос чиновника из облминистрации, с которым мы были на короткой ноге. Он явно ехидничал, и я ответил ему в тон:

- А зачем: я же не читатель, а писатель...

- Между прочим, напрасно не читаешь...Влип ты, брат, на этот раз основательно. Так перекрестить Президента - это уже не шутки...

- Подожди, я газету возьму...

...Кипел на подоконнике чайник, оседавая каплями дождя на оконном стекле, гудел зуммер селектора из секретариата, кто-то заходил и что-то спрашивал...А я сидел и тупо, раз за разом перечитывал строчки...

- Что с вами - вы весь белый? - наконец вывел меня из оцепенения голос секретарши.

...Надо же было такому произойти, чтобы в указе Президента об объявлении референдума о продлении его полномочий (главный материал номера - важнейшее политическое событие!) в ключевой строке, в ключевом слове вместо буквы "с" оказалась "н"...И "всенародно избранный Президент" превратился во "вненародно избранного..." Если бы кто-нибудь сказал мне, что такое возможно, я, имея за плечами 25-летнюю журналистскую практику, просто не поверил бы. Посмеялся бы, принял за обычную газетную байку...Я потом прикинул: в том номере было около пяти тысяч строк. И ошибке почему-то (по закону подлости, что ли?) суждено было вылезти именно здесь.

Впрочем, в какой-то мере все даже объяснимо. "Ошибка из-за ошибки" - вещь в газетном деле весьма распространенная. Это случается тогда, когда исправляя одну замеченную дежурным редактором или корректором оплошность, линотипистка допускает другую. В данном случае так и было. Буквы "с" и "н" на клавиатуре у линотипа находятся рядом, и линотипистка, переливая строку заново, сбросила не ту литеру, и вместо "всенародно избранного" возник злополучный "вненародно избранный". У журналистки-дежурного редактора правки в этой строке не было, поэтому она ее в "чистой" полосе, принесенной на подпись, не перечитывала. А корректор в спешке или по какой-то другой причине пренебрегла железным правилом, требующим после правки перечитывать всю строку. Убедившись в том, что "ее" ошибку исправили, на остальное она просто не обратила внимания. Словом, это была в первую очередь вина корректора. Но и дежурного редактора-журналиста - тоже: как ни крути, а его подпись благословила выход "вненародного" в свет.

Поскольку в подобную переделку я попал впервые, позвал одного из ветеранов, бывшего зама. Показал

газету.

- Вот это да! - ошарашено выдохнул он. - Я тридцать лет здесь, но такого еще не бывало.

И сразу без перехода:

- Наверху знают?

- Пока, наверное, нет...

Слушай, - загорелся он, - а может, не заметят?

Честно говоря, где-то в глубине души и у меня теплилась надежда: ну, позвонил один человек, а остальные, может, и не обратят внимания. Ведь материал официальный, кто их читает... Конечно же, это было поразительное легкомыслие, чисто русское - а вдруг пронесет? Тут вполне уместно сравнение с "залетевшей" десятиклассницей: она уже на пятом месяце беременности, а все надеется, что еще "рассосется..."

И тут звонки пошли - один за другим: недоумевающие, сочувственные, язвительные (Сочувственных звонков, кстати, было больше всего и - поразительная вещь - ни один из читателей не счел нужным сигнализировать куда-то еще: властям, в "органы" и т.д.). Один из звонивших, едва я взял трубку, спросил прокурорским тоном:

- Вы что, специально вредите нашему Президенту?

- Ну да, мы тут все - идеологические диверсанты, - отвечал я, хотя мне было не до шуток.

Решив больше ни с кем не советоваться, сам позвонил руководителю аппарата обладминистрации - по распределению обязанностей он отвечал здесь за связи с прессой. Реакция оказалась на удивление спокойной. Он только спросил, что можно сделать.

- Поправку давать бессмысленно, - сказал я, - ошибку заметили, может быть, десятки людей. А так на нее обратят внимание тысячи. Но указ можно повторить - в следующем номере.

- Хорошо бы на этот раз без ошибки, - даже пошутил он, - а сегодняшний тираж уже ушел подписчикам?

- Большая часть - да, а тысяч 15-20 еще нет.

- Можете его отпечатать заново?

- Наверное, сможем...

Так и поступили. Ошибку исправили, заново отпечатали неотправленный тираж, в следующем номере на всякий случай повторили указ.

Утром на планерке я мрачно констатировал:

- Если я сижу сегодня перед вами, а не в другом месте, то это свидетельствует о том, что времена и нравы все же изменились. Но не будем обольщаться - вполне возможно, нами еще и займутся.

И занялись. Правда, не власти, а коллеги. Недели две спустя, когда вся эта история вроде стала забываться, она вдруг получила уже, без преувеличения, мировую известность. Вышла "Комсомольская правда" со сверхязвительной заметкой. Заметка эта достойна того, чтобы привести ее полностью.

"У Назарбаева обнаружилось 42647 врагов". Это заголовок.

А вот текст:

"И грустный, и смешной инцидент произошел в Павлодаре с областной газетой "Звезда Прииртышья". В официальном блоке материалов Президента Казахстана ненароком обозвали "вненадолго избранным".

Досадную опечатку начальство обнаружило лишь тогда, когда все 42647 экземпляров вредной газетенки оказались у распространителей.

Экстренные решительные меры в корне пресекли провокацию. За исключением какой-то тысячи экземпляров, весь тираж был изъят и сожжен, а вместо него отпечатан новый. Местное руководство рассудило трезво: уж лучше понести материальные издержки, чем получить обвинение в несоблюдении "идеологической чистоты".

Что и говорить, заметка лихая. Ее и дали на первой полосе, в престижной подборке информации. Наверное, еще и повышенным гонораром отметили: как же, такой казусный факт журналист откопал. И посмеялись, наверное... Ну и чудачки на букву "м" эти павлодарцы, ну и отчебучили!

Автором этих язвительно талантливых строк был карагандинский собкор "Комсомолки" Комаров. Написал он их со слов не прижившейся у нас в газете весьма самодлюбивой и весьма ограниченной журналистки.

Связаться с редакцией, что-то уточнить, собкор посчитал лишним. Да и зачем, собственно: ведь слова так хорошо ложились на бумагу, особенно про то, как "весь тираж был изъят и сожжен". Воображение рисовало ему картину сродни эпохи средневековой инквизиции... Глухая темная ночь. Пустынная степь. Полукругом стоят с суровыми лицами представители администрации, комитета национальной безопасности, прокуратуры... Чуть в стороне - провинившийся редактор с опущенной головой... Перед ними костер, в который с подъезжающих машин какие-то люди швыряют все новые и новые пачки газет...

Чушь какая-то, прочитав это, скажет нормальный читатель. И будет прав - чушь, галиматья. Но как еще можно себе представить сжигание тиража газеты в сорок с лишним тысяч экземпляров. Это вообще задача не из легких - сжечь почти две тонны свежотпечатанных газет - они, да еще в пачках, горят плохо. Но так уж захотелось журналисту. Хотя он мог снять телефонную трубку и узнать то, что, в общем-то, не составляло особого секрета: около 15 тысяч экземпляров газеты с ошибкой действительно не попали подписчикам и были отправлены в макулатуру. Но ведь макулатура - это так неинтересно, тривиально.

Не знаю, думал ли журналист о том, что у его коллег могут быть неприятности после такой заметки. Не знаю также, что думал редактор, благословляющий заметку в свет. Хорошо знаю лишь то, что есть среди нашего брата люди, которые ради красного словца не пожалеют ни отца, ни матери. И рано или поздно им самим это аукнется.

Пора, впрочем, заканчивать нашу историю, у которой, как ни странно, вполне благополучный конец. И тот корректор, и тот журналист, и даже тот редактор - все до сих пор на своих местах.

А ошибки... Как же без них? Недавно наша газета произвела генерального директора ЮНЕСКО Федерико Майора в майоры. Просто журналистка вместе с корректором решили, что это не фамилия, а звание, и вышло

- майор Федерико.

И опять в указе Президента. Не везет нам с этими указами.

Необходимое послесловие

История с ошибкой в Указе имела еще один и вовсе анекдотический резонанс. Государственная Дума Российской Федерации в апреле 1995 года проводила специальные парламентские слушания. На них с докладом "О положении в Казахстане" выступала председатель республиканского славянского движения "Лад" А. Докучаева. Так вот среди других примеров, иллюстрирующих главный тезис ее речи - о нарушении прав славянского населения в Казахстане - приводился такой: за статью с острой критикой президента и референдуме о продлении его полномочий изъят тираж павлодарской газеты "Звезда Приишимья". По-моему, какие-то комментарии тут просто бессмысленны. За исключением разве поправки - газета наша называется "Звезда Прииртышья".

А доклад А. Докучаевой опубликован в 5 (майском) номере газеты "Лад" за 1995 год.

Как я выполнял программу "Рыба"

- Так...Хорошо...Теперь на живот..., - негромко сказала Света.

Я послушно перевернулся, подчиняясь ее ловким умелым рукам.

- Теперь поближе ко мне...Вот так...Хорошо...Теперь расслабились...Расслабились...

Ее голос обволакивал, убаюкивал...

- Поляков здесь? - вдруг раздался чей-то требовательный бас.

От неожиданности я весь ушел под воду, и Свете пришлось вылавливать меня.

- Закройте дверь, - невозмутимо сказала она кому-то невидимому, не поворачивая головы, - мы сейчас закончим.

Потом она еще какое-то время хлестала мои телеса упругой струей, завершая сеанс подводного душа-массажа. Затем мне велено было одеваться.

В "предбаннике" меня ожидал незнакомый молодой парень.

- А я от Анатолия Федоровича, - сообщил он, - за вами.

- А что такое: я же в отпуске, видите - процедуры вот принимаю...

- Совет директоров по рыбе, - лаконично сказал парень, - вы в числе приглашенных. Чайников велел без вас не возвращаться.

Я знал: спорить тут бесполезно, и, чертыхаясь, пошел собираться.

Чайников был личностью в своем роде уникальной. Он был абсолютно, патологически добросовестен.

Областное начальство, зная об этом, поручало ему самые невыполнимые задания.

Как-то, еще в бытность партии, на областную отчетно-выборную партийную конференцию прислали спецкора "Правды". Обкомовская верхушка была в шоке: во-первых, никогда еще партконференция не удостоивалась такой чести, а во-вторых, как выяснилось, нежданный гость - еще та штучка - даже в редакции его именуют "человеком с дубиной" - за зубодробительные материалы на партийные темы.

После долгих обсуждений в узком кругу спецкора решено было "отключить". Не в физическом, само собой, смысле - занять на два дня, пока работает конференция, чем-нибудь другим, более приятным для души и тела.

Первый секретарь вызвал Чайникова, в ту пору зампреда облисполкома, ввел в курс дела, поставил задачу:

- Покажите товарищу область, сами отдохните, расслабьтесь...Произведите впечатление...

- У меня же язва, - с тайной надеждой напомнил Чайников.

- Тут не одним инфарктом пахнет, а вы со своей язвой, - с досадой сказал "первый" и жестковато закончил: - Докладывать будете мне лично - два раза в сутки.

Чем и как убажрал спецкора Чайников - до сих пор остается тайной. Известно лишь, что, регулярно выходя на связь, он бодро докладывал "первому":

- Все в порядке, Петр Иванович - пьем!

Задание было выполнено: на конференцию журналист так и не попал, отчет написал, как и полагалось "человеку с дубиной", критический, но умеренно. Все в обкоме остались на своих местах. Чайникову, правда, пришлось залечь в больницу по поводу обострившейся язвы. А спецкор вскоре стал одним из лидеров российского демократического движения и даже получил министерский пост в первом ельцинском правительстве. Но это уже другая история...

Анатолий же Федорович из-за вечных своих качеств - обязательности и исполнительности - страдал не раз и не два. Как-то его в пожарном порядке (он даже жену не успел предупредить, что может припоздать домой) бросили ублажать заезжего столичного чиновника - любителя преферанса. От чиновника зависело - дадут или не дадут области денег на строительство новой городской больницы - и поэтому отказываться было неудобно. Да и сам Анатолий Федорович, по правде говоря, любил расписать пулюку. Как водится, выпили, плотно закусили, сели играть. Ну и заигрались. Когда Анатолий Федорович вспомнил о том, что дома не знают, где он, уже светало. Жена в дело государственной важности, само собой, не поверила, стала собирать вещи...

Чайников взмолился:

- Не веришь мне - позвони Н., - он назвал фамилию председателя горисполкома (они дружили семьями) и, чувствуя, что она заколебалась, тут же набрал номер. - На, сама и спроси!

Тот в ответ на ее вопрос: "Мой был у тебя сегодня?" ответил: "Да он и сейчас у меня...Позвать?" Словом, неудачно пошутил, а дело дошло чуть не до развода. Преферанс Анатолий Федорович с тех пор разлюбил.

Справедливости ради, надо сказать, что Анатолий Федорович был мастером отнюдь не только по части "встретить и проводить". Скорее, это было его хобби. Он и работником считался - каких поискать. Особенно там, где возникал прорыв, или там, где надо было "раскрутить" новое дело. Раз в два-три года его обязательно бросали - как на амбразуру - то на охрану природы, то на закуп товаров народного потребления. А когда в разгар перестройки выяснилось, что население нашей области крайне недостаточно ("преступно мало", как выразился в докладе первый секретарь обкома) потребляет рыбы и рыбных продуктов, Чайникова, разумеется, направили на этот архиважный участок продовольственного фронта.

С присущей ему энергией Анатолий Федорович бросился исполнять ответственное поручение. Ему удалось найти поистине блестящий ход, благодаря которому под специально разработанную программу "Рыба" области были выделены Москвой десятки миллионов тогда еще полновесных советских рублей. Чайников устроил в области вселенский сбор, пригласив на него руководящих работников ведущих союзных министерств, ученых, рыбоводов, заинтересованных людей из столицы республики, местных промышленных генералов. Многие из выступавших потом говорили, что аналогов подобной встречи во всем бывшем Союзе не было (а теперь уже и не будет, добавим мы от себя).

С зажигательной речью на научно-практической конференции (так решено было именовать сбор) по проблемам промышленного рыбозаведения в условиях уникального территориально-производственного комплекса выступил Анатолий Федорович.

- Мы не можем ждать милостей от природы, - бросал он в зал взволнованные слова, - самим выращивать рыбу и давать ее трудящимся - вот наша задача.

- Я обращаюсь к вам, генералы промышленности, - его голос звенел, наливаясь силой, - построим компенсационные объекты рядом с вашими разрезами, тепловыми станциями и заводами.

- Ученые, рыбоводы, поддержите нас своими советами и рекомендациями!

Прочувствованная речь была подкреплена содержательной культурной программой. Разбившись на группы, участники конференции совершили экскурсии на предприятия, где парились в банях, не брезговали радушным застольем, скромными сувенирами.

Дело было сделано. Почин области, взявшейся решать продовольственную проблему путем ускоренного производства рыбы на промышленной основе, получил высочайшее партийное одобрение. Министерством угольной, химической промышленности, энергетики, настроившим в области гигантских предприятий, предписано было выделить деньги на сооружение так называемых компенсационных объектов. Конечно же, нагадили эти министерства у нас куда больше, чем под партийным давлением собирались компенсировать. Но не зря же говорится: с паршивой овцы - хоть шерсти клок.

Скоро, как грибы после дождя, в области стали расти рыбоводные объекты: прудовые хозяйства, искусственные нерестилища, садки на тепловых станциях. Начали, было, строить даже рыбоперерабатывающий комбинат. А потом случились известные события. Не стало ни партии, ни Союза. Тут уж, конечно, было и не до рыбы.

И все же великие идеи, как известно, не умирают. Новое руководство области здраво рассудило, что рыбную проблему, пусть и не с таким напором, все же следует двигать. Ну, а поскольку никто конкретно этим весьма хлопотным делом заниматься не хотел, было найдено соломоново решение: создать ассоциацию "Рыба", включив в нее предприятия, уже имеющие рыбоводные объекты. Реорганизацию поручили, конечно же, Чайникову, предварительно отправив его на пенсию.

Вот так на старости лет рыбное дело действительно стало главным и единственным делом жизни Анатолия Федоровича. В возглавляемой им ассоциации полтора десятка предприятий: они содержат самого Анатолия Федоровича и весь небольшой штат сотрудников ассоциации. Примерно раз в полгода собирается совет ассоциации, на который Анатолий Федорович непременно приглашает и нас, представителей прессы. Скрываться от него бесполезно - себе дороже станет. Поэтому я, презрев оздоровительные процедуры, сажусь в присланную машину:

- Куда едем?

- На ТЭЦ, там уже почти все съехались.

Компания и правда в сборе. Директора ГРЭС Власенко и Снежко, кажется, еще больше потолстели, во всяком случае, обнять друг друга им никак не удастся - мешают животы...Одиноким сидящим за столом начальник канала Гиталов возвышается над ними как гранитный утес. Настраивают аппаратуру знакомые тележурналисты. Почти все тут друг друга знают. Нет только самого Чайникова - он встречает зама главы облادминистрации.

Но вот все в сборе, и совет приступает к работе. Начинаем, как водится, с экскурсии по объектам подсобного сельского хозяйства. Первым делом почему-то показывают свинарник.

- Строили методом народной стройки, - дает по ходу объяснения хозяин нынешней встречи Снежко, - весь коллектив станций как один выходил на стройку...

- Шо мы твоих хряки не бачили, - укоряет хозяина его вечный оппонент Власенко, - ты рыбу кажи!

- Дали будэ! - невозмутимо парирует Снежко и приглашает всех в теплицу. Нам демонстрируют красных калифорнийских червей, которые перерабатывают в гумус перепревший навоз, перемешанный с деревянными стружками. Потом идем на зимовальный пруд, где, как уверяет хозяин, зимуют карпы-производители.

- Во - какие! - он вытягивает руку и другой отмеряет расстояние от ладони до плеча.

Впрочем, гигантские карпы нам показаться почему-то не захотели, оставаясь где-то в темных водах пруда.

- Мыкола, мабуть у тэбэ и рыбы ниякой нэма? - не унимается Власенко.

В ответ следует уже знакомое "дали будэ!", и мы идем в оранжерею, оттуда в крольчатник, потом в мини-курятник.

У меня в душе закрадываются сомнения, что никакой рыбы мы сегодня не увидим. Но последним объектом

нашей экскурсии становится все же рыбный цех, чем-то напоминающий склад с высоким потолком. Здесь установлено несколько больших чанов чуть выше человеческого роста, в которых, собственно, и выращивают карпа. Рыба приучена к самокормлению - она толкает шланг, соединенный с емкостью, наполненной кормом, и тот сыплется в воду. Все до гениального просто.

- Урожай собираем в любое время года, - гордо сообщает Снежко.

- Та, який там урожай, - комментирует Власенко - то видни слезы.

- Слезы не слезы, а на праздники людям хватает, - не сдается хозяин, - еще и тебя угостить можем.

- Не треба!

- Смотри - пожалеешь, сосед! У меня есть такая рыба - просить будешь!

Снежко ведет всех к огромному - в несколько сотен литров - аквариуму и демонстрирует присутствующим...осетренка.

- Изучаем возможности разведения осетровых в условиях искусственных водоемов, - поясняет он. - Можно, оказывается, выращивать таким образом и стерлядку, и осетра.

- Не много ж ты пока вырастил, - бурчит себе под нос Власенко, но дуэль он, похоже, проиграл: общественное мнение явно на стороне Снежко с его осетренком.

Экскурсия закончена, идем на пленарное заседание. По давно заведенному распорядку слово для доклада берет председатель ассоциации.

- Я, товарищи, сегодня коротенько, - ударяя на "е", начинает он, - я без бумажки. Не будет возражений?

Уже зная, что "без бумажки" будет раза в два длиннее, ветераны ассоциации возражают:

- Да нет, Федорыч, ты уж лучше читай!

- Ну, как скажете!

Чайников докладывает о главном результате проделанной работы:

- Мы, товарищи, с вами произвели и выловили в отчетном периоде 350 тонн рыбы...

- Это ж сколько будет в расчете на одного жителя области? - интересуется замглавы администрации.

У докладчика этой цифры нет. Все начинают считать: выясняется - чуть больше 350 граммов.

- Почти что ни хрена, - ползет по залу чей-то зловещий шепот.

- Да, это немного, - соглашается Чайников, - и тут же идет в наступление, - но мы сохранили материально-техническую базу, мы накапливаем потенциал, мы решаем проблемы...

Оседлав своего любимого конька - стоящие перед ассоциацией проблемы, Анатолий Федорович, уже в который раз забыв про текст, сыплет терминами, критикует и хвалит, ставит задачи, обращается с просьбами.

Теперь, побывав уже не на одном совете, я его почти понимаю, привычно отмечая в блокноте проблемные пункты: про необходимость создания собственной базы рыбных кормов, про улучшение воспроизводства рыбы и совершенствование заботы о маточном поголовье, про сеголеток, которых необходимо сохранить и довести до товарных кондиций, про нехватку сетеснастных материалов. Я чувствую себя почти профессионалом рыбной отрасли, я ощущаю свою причастность к большому общему делу.

- И в заключение, товарищи, - Чайников делает паузу, привлекая внимание, с укоризной оглядывает зал...

Я догадываюсь, о чем пойдет речь. Знают это и большинство постоянных членов ассоциации, поэтому, отвлекшись от разговоров, все смотрят на своего председателя, демонстрируя преувеличенный интерес к тому, что будет сказано.

- Тут, товарищи, ходят всякие слухи...Мол, Чайников нашел себе теплое место...К чему, мол, ассоциация...Мол, специалисты даром едят хлеб...

В голосе Анатолия Федоровича нарастают трагические нотки:

- Так вы уж скажите прямо - нужны мы вам или нет? Я, вы знаете, за кресло не держусь. Я готов уйти хоть завтра...

Следом на трибуну взгромоздился огромный, похожий на медведя, Гиталов. Он смотрит на ней как памятник. Права Гиталов крутого, начал он когда-то на строительстве канала экскаваторщиком. Как-то они повздорили с начальником участка, и Гиталов, подняв его на вытянутых руках над головой, сбросил в ложе будущего канала. Потом они подружились. Начальник участка - теперь губернатор одной из сибирских областей, Гиталов управляет каналом. Но после того случая желающих сильно спорить с Гиталовым не находится.

Гиталов числится в передовиках рыбного дела. Но свою речь он начинает, как и положено, с конца. Он знает, чего от него ждут.

- Меня только что обидели, - громогласно заявляет он. - Можно сказать - оскорбили. Можно сказать - обидели нас с вами всех.

Тон Гиталова не предвещает ничего хорошего. Непосвященному человеку не понять причину этого гнева: ничего такого, что бы могло задеть оратора, пока не звучало. Но сейчас все станет на свои места.

- Меня, всех нас обидел Анатолий Федорович, - гремит, отражаясь эхом, голос Гиталова, - где вы слышали эти разговоры о дармоедах и нахлебниках?

Виновных в зале, конечно же, нет. Но сидящий рядом со мной молодой директор комбината хлебопродуктов Рамазанов (он на совете директоров впервые) на всякий случай опускает голову.

Гиталов как хороший актер, чувствуя внимание зала, меняет гневные нотки на укоризненные:

- Вы, Анатолий Федорович, прекращайте эти разговоры! Вы нас не обижайте. Ведь мы для себя давно решили: говорим рыба - подразумеваем Чайников, говорим Чайников - подразумеваем рыба! Правильно я говорю, товарищи?

Звучат одобрительные возгласы. Кульминация спектакля сыграна блестяще. Дальше разговор переходит в привычное рутинное русло самоотчетов и самооправданий, жалоб и просьб, утверждения планов и смет...Так что пересказывать его не имеет смысла.

Тем более, что все уже помаленьку настраиваются на следующий этап встречи, именуемый обедом. Так уж сложилось, что эти обеды, как правило, начинаются с запозданием, и поэтому они естественным образом постепенно переходят в ужины. Со всеми вытекающими для гостей последствиями. Главным украшением этих обедов, конечно, является рыба - во всех ее природных и кулинарных разновидностях. При этом каждый последующий хозяин встречи старается непременно перещеголять своего предшественника количеством предлагаемых гостям блюд. Побывав на трех или четырех последних советах директоров ассоциации, смею утверждать, что выдумка наших отечественных кулинаров по этой части неистощима и нет предела совершенству. Если Власенко у себя покорила нас отменным карпом во всех видах, то Гиталов превзошел его рыбным разнообразием - у него на столе были еще и судачок, и белый амур, и толстолобик, и нежная пелядь. Директор рыбокомбината Жартыбаев потряс членов совета количеством рыбных блюд - их число перевалило за три с половиной десятка. Тут была рыба жареная нескольких видов и рыба заливная, рыба-хе и рыба вяленая, рыба, запеченная в тесте и рыба фаршированная, были рыбные котлеты и белыши с рыбной начинкой, была, конечно, уха и еще великое множество рыбных деликатесов, которые остались даже не попробованными ввиду, к сожалению, ограниченных возможностей человеческого организма...

Я говорю это к тому, что задача перед хозяином нынешней встречи стояла не из легких. Удивить чем-то особым своих собратьев по ассоциации после всего ими увиденного и попробованного прежде Снежко было трудновато.

Но он оказался не промах - этот хитрован Снежко. ...Столы стояли каре, заставленные всевозможными закусками и разнокалиберными бутылками. Возникла легкая толчея, которая быстро рассосалась: каждый давно знал свое место. Количество рыбы на столе было изысканно умеренным, но зато качество - отменным, особенно хорош был жареный "тэцовский" карп - неправдоподобно жирный и нежный.

Завертелся калейдоскоп тостов - за хозяев встречи и здоровье всех присутствующих, за недавно наступивший новый год, за ассоциацию и ее бессменного председателя, за дружбу народов, населяющих Казахстан. Когда слово предоставили мне, я предложил выпить за рыбу, которая нас всех объединяет...

- Не знаю кто как, а я сегодня точно выполню годовую норму потребления рыбы, - хватывая очередной бок истекающего соком карпа, заметил сосед - журналист с телевидения.

- Не усердствуй, - на правах ветерана посоветовал я.

- Это почему?

- Еще бешбармак должен быть.

Вместе с бешбармаком подали и самую крупную "рыбу" - "сюрприз" от Снежко - трех зажаренных в духовке молочных поросят - с пылу с жару, с золотистой хрустящей корочкой. Поскольку компания была уже изрядно навеселе, поросят встретили воплем восторга.

Стол обрел второе дыхание. Я имел возможность на деле наблюдать реальные плоды мудрой национальной политики хозяев в пределах одного нашего стола. Директор комбината хлебопродуктов Рамазанов, как и положено казаху, не прибегая к помощи ложки и вилок, с достоинством поглощал янтарные казы, сочный шужук, не чурался карта... Напротив нас неугомонный Власенко с упоением терзал заднюю свиную ножку - кажется, после него даже отходов не оставалось. Сам я, будучи убежденным интернационалистом, не обходился вниманием ни бешбармак, ни поросенка.

На десерт были еще пельмени. Но я, уже стреляный воробей на рыбном фронте, счел за благо после второго перерыва удалиться. Потому что знал: пельменями и чаем программа встречи не исчерпывается. Участникам полагается также баня. Эта традиция пошла от Власенко. Именно он, принимая собратьев по ассоциации, заявил им, осоловевшим и окосевшим от еды и возлияний: "А теперь - в баню!" Поскольку дело шло к ночи, а кому-то предстояла дорога, и неблизкая, нашлись протестующие. "Что ж, езжайте", - сказал Власенко, - но имейте в виду - охрана все равно не выпустит ни одну машину..." А в бане все началось сначала...

...Я шел к себе домой и думал: зачем все это им, крепким умным мужикам, которые как держали, так и держат на плечах экономику? Что у них других забот мало? Рыба-то им еще зачем? С ней ведь столько хлопот, а лавров пока никто не заработал, да и вряд ли заработает. Я не знаю ответа на эти вопросы. Но я знаю, что они, эти крепкие умные мужики, стали мне понятней и ближе. Они мне интересны. И я знаю, что придет время и мне позвонят.

- Рядовой Поляков? - раздастся в трубке знакомый голос.

- Да, мой генерал, - отвечу я.

- Не забыл, значит?

- Начальство узнаю по голосу, Анатолий Федорович...

- Ну тогда запиши... Совет директоров в следующую пятницу. Встречаемся на канале - у Гиталова.

И я пообещаю быть. Непременно.

Как мой друг Степан Зыков в депутаты ходил.

"Случается иногда так: живет себе человек, живет, ни о чем не тужит... И вдруг сваливается ему на голову что-то такое, что сразу выбивает его из колеи, лишает покоя и сна. И человек уже вроде не хозяин своей собственной жизни. Вот и со мной то же... Я расскажу тебе обо всем по порядку, и ты сам поймешь, почему я так говорю. Можешь мне верить или не верить - твое дело, но все это - чистая правда.

Ты же знаешь: мне вообще-то везло в жизни. Вырос в деревне, в самой что ни на есть глухомани. У нас там из школы у большинства две дороги в светлое будущее: одна - на трактор, другая - на ферму; третьего, как говорится, не дано. А я в люди выбился: институт закончил - строительный, поработал мастером, потом

прорабом, потом начальником участка. К 35-ти годам был уже главным инженером строительно-монтажного управления, а когда нашего начальника забрали управляющим трестом, он вместо себя меня двинул. Вот уже третий год руковожу...

И все у меня было хорошо. Как у людей: дом, семья, работа. Можно сказать, наладилась жизнь. И вдруг все кувырком... Это в конце года произошло. Я как раз в отпуск собрался. Я всегда зимой хожу. Спрашиваешь - почему? А ты какую водку больше любишь - теплую или холодную? А женщин каких - холодных или горячих? Вопрос, как говорится, риторический: водку мужики предпочитают холодную, а женщин - наоборот. Вот потому и хожу зимой - когда и первое, и второе в лучшем виде. Это у меня шутка такая. Кому-то, может, и не понравится, а ничего - в жизни срабатывает.

Ну, так вот, работаю последний день, уже настроился на отдых, и вдруг вызывают... Ну, куда нас могут вызывать? На самый, можно сказать, верх... И говорит мне очень высокое должностное лицо примерно так: "Есть мнение выдвинуть тебя кандидатом в депутаты..."

- "В депутаты чего? - спрашиваю механически, не вникая в суть дела, у меня же мысли совсем о другом. "Верховного Совета республики", - отвечает лицо. "А почему я? - спрашиваю опять автоматически, до меня еще не доходит, чего они хотят. "Ты человек серьезный и ответственный?" - "Вроде так..." - "А ты что, хочешь, чтобы в наш высший представительный орган власти прошли горлопаны, популисты, экстремисты и другие безответственные люди?" - "Не хочу", - осторожно отвечаю я, и только тут до моего сознания начинает доходить, что дело-то принимает вполне серьезный оборот. Нет, думаю, надо реагировать решительно: "Я, - говорю, - тоже не хочу в депутаты..." - "Что значит не хочу: ему такое доверие оказывают, а он кочевряжится!" - говорят мне так - будто обиделись.

Что ж, про себя думаю: "Вы вроде обиделись, и я вроде обижусь", - и пускаю в дело еще один козырь: "А, может, - говорю, - я вас как начальник управления не устраиваю, может, место мое кому приглянулось?... Тогда так прямо и скажите!" - "Не говори глупостей, - отвечают, - и вот что: иди домой, с семьей посоветуйся, а ответ дашь завтра к вечеру".

Пришел домой, выложил все своим. Жена аж в ладоши захопала: "Ах, как, - говорит, - славно! С тобой поеду - всю жизнь мечтала пожить в столице, и думать тут нечего - соглашайся". Мать тоже сказала: "Иди, тебя все равно дома не бывает, а так хоть по телевизору смотреть будем..."

"Вы что, обе с ума посходили? - заорал я, потому что шел домой, рассчитывая, что мое твердое "нет" депутатству найдет у них поддержку. - Вы что не понимаете, куда толкаете меня? Вы что забыли, как было с российским парламентом? Или мозги у вас повысыхали?"

"Ну да, - грустно так говорит жена, - мечта всей твоей жизни - сидеть в своем занюханном СМУ и строить паршивые "крупнопанельки".

А мать, та меня совсем доконала: "Трус, - говорит, - презрительно и с сожалением, - какой ты трус и как ты похож в этом на своего отца". Это у нее давний "пунктик" - все мои достоинства - от нее, а все недостатки - от отца, с которым они давно расстались.

"Нет, вы точно с ума посходили", - уже на полтона ниже сказал я, потому что уверенности в своей правоте у меня поубавилось, и ушел, хлопнув дверью.

Впрочем, уходил я не просто, а с умыслом: был у меня один человек, с которым я всегда советовался в трудные минуты жизни. Уж он-то, думаю, поймет меня и развеет мои сомнения.

Он меня будто ждал: "Молодец, - говорит, - проходи... Я тут как раз первую порцию выгнал - по совершенно новой технологии - на горохе и кефире. Горит! Сейчас и продегустируем..."

Ты не подумай: этот мой человек никакой не алкоголик. Он почти вообще ничего не пьет. Это у него хобби такое после выхода на пенсию - изготовление домашних вин и других более крепких напитков. Хочу, говорит, в полной мере воспользоваться вековым опытом, накопленным человечеством в этой сфере деятельности...

"Да я к вам по делу, - намекая ему, - мне посоветоваться надо..." - "Совет не баран, - тут же отвечает он, - это я могу сколько угодно..."

Изложил ему суть дела. "Жаль-жаль, - побарабанил он по столу пальцами, - жаль мне тебя, братец..." - "Чего это жаль? - обиделся я, - вроде помирать не собираюсь..." - "Жаль мне терять тебя, - говорит, - все же, так сказать, общались, дегустировали. Но ничего не поделаешь - расти надо, расти..."

Я чуть было не завыл: "Да что вы все сговорились, что ли?"

А он стопки достает из "стенки": "Давай-ка мы по стаканчику... из первой партии... по новой технологии... за будущего парламентария..."

Была у меня, правда, еще одна надежда. Последняя. Дальний родственник. Номенклатура - клейма некуда ставить. Гордо именовал себя похоронщиком: когда был республиканским министром - ликвидировали министерство. Бросили председателем на комитет - комитет расформировали. Пришел первым секретарем в обком партии - партия приказала долго жить. В председатели облсовета депутатов пробились - Советы распустили. Все прошел человек, уж он-то, надеялся, поможет.

"Давай-давай свою проблему, - говорит так деловито, - мы ее мигом расцелкаем". - "Да вот в депутаты предложили..." - "Ну, так в чем же дело: предложили - иди". - Да занятие вроде не по мне". - "Ну, это не повод для отказа... Меня когда министром назначали, я тоже все переживал: справлюсь - не справлюсь, а мне один умный человек сказал: пару лет будешь входить в курс дела - какой с тебя спрос, еще пару будут к тебе присматриваться, пока поймут, что ты не на своем месте, да еще год пройдет, пока снимут... Зато пять лет министром побудешь. Как в воду глядел - все один к одному вышло. Опять же из министров в дворники не отправляют... Так что думать нечего - надо идти. В столице поживешь, на другой орбите повращаешься. А главное - ответственности никакой. Подумаешь - парламент... Это ж как хоровое пение..."

Но меня все продолжали терзать сомнения. Лезли в голову поговорки и пословицы великого русского народа, вроде "Не по Сеньке шапка", "Не в свои сани не садись", "От добра добра не ищут" (в том смысле - жил же

как человек, чего еще, спрашивается, надо?). Еще вдруг вспомнилось, как в одной телепередаче известный радикал-демократ предложил такой способ повышения эффективности работы парламентариев - принять закон об уголовной ответственности за результаты их деятельности. "А как же он будет применяться?" - спрашивает его журналист. "По окончании срока полномочий надо провести референдум среди избирателей, - без запинки отвечает тот, - и если они положительно оценят работу парламента, то надо им оставить в вечное пользование их служебные квартиры в столице, наградить, назначить пожизненные пенсии..." - "А если оценка будет отрицательной?" - "Тогда все они должны сесть в тюрьму за свою преступную деятельность". - "А каковы критерии?" - допытывается журналист. "А критерий один: лучше людям стало жить или наоборот - в этом-то любой разберется". - "Ну, - говорит журналист, - в таком случае всем депутатам придется сидеть поголовно..." - "А пусть не лезут в парламент, - отвечает радикальный демократ, - а занимаются каждый своим делом..."

Скажешь: бред сумасшедшего? Не такой уж и бред, если вспомнить судьбу некоторых союзных, а впоследствии и российских депутатов. Прямо какая-то новая традиция стала рождаться: стал председателем Верховного Совета - значит, обязательно окажешься в тюрьме, как Лукьянов с Хасбулатовым. Лукьянова, правда, тюрьма, как видно, ничему не научила - опять подается в депутаты...

Но я, кажется, отвлекся. А все потому, что мысли одолели - сутки не спал, все думал. Правда, так ничего и не придумал. А тут опять приглашают в наш местный "белый дом". На этот раз со мной говорил уже сам его хозяин. Разговор был короткий: "Политику Президента поддерживаете?" Я стал приподниматься со стула: последний раз передо мной такой вопрос, правда, в несколько иной постановке, ставили перед принятием в ряды боевого испытанного авангарда. "Сидите! Я рад, что мы в вас не ошиблись..." Я промычал в ответ нечто нечленораздельное. "Мы пустим вас через СНЕК, - решительно сказал хозяин "белого дома". - "Но я еще не член..." - "Ничего, примем. Идите - и настраивайтесь на победу!"

Так вместо отпуска я пошел в массы.

Не стану рассказывать, как вся моя семья, за исключением разве что престарелой матери, включалась в предвыборную кампанию. Как собирали подписи в поддержку моей кандидатуры. Как составляли предвыборную платформу и как я потом не узнал ее после корректировки во все том же "белом доме". Как меня перебрасывали из округа в округ - разумеется, для моего же блага и с целью политического маневра. Как в дикий мороз жена с сыном - пятилетним Сашкой - разбрасывали листовки в мою поддержку в дальних микрорайонах. Честно говоря, жену мне несколько не жаль: захотела жить в столице, так поморозь сначала сопли! А вот малого жалел, хотя он как-то очень быстро вошел во вкус и, приходя домой после таких походов, словно с передовой, бодро докладывал: "Папа, а мы с мамой сегодня еще семь листовок твоих противников сорвали!" Двое старших сыновей занимались более серьезными делами - опосредованно, через своих друзей, воздействовали на их родителей.

Да, чуть не забыл: регистрация моя чуть не сорвалась из-за того, что у меня не оказалось нужной суммы для кандидатского денежного залога в размере пяти месячных окладов. Оклад-то у меня был с гулькин нос, да мне и его несколько месяцев не платили, так что еле насобирали... Уже и жена, и мать вроде готовы были дать обратный ход, а нельзя - дело политическое: тут как в воровской шайке - рубль за вход, а за выход два... Сам я потерял сон и аппетит и впервые за десять лет стал худеть. Я агитировал почти круглые сутки. Я агитировал в обеденных перерывах в цехах заводов и фабрик и на строительных площадках; я агитировал на родительских собраниях в школах и на учительских конференциях; я агитировал на производственных планерках и технических совещаниях; я агитировал в кинотеатрах перед началом сеансов и в драмтеатрах перед началом спектаклей; я агитировал в больницах и поликлиниках и даже в психодиспансере; я агитировал в мусульманской мечети перед началом вечернего пятничного намаза и в православном храме, с амвона, после воскресной службы...

Мне стали сниться кошмарные предвыборные сны... Мне снился церковный батюшка, который с криком "богохульник!" бежал за мной, путаясь в черной рясе и почему-то желая надеть на мою голову тяжелый церковный колокол... Другой раз проснулся в холодном поту: приснилось, что надо мной совершают обряд обрезания. Хорошо, что проснулся до, а не после...

Но жизнь временами была еще кошмарнее, чем сон. Пришел агитировать в психодиспансер (сказали: так надо - у них там отдельный избирательный участок), представили меня, стал знакомить контингент со своей предвыборной платформой... Я вообще так за это время насобачился - чуть не наизусть шпарил. Тут вдруг встает один, с виду приличный, даже интеллигентный, и заявляет: "То, что вы нам тут объясняете, нам хорошо известно: страна наша, а вместе с ней и мы, я извиняюсь, в анусе... Хотелось бы только знать, как долго мы там будем находиться и выберемся ли вообще?"

Я чуть стусебался, хотя виду не подаю: как раз об этом, мол, и хотел вам рассказать, уважаемые избиратели. Но тут другой поднимается: "А что такое "в анусе", - спрашивает, - это что - в переходном периоде между социализмом и капитализмом?"

Чувствую - поплыву. Хорошо, старшая сестра выручила: "Если я, - говорит, - правильно понимаю, у нас кое-кто сегодня вечером не хочет смотреть 49 серию "Просто Марии..." Подействовало - успокоились.

Довел я свою предвыборную речь до конца, перешли к вопросам. Встает еще один излечивающийся и, прищурился, вежливо так интересуется: "Так вы что, хотите сказать, что Владимир Ильич Ульянов-Ленин был не прав?" - "Ну почему же, - вяло отвечаю, - я этого не говорил", - "Хорошо, - бодро подытожил он, - тогда вот вам наш наказ: передайте товарищам, остающимся на свободе, наш пролетарский привет". Я пообещал. Старшая сестра, выводя меня бесконечными коридорами обратно, успокаивала, обещая стопроцентную поддержку. А мне, по правде говоря, уже ничего не надо было - ни победы, ни депутатства, хотелось одного - чтобы все это поскорее закончилось.

...Не буду тянуть кота за хвост: в депутаты я, к счастью, так и не попал. А вот отпуск пошел прахом... И чуть

язву не заработал. Иногда до сих пор по ночам вскрикиваю. Жена бесится - не может мне простить упущенного шанса. Полгода с долгами рассчитывался: залог вернули через три месяца - без учета инфляции, да еще и за перевод содрали...Одно, считаю, хорошо. Если предположить, что каждому человеку отпущен в жизни лимит на какое-то число дурацких поступков, то лично я значительную его долю уже исчерпал."

Номенклатурные были

Прорабы перестройки

Была такая рубрика в газете "Советская Россия". Престижная, популярная, единственная в своем роде. Она рассказывала о людях, ярко проявивших себя сразу после провозглашения Горбачевым нового политического курса, в том числе и о партийных секретарях разного ранга.

И мне, хоть и с опозданием, захотелось внести свой вклад в портретную галерею прорабов перестройки - почти десять лет я имел возможность видеть в деле трёх первых секретарей обкома партии. Я их классифицировал для себя так: Старый "первый", Новый "первый" и Старый Новый "первый".

Ветеран номенклатурного движения.
(Старый первый)

Так окрестит его, уже персонального пенсионера союзного значения, одна из газетных публикаций. И в самом деле: едва ли не всю свою сознательную жизнь Старый "первый" провёл в руководящем партийном кресле, постоянно и неуклонно передвигаясь вверх. Блестяще усвоив все правила системы, которой он служил, Старый "первый", без преувеличения, стал гроссмейстером от номенклатуры. Его главными чертами были сверхосторожность и сверхнев्यразительность. Начав свою карьеру ещё при Сталине и пережив Хрущёва, Брежнева, Андропова, Черненко, он и при Горбачёве не изменял своему важнейшему правилу: ничему не удивляться, ничего не принимать близко к сердцу, никогда не отклоняться от линии...Форма для него всегда была важнее содержания. Главное - вовремя отреагировать, обсудить, принять постановление. Заседания бюро при нём превращались в настоящие ритуалы и длились порой по восемь-девять часов. Вместе с тем он всегда предпочитал ничего не решать, если была хоть малейшая возможность этого не делать. С точки зрения здравого смысла невозможно объяснить, как мог столь заурядный серый человек так выдвинуться. С точки зрения людей, знающих секреты механизма номенклатурного передвижения, всё, напротив, очень просто: он верно служил системе - она его опекала.

Без бумажки Старый "первый" двух слов связать не мог. Шпаргалки ему писали по всякому поводу - даже дежурные выступления на бюро. Заботясь об авторитете шефа, работники общего отдела подчёркивали в наиболее ответственных докладах слова и выражения, которые ему следовало выделять голосом, проставляли ударения. Но это не помогало: всё и всегда он читал ровно, монотонно, без всякого выражения. Каждый раз казалось, что его совершенно не интересует то, о чём он говорит. Его осторожность не знала границ. Так, например, любую, даже двадцатистрочную заметку в областной газете, где упоминалась его персона, он лично прочитывал перед публикацией. Кстати говоря, не припомню случая, чтобы за все годы работы он хотя бы раз в этих заметках сделал хоть какую-то поправку...И помощников подбирал под статью себе - незаметных, не возражающих, не высывающихся. Когда он уходил на почётную персональную пенсию (по высшему разряду, утверждают знающие люди), никто ничего не смог сказать о нём - ни хорошего, ни плохого.

Прораб большого полёта.
(Новый "первый")

Нового "первого" привезли к нам в разгар перестройки. Область во главе со Старым первым поотстала в этом деле, вот он и должен был "инициировать перестроечные процессы".

Преемник был молод (едва стукнуло сорок), честолюбив, уверен в себе. К тому же строить и перестраивать он умел и любил, поскольку большую часть жизни провёл на стройке: прорабом, начальником строительного управления, управляющим трестом. В последние годы строительная часть его биографии удачно дополнялась частью партийной: время от времени его забирали со стройки и бросали на партстроительство - в аппарат райкома, горкома, ЦК Компартии республики. Пока, наконец, он не оказался у нас в области, много лет громко именуемой гигантской строительной площадкой.

Новый первый церемоний не признавал и заседания бюро вёл с прорабской прямоотой и непосредственностью.

И не важно, о чём шла речь: о строительстве дорог, надоях и привесах или о перестройке народного образования - его слово всегда было решающим. Раздав всем сестрам по серьгам (а без этого не обходилось ни одно бюро), он самолично устанавливал сроки для устранения провалов и неизменно добавлял:

"Ну, а не обеспечите конечный результат, вызовем на бюро и, как говорится, "привет горячий!"

Этот "привет горячий" кочевал из выступления в выступление Нового "первого" и приобретал в зависимости от ситуации оттенки от поощрительно-одобрительного до обвинительно-угрожающего. Разнообразием лексикона Новый "первый" аудиторию не баловал, да это было и ни к чему: он сам привык изъясняться прямо, того же требовал и от окружающих, а в узком кругу не чурался крепких выражений.

Приобщал нас к перестройке Новый "первый" преимущественно с помощью программ - они стали плодиться с его приходом как грибы после дождя: по строительству дорог, по оздоровлению трудящихся, по разведению

рыбы, по удвоению производства молока и мяса...Последнее - отнюдь не преувеличение и не шутка: все районы и хозяйства получили соответствующие задания и затем поочередно защищали эти программы в области...И только неожиданный его уход помешал трудящимся области первыми в стране вступить в эпоху полной сытости.

Впрочем, надо отдать должное Новому "первому": он был требователен не только к окружающим. На месяц вперед им составлялся специальный рабочий план, где по дням (и по часам!) было расписано: где и когда он будет находиться, что будет делать. Наиболее жгучий интерес его ближайшего окружения вызывало планирование им своего выходного дня (суббота была, разумеется, иногда рабочей)...Так вот, первая половина воскресенья отводилась для поездок по городу, с обязательным посещением рынка, а во второй неизменно значилось: с 14.00 - "работа над собой". По всей вероятности, этот важнейший пункт Новым "первым" выполнялся без должного усердия: уходя два года спустя со своего поста (опять - на строительный, но уже в союзном министерстве), он оставался для всех, кто с ним близко столкнулся, прорабом большого полета.

Театр одного актера
Новый Старый "первый"

Говорят: нельзя войти в одну реку дважды. Это неправда. Тому подтверждение - судьба еще одного первого секретаря нашего обкома - судьба по-своему уникальная.

Он уже был в нашей области "первым". Но не вписался в административно-командную систему (как он теперь любит говорить, и что, в общем, соответствует действительности) и без всяких объяснений был освобожден от должности.

Область при нем переживала пору бурного промышленного развития, здесь, как на дрожжах, рос крупнейший в Союзе территориально-производственный комплекс. Во времена перестройки это дает основание бывшему "первому" с возмущением отвергать тезис о том, что будто и у нас был застой. Где-то, может, и был, но не у нас...И уж во всяком случае, не в те годы, и не в экономике...

Еще его первое пришествие оставило о себе добрую память "чистыми пятницами" (весь город в этот день выходил на улицы с лопатами и ведрами наводить порядок), многочисленными соснами, появившимися в городах и селах в пору его правления, и двумя шикарными особняками, выстроенными на берегу Иртыша (едва ли не в самом людном месте) и отведенными под привилегированную гостиницу (один) и для проживания четырех семей, включая семью "самого" (другой). Правда, строительство это получило чересчур широкую огласку, и обладателям особняка за зеленым забором пришлось переселяться. В конечном итоге при освобождении поста "первому" поставили в вину и эти хоромы...

То ли дело теперь! Построить личный двух-, трехэтажный особняк для любого мало-мальски уважающего себя начальника - дело чести, доблести и геройства. И уж само собой никого не волнует тот очевидный факт, что затраты на его сооружение, минимум, в несколько раз выше, чем полученная хозяином за все годы службы зарплата.

Кстати говоря, и построенная в те годы по указанию "первого" гостиница сохранилась и до сих пор служит по своему прямому назначению.

Он вернулся в область после почти десятилетней отлучки по просьбам трудящихся. В прямом смысле слова. Ходоки одной из двух номенклатурных руководящих группировок, с переменным успехом ведущих борьбу за ключевые посты в области, позвали его "домой", обещая всяческую поддержку, заверяя, что "актив" только этого и ждет.

И тот рискнул. И был избран. И в кулуарах тут же был окрещен Новым Старым "первым". В отличие от подавляющего большинства своих коллег по номенклатурной обойме он был не только умен, но и начитан и теперь не считал нужным зарывать эти свои таланты в землю. Избранные места его речей нельзя пересказать - их можно лишь цитировать.

Вот, например, цитата из выступления на республиканском пленуме ЦК партии. "Наш корабль перестройки, как тот "Летучий голландец" - на всех парусах, но без рулевых (теперь уже не поют "Партия - наш рулевой"), взлетает и падает на крутых волнах перегласности в штормовом океане передемократии, рискуя разбиться о рифы переплюрализма, а зеленые берега перепроизводства еще так далеки". Каково? Но это не все...Были в его речах "политические тараканы и экономические клопы, которые яростно принялись кусать партию, Советскую власть..." Впрочем, с ними автору речей все ясно - "демократическая контра, а их идеи - идеологическая марихуана"...

Словом, голыми руками такого не взять - широко образован, во всех смыслах подкован, любому оратору фору даст. Правда, члены бюро опять загрустили: иные из его заседаний стали превращаться в откровения Нового Старого первого по тому или иному поводу, напоминающие театр одного актера...Себя он, без ложной скромности, именовал "батькой": чего там, мол, ну, поругаю когда-нибудь, но не порю ведь, а в случае чего - и прикрою...

Все же он был незаурядным человеком, наш Новый Старый "первый". Но его второе пришествие оказалось недолгим. Усилиями московских реформаторов некогда великая страна уже шла вразнос, и ему помимо собственной воли пришлось довольствоваться ролью похоронщика бывшей советской системы. Той самой системы, служению которой были отданы его лучшие годы.

Вышло так, что республиканский комитет, который возглавлял наш "первый" перед возвращением в область, был упразднен за ненадобностью. Через год с небольшим приказала долго жить и коммунистическая партия, и Новому Старому "первому" досталось кресло председателя областного Совета народных депутатов. А потом, как известно, и самим Советам не оказалось места в новой политической системе суверенных государств,

возникших на обломках бывшего Союза.

Однако Новый Старый "первый" избежал печальной участи большинства своих номенклатурных товарищей по партии - участи унылых брюзжащих пенсионеров. Он оказался личностью вполне самоценной - в нем пробудился известный поэтический дар. Свои стихи он публикует под псевдонимом. По-моему, в них есть талантливые строки.

Вышла в свет первая книжка его стихов. И кто знает, может быть, мы еще станем свидетелями настоящей популярности нового поэта.

Воспитательный момент

Заседание бюро обкома партии...На повестке дня вопрос вопросов - ход хлебозаготовки. Председательствует, вернее, царит, "сам" - первый секретарь Семён Дмитриевич Кулагин. Семён Дмитриевич и вообще-то крут, а тут еще дела с выполнением плана хлебосдачи идут неважно...Он мечет громы и молнии.

Другие члены бюро, сидящие с ним за одним столом, опасливо помалкивают. Провинившиеся директора совхозов и председатели колхозов, жалкой кучкой сгрудившиеся на стульях в части зала, предназначенной для приглашенных, втянули головы в плечи. Кто-то из них предназначен на заклание.

Метод Семена Дмитриевича в таких случаях хорошо отработан, он прост и убедителен. Надо найти наиболее злостного нарушителя партийной дисциплины, саботирующего "первую хлеборобскую заповедь", и примерно наказать - чтобы другим неповадно было. Способ многократно проверен, действует лучше всяких уговоров.

Жертва уже найдена: Дымченко, председатель одного из колхозов, при обсуждении вопроса осмелился заметить, что, может, и не стоит так спешить и везти хлеб на эlevator чуть ли не из-под комбайнов - погода стоит хорошая, можно еще успеть и очистить зерно, и подсушить...

- Ну да, ты умный, а мы тут все дураки, - следует любимый аргумент Семена Дмитриевича, за которым им самим обычно вносится предложение об оргвыводах. Предложений у него, как правило, три: объявить строгача, снять с должности, исключить из партии. Тут случай особый - попытка усомниться в незыблемости самой линии, покушение на святая святых - первую заповедь...Отсюда и мера наказания.

- Предлагаю исключить, - голос Семена Дмитриевича спокоен, будничен. Он знает, что его предложение будет принято, получит огласку и в следующий раз слушников не окажется.

- Семен Дмитриевич, я хочу...- прорывается сказать председатель-жертва.

- Потом, потом, - небрежно машет рукой "первый", не удостоивая его взглядом. - Так. Кто против? Против нет. Кто воздержался? Все ясно - исключаем.

Семен Дмитриевич обводит усталым взглядом притихший зал заседания. Он доволен произведенным эффектом. Остается завершить спектакль - поставить последнюю точку. Семен Дмитриевич и это умеет. Глядя поверх голов, он рассеянно разрешает исключенному:

- Так что ты там хотел сказать, Дымченко?

- Я беспартийный, Семен Дмитриевич.

Кулагин медленно багровеет, ловит раскрытым ртом воздух, от его царственной вальяжности не остается и следа.

- Да что же ты, мать твою, молчал! - ревет он на весь зал.

Дымченко невозмутимо пожимает плечами. Директора и председатели, пряча улыбки, отворачивают головы. Воспитательный момент испорчен. Начисто.

Проводы

Как-то я улетал в Москву на одном самолете с первым секретарем обкома партии, направлявшимся в очередной отпуск в подмосковный Барвихинский санаторий. Провожать его явилось бюро обкома почти в полном составе - каждый на своей машине. Девять или десять "Волг" одинакового белого цвета проследовали на летное поле и по ранжиру выстроились у здания аэропорта: первой "Волга" "самого", потом - председателя облисполкома, затем второго секретаря и так далее - согласно железно соблюдаемой таблицы о рангах.

Когда наш самолет начал разбег, члены бюро, нестройной шеренгой стоящие у своих "персоналок", прощально замахали руками...Это было трогательное зрелище. Непонятно, правда, кому все это адресовалось: место "первого" оказалось с противоположной стороны. Да и не смотрел он в окно, а читал газету...

Три случая из жизни Гиталова

Рыбалка с б...

Иван Алексеевич Гиталов - мой старый знакомый, прошедший путь от бульдозериста до начальника крупного треста, рассказывал, как он по поручению первого секретаря обкома принимал приехавшего в область со специальной миссией ответственного была такая должность) ЦК КПСС.

- Вызывает меня "первый" и говорит: "Есть тебе особое поручение. Едет из Москвы проверяющий, и такая, говорят, б...- ничем не взять. Роет и роет - как крот. Но есть, вроде, у него одно слабое место - рыбалка.

Пошлем его на субботу и воскресенье к тебе, делай что хочешь, но подход найди. От этого и моя судьба зависит..."

Вечером в пятницу приезжают - проверяющий этот самый и с ним второй секретарь обкома - сопровождающий. Ну, сели ужинать. Я и так и так, а он ни в какую - капли в рот не берет, даже разговаривать не хочет...Ну, а какой разговор между мужиками, да еще незнакомыми, без этого дела...Потом все же закидываю удочку: может, говорю, завтра на рыбалку съездим? Он вроде оживился: "А куда?" - "Да тут у нас рядом водохранилище..." - "А какая рыба?" - "Бывает, окунь хорошо берет..."

Я все это без нажима ему выдаю, чтобы сам клюнул. Он вроде раздумывает, хотя, чувствую, задело: "А удочки зимние есть? А наживка?" - "Ну, это не проблема, - отвечаю, - удочки и наживка будут..."

В десять утра договорились выехать. Они стали спать устраиваться, а мне не до сна - рыбалку же надо готовить. Собрал всех своих браконьеров - делайте, говорю, мужики, что хотите - душа из вас винтом - хоть всю ночь прикармливайте, а чтобы рыба утром брала... "Не переживай, говорят, Алексеич, рыба будет...Только, сам понимаешь, и нас надо уважить..."

Куда деваться, пообещал по бутылке белой на брата - но после рыбалки.

Утром пришел за своими рыбаками. Валенки им принес, полушубки. Думаю, может, без меня уже поладили - да где там. Тот как сын, и наш темнее тучи. Ладно, думаю, будь что будет, надо ехать. Мужики мои уже с десяток лунок просверлили и смылись, как наказывал. Так что мы втроем одни на всем водохранилище. Я сразу их решил подальше друг от друга рассадить, чтобы, в случае чего, проще было говорить с каждым поодиночке. Удочки им настроил, дал по спичечному коробку с мормышем...Сам выбрал лунку примерно посередине между ними. Посидел минут пятнадцать для близиру и к нашему на переговоры. "Может, говорю, сто граммов - для сугреву?" - "Да ты что, - шипит, - неужели не видишь, какая...б...? Пусть он сначала выпьет - иди к нему..."

Иду к нему. А тот уже с десяток окунишек натаскал. Обернулся ко мне - совсем другой человек - шапка на затылке, лицо раскраснелось: "Не думал, - говорит, - что у вас может быть такая рыбалка...А я к ней еще с детства пристрастился, на Алтае..." - "И я, - отвечаю, с Алтая". - "А откуда?" - "Из Шипунова". - "Ну да, - изумляется, - а я из Белоглазова".

Выходит, земляки - почти родня. Тут я немного осмелел: "За это все - и за почин, и за землячество - надо выпить..." Он посуловел: "Да я и сам не прочь...Но ведь эта б...тут...Послали присматривать..."

Все же выпили. Тут у него клевать начало, а я опять к своему пошел. Вижу, ему вся эта рыбалка - тоска смертная. Подхожу, уже без разговоров наливаю. Он не берет: "Неужели выпил?" - "Еще бы рыбак на рыбалке не выпил..."

Так я и ходил - от б...к б...То с тем выпью, то с тем...Потом чувствую - пора им объединяться для этого дела, а то у меня уже сил не остается на передвижение - я-то двойную нагрузку несу...Кончилось все тем, что ответорганизатор всю обратную дорогу целовал приехавшего за нами шофера, говоря, что такой рыбалки у него за всю жизнь не было.

Утром, как положено, доложил "первому" : задание выполнено...

Между прочим, хороший мужик оказался этот ответорганизатор - не забыл о рыбалке и несколько лет спустя помог мне пробить строительство типовой школы в нашем поселке.

Беский аргумент

- После того, как из бригадира бульдозеристов я стал начальником строительного управления, меня вызвали в райком и предложили вступить в партию. Сказали, что нехорошо получается: руководитель такого уровня - и беспартийный. А я - ни в какую, никакие уговоры не действовали. И тогда меня вызвал "первый" (кстати, это он продвинул меня в начальники). Он уже все знал и долго не разговаривал. Сказал: "Не вступишь - съедим".

Подействовало - вступил.

Поручение

Освещать работу областной партийной конференции приехал спецкор "Правды". Хорошо зная, что он доставил массу неприятностей своими корреспонденциями в других областях, в обкоме спешно сформировали группу по нейтрализации спецкора.

Конференция шла два дня. Дважды в день руководитель группы докладывал первому секретарю о проделанной работе. Доклады были краткими и исчерпывающими: "Все нормально! Пьет!"

На конференции спецкор так и не появился. А отчет опубликовал. И даже критика в нем присутствовала, но зато после нее не было неприятностей ни у кого из тех, кто опасался острого спецкоровского пера.

А спецкор несколько лет спустя стал одним из лидеров республиканского демократического движения и одним из первых лиц в Российском правительстве демократов.

Аудиенция

В область приехал новый собкор центральной газеты. И хотя газета была профсоюзной, по этикету полагалось представиться первому секретарю обкома. Помощник сразу предупредил:

- Когда будете говорить с Сергеем Иосифовичем, руки лучше держать перед собой на столе - он не любит, когда прячут руки и отводят глаза.
Собкор подивился такой рекомендации, но, будучи от природы человеком сообразительным и не лишенным чувства юмора, решил судьбу не искушать и действовать сообразно совету.
Аудиенция оказалась недолгой. Сергей Иосифович рассказал собкору о судьбе его предшественника. Был юбилей у директора завода шин. После чествования юбиляра на предприятии узкий круг лиц переместился на специально зафрахтованный для юбилейного торжества пароход. На нем и отмечали, курсируя по Иртышу.
- Ну, выпили, конечно...Ну, закусили...- доверительно излагал первый секретарь. - А он, борзописец, накатал...Уважаемых людей обидел...
Сергей Иосифович помолчал, вздохнул:
- Ну, я позвонил Михал Андреичу: так, мол, и так, нам таких не надо...
Еще одна пауза.
- Теперь вот вас прислали. Думаю, поладим?

Трансформация

Осень. Начало уборки. Звонок из области в район:
- Почему хлеб не косите?
- Так зеленый еще...
- Это у вас настроение зеленое, - гремит начальственный бас.
Звонок из района в совхоз:
- Почему хлеб не косите?
- Так хлеб же зеленый...
- Это директор совхоза у вас зеленый, - неистовствует телефонная трубка.
Директор совхоза вызывает по рации бригадира:
- Когда косить начнете?
- Так зелень же...
- Это у тебя под носом зелень...Знаешь - как она называется?!

Арбуз без косточек

Любой приезд в область первых лиц республики во все времена обставлялся торжественно и пышно (хотя, впрочем, последнее почти всегда было скрыто от глаз широкой общественности). Обслуживание самолета прибывшего лица, заправка его топливом, маршрут движения и даже контроль пищи (!) обеспечивались службой госбезопасности. Перекрывались улицы, парализовалось автобусное движение, сдвигалось время прилета и вылета "рядовых самолетов". Иногда провинциальное рвение доходило до полного абсурда. Так, первый секретарь обкома, готовясь угощать обедом нового секретаря ЦК Компартии республики, "на всякий случай" посоветовал курирующим визит "ребятам из органов" повыковыривать косточки из нарезанного на десерт роскошного лебяжинского арбуза.
И повыковыривали!

Добровольная жертва

Дело было в пору, охарактеризованную впоследствии юмористами расцветом застоя. Первое лицо республики посетило один из хлебных районов. Для него подальше от лишних глаз, в живописном урочище, приготовили белоснежную юрту с традиционным бесбармаком и другими угощениями. За качество блюд можно было не волноваться - они готовились под присмотром незаменимых специалистов "из органов".
Но случилось непредвиденное. Невест как затесавшийся в свиту сопровождающих главврач местной райбольницы первым ринулся к праздничному дастархану - с отчаянным криком:
- Нет, уж пусть лучше я!..
Пребывавшему в недоумении высокому гостю деликатно пояснили: боясь, как бы его ненароком не отравили, скромный труженик медицины решил пожертвовать собой и первым отведал деликатесы.
Увы, все они оказались отменного качества...
Но готовность к самопожертвованию не осталась неоцененной: главврач захолустной райбольницы вскоре получил весьма ответственный пост в Минздраве республики. Может быть, впрочем, первое лицо республики тут было и ни при чем.

Как Юрий Кукин чуть не стал диссидентом

Однажды в наш город приехал известный исполнитель своих песен Юрий Кукин. Мы решили во что бы то ни стало пригласить его на встречу в редакцию. Он на удивление быстро согласился, часа полтора пел нам свои песни, рассказывал много интересных историй. Чтобы хоть чем-то отдарить его за этот праздник общения, правивший в отсутствие редактора зам великодушно предложил ему опубликовать в нашей газете несколько

своих стихов, пообещав "для поддержки штанов" повышенный гонорар. Узнав, что тираж газеты за сто тысяч экземпляров, Кукин согласился. Срочно соорудили подборку на последней странице под рубрикой "У нас в гостях". Неизвестно каким образом, об этой инициативе узнали в обкоме партии и рекомендовали от публикации воздержаться. Сгорая от стыда, зам пошел в гостиницу к Кукину объясняться. Услышав о запрете, Кукин страшно удивился: "А почему? Стихи-то безобидные..." Чтобы хоть как-то сохранить лицо, зам предложил: "Хотите, я вам на память полоску со стихами оставлю?" - "Конечно, хочу, - сразу сказал Кукин, - буду показывать ее своим друзьям в Ленинграде. Ведь до сих пор меня еще нигде и никогда не запрещали..."

Вместе с оттиском невышедшей страницы зам вытащил из портфеля бутылку коньяка. Потом он уверял нас, что они отлично посидели и расстались, взаимно довольные друг другом.

Тут, наверное, можно было бы добавить, что талантливый романтик Кукин всегда был далек от политики... Но какое это имеет отношение к нашей истории?

500 партргов с термосами

В разгар перестройки вошли в моду Всесоюзные селекторные совещания, проводившиеся всякий раз, когда требовалось осуществить прорыв на том или ином участке агонизирующей экономики. Зимой в прорыве нередко оказывалась железная дорога - заносило снегом подъездные пути, простаивали под погрузкой-выгрузкой вагоны. Посредством селекторных совещаний ударяли партийным влиянием по разгильдяйству и неорганизованности.

Обычно такие совещания вел неумолимый Егор Кузьмич Лигачев.

И надо же было такому случиться - в число проштрафившихся попало и Павлодарское отделение железной дороги. После с неделю бушевавших жестоких буранов в Экибастузе оказались занесенными снегом многие подъездные пути, стрелочные переводы. Между тем на экибастузском угле работали два с лишним десятка тепловых электростанций страны, и вполне понятно, чем были чреваты сбои в их снабжении топливом. Отчитывались на селекторных, как правило, штрафники. Дошла очередь и до начальника Павлодарской железной дороги. Уже немало повидавший на своем веку, опытный железнодорожник, он знал - оправдываться бесполезно - и потому бодро заверил:

- Дорогой Егор Кузьмич! Положение поправляем. В 24 часа нормальный ритм работы на отделении будет восстановлен.

- Это долго: надо управиться за 18 часов, - последовала поправка.

- Можем не успеть, Егор Кузьмич - у нас там одних стрелочных преводов полтысячи с лишним...

- Ну так закрепите за каждым партргом, и чтобы не возвращались, пока движение не наладится... Да снабдите их термосами с горячим чаем.

- Так и сделаем, Егор Кузьмич!

Удовлетворенный Лигачев переключился на других проштрафившихся, а ошалелый начальник отделения с куратором - зампредом облисполкома призадумались.

- Термоса есть, - шепотом сказал начальник отделения, - уже двое суток стоит целый вагон с китайскими, разгрузить не могут... - Но где я столько партргов наберу - чтобы на каждую стрелку?

...Прорыв тем не менее ликвидировали. Обошлись без 500 партргов. А вот горячую пищу всем, кто вышел на очистку путей от снега, подвозили...

Лозунг

Близится к завершению очередной исторический съезд КПСС. Городские власти решили отличиться и ко дню его закрытия начертать гигантский лозунг на фасаде одного из самых больших зданий - "Решения партии - в жизнь". Буквы варили из листового металла, в человеческий рост. Это была непростая работа - в день удавалось выставить на крышу дома две-три буквы.

Однажды первый секретарь горкома, объезжая город, завернул и на этот объект особого значения.

-Заканчиваем, - не без гордости докладывал ему секретарь парткома предприятия, которому было поручено контролировать изготовление и установку лозунга. - Осталось от силы два-три дня работы.

Первый секретарь посмотрел вверх, где уже была выстроена-выписана большая часть лозунга.

На фасаде красовалось следующее: "Решения партии - в ж"

Что за этим стояло - элементарное наше головотяпство или решили подшутить рабочие, устанавливающие буквы и пошавившие накануне вечером именно на этой букве - история умалчивает. Секретарь парткома получил выговор - за политическую близорукость. А лозунг в тот же день ударными темпами был закончен.

Спор

Как-то мы крепко поругались - чуть не разодрались - со старшим братом и зятем из-за горбачевских реформ. Мы круто разошлись во мнениях. Брат, выпускник партшколы, и зять, директор совхоза, весьма критически оценивали идеологические и прочие новации нового генсека. Я же, молодой редактор, был ярым горбачевцем и, не стесняясь в выражениях, костерил их на чем свет стоит.

Мы до того разобиделись друг на друга, что даже пить не стали.

Время нас рассудило.

Зятевский совхоз окончательно развалился: ни техники, ни скота. Зарплату зять не получает годами. Брат, журналист с двадцатипятилетним стажем, не может заработать денег, чтобы раз в год, как это было прежде, приехать в отпуск к матери...К тому же он теперь живет за границей, в Красноярском крае. Газета, в которой работаю я, пока еще дышит. Хотя тираж ее с того времени упал в пять с лишним раз. Что будет с ней (и со мной) через год-два, я не знаю и стараюсь об этом не думать. А мой кумир, будучи одним из кандидатов в президенты России, набрал на выборах один процент голосов. Но интереса к жизни, похоже, не утратил - рекламировал недавно по телевидению пиццу...

Тост

Отмечали юбилей журналиста-ветерана. Было много слов, как всегда, не без обычного в таких случаях перебора... Один из тостующих высказался в том смысле, что юбиляр всей своей биографией доказал: журналистика - это не профессия, а образ жизни... Недолголюбивавший этого журналиста за снобизм и себялюбие заместитель редактора Побережников, сам хорошо знавший цену журналистике, тут же взял слово и произнес такой тост:
Давно работая в газете,
Пришел я к мысли таковой:
Уж если жить на этом свете -
То только жизнью половой!

Гостеприимство

В нашу область приехал израильский миллиардер Айзенберг - на персональном самолете, в салоне которого, помимо всего прочего, была даже двуспальная кровать. Он предлагал области проект, связанный с развитием капельного орошения. На ужин Айзенберга повезли в одно из хозяйств Аксуского района. Перекусили, затем по казахскому обычаю подали бесбармак.
- Неужели мы все это съедим? - удивился уже слегка посоловевший от сытости миллиардер.
- Съедем-съедем, - успокоил именитого соотечественника сопровождавший его сотрудник посольства, уже знакомый с традициями казахского гостеприимства.
...Говорят, после Айзенберг чаще всего вспоминал именно этот момент своего путешествия в Казахстан.

Лицо эпохи

Её зовут Нина Павловна Аринина. Уже пять лет она ходит к нам в редакцию в поисках справедливости. Строители, прокладывая теплотрассу, "потревожили" её ветхую избушку, после чего жить в ней стало опасно. Аринина просит её капитально отремонтировать, строители же уверяют, что они тут ни при чём, а все беды избушки - от её собственной старости. Наша газета писала об этой истории трижды. Аринина обошла всё городское начальство, побывала на приёме у сменивших друг друга трёх первых секретарей обкома партии, не одну свою пенсию потратила на обстоятельные телеграммы трём сменившим друг друга первым секретарям ЦК компартии республики, обращалась к Генеральному секретарю ЦК КПСС и Президенту СССР...Результат неизменно был один: очередная комиссия выносила заключение, согласно которому избушка Арининой капитальному ремонту не подлежит из-за ветхости, а новое жильё ей не полагается, поскольку она уже является домовладелицей. У Нины Павловны Арининой не осталось никого. Родителей она лишилась в детстве и воспитывалась в детдоме. Муж погиб на войне, братьев и сестёр она схоронила, а детей у неё не было. Аринина приближала светлое будущее для потомков на лесоповале, в угольной шахте, на рыбацком промысле. Теперь у неё нет для этого сил, светлое будущее объявлено очередным заблуждением. И сама она решительно никому не нужна...Дни её, похоже, сочтены - кажется, от неё исходит запах тления...
...Когда я в очередной раз гляжу в её заплаканные бесцветные глаза, мне кажется, что передо мной не глубоко несчастная пожилая женщина, которой я ничем не могу помочь, а вся наша измученная, истерзанная страна.

Из жизни президентов

Встретил приятеля, с которым мы когда-то учились в университете, а потом работали в одной газете. Теперь он большой человек - сотрудник администрации президента бывшей соседней братской - ныне суверенной, республики. Рассказывает о нравах, царящих на Олимпе... Новый руководитель аппарата, курирующий и службу протокола, потребовал: во время официальных церемоний с участием президента, всё должно быть организовано таким образом, чтобы нога президента, выходящего из представительского "мерседеса", ступала непременно сразу на ковер, а ни в коем случае не на

землю, асфальт, бетон...

Приятель ругался, клял службу, говорил, что ему всё надоело. Я его давно знаю, он уже не один год это говорит. Но не уходит.

Стабилизация

Когда я в очередной раз слышу из уст политиков - российских ли, наших ли, казахстанских - утверждения о том, что в экономике началась долгожданная стабилизация, мне приходит в голову такое сравнение. Лежит в больнице тяжелый больной, состояние его нестабильное, критическое - как говорят, между жизнью и смертью. И вот он, к несчастью, умер. Это ведь тоже своего рода стабилизация, уж теперь-то его состояние ухудшиться больше не может.

Характеры

Сила воли

Мне приходилось встречать немало волевых людей. И я знаю, что это качество в них проявляется по-разному. Один из моих знакомых, страстный путешественник, казалось, задался целью выяснить: а есть ли вообще предел человеческим возможностям? С группой таких же, как он, энтузиастов сплавлялся на байдарках по Иртышу от самых его верховий до Оби, а по ней - до Ледовитого Океана; проделывал зимой путь на лыжах от Усть-Каменогорска до Москвы и от Северной земли до Северного полюса - тоже своим ходом, на лыжах. Летом ходил пешком через пустыню...И он был глубоко убежден, что в критические минуты жизни, когда, казалось бы, все ресурсы организма исчерпаны, человек в состоянии преодолеть себя - усилием воли. Именно этим усилием, говорил он, преодолевались иные участки пути в его многочисленных путешествиях. Но поразительно другое. Не эти неоднократные преодоления собственных возможностей, а единственный случай из детства считает он самым главным проявлением силы воли в своей жизни. Я записал его рассказ.

- Самое яркое, самое сильное из ощущений, сохранившихся у меня с детства - это ощущение голода. Тогда мало кто жил сытно, а наша семья, оставшаяся без отца, была вечно голодной. И это ощущение - голодного, сосящего пустоту желудка, жило во мне ежечасно - я даже во сне хотел есть.

Понять это состояние может лишь тот, кто сам когда-нибудь долго, поточно недоедал.

И вот как-то раз - мне было лет тринадцать - поехали с деревенскими мужиками разгружать баржу. И заработал сразу четвертак - старыми, конечно. С мужиками же зашел в какую-то забегаловку. Они пили водку и пиво, а я ел. Я ел так, будто хотел наесться не только за всё то время, когда недоедал, но и на всю оставшуюся жизнь - впрок...

Конечно же, я объелся и меня стало тошнить. И мысль о том, что я вот так запросто могу лишиться того, чем столько лет был обделен, показалась мне настолько чудовищно несправедливой, что я чуть не заплакал. И сказал себе: ну нет, уж лучше пускай умру сытым, но удержу всё это богатство в себе.

И удержал - не вырвал. Правда, с тех пор не переносу блинов с повидлом: я их тогда ел последним и умял штук двадцать - не меньше...

...Любопытно, что в еде этот мой знакомый был очень умерен и к тому же весьма неприхотлив к ней.

Реабилитация

В одном из многочисленных лагерей печально известного Карлага отбывал десятилетний срок талантливый агроном-садовод. До отсидки он был директором опытно-садоводческого хозяйства, успел защитить диссертацию. Каким-то образом ему удалось уговорить начальника лагеря завести садово-огородное хозяйство. Под него отвели несколько соток, обнесли колючей проволокой, зек-агроном вырыл себе землянку и месяцев восемь в году там и жил: снабжал лагерную администрацию свежими овощами, ягодами - малиной, смородиной, вишней, проводил какие-то опыты, что-то записывал...

Политикой он никогда не интересовался, случившееся считал чистой случайностью, верил, что в его деле вот-вот разберутся, и он вернется домой, в Крым, в свое опытное хозяйство. Но год шел за годом, ничего не менялось, и он начал свыкаться со своим новым положением. К тому же он задался целью завести засухоустойчивый сорт степной вишни, и, кажется, что-то ему удавалось. Любимое дело спасало от тягостных мыслей в неволе, да и просто позволяло выжить.

В лагере к нему относились как к немножко помешанному - небрежно и снисходительно. Его и это устраивало - лишь бы не мешали.

Когда его первый, "законный", срок закончился, автоматически получил новую "пятерку". Он не удивился и не расстроился, ведь в его жизни ничего не изменилось, и цель - заветный сорт - все еще не была достигнута. А однажды агронома пригласили к начальнику лагеря, и тот сообщил о его полной реабилитации и вручил целый ворох денег - все заработанное за, без малого, пятнадцать лет...И эта будничность столь запоздалой

справедливости так потрясла заледенелую душу так много пережившего зека, что в ту же ночь он попытался повеситься на единственном дереве, которое росло на его огороде, - яблоне-дичке. Но кто-то из охранников случайно оказался неподалеку, поднял шум, и агронома спасли...

На родину он так и не вернулся. Оставшуюся жизнь доживал рядом с местами, где отбывал срок. Выпустил небольшую брошюру о своих опытах со степной засухоустойчивой вишней. Брошюра была замечена в Москве, специализированный ученый совет счел возможным присвоить ему ученую степень доктора сельскохозяйственных наук. Без защиты диссертации.

Секрет министерского долголетия.

Славский, сухой жилистый старик, в течение многих лет занимал пост руководителя важнейшего суперсекретного ведомства - министерства так называемого среднего машиностроения. Это был человек-легенда, трижды Герой Социалистического Труда, большой ученый. Ему было уже под 80 лет, а он все руководил своим секретным министерством.

В одну из поездок на Мангышлак, где "среднее машиностроение" добывало руду на урановых рудниках, он поделился в дружеском застолье секретом своего служебного долголетия.

- Я ведь на своем посту уже с четвертым главой правительства работаю. И козырь у меня всякий раз один: перед каждым переутверждением министров пишу предсовмина на себя анонимку. Так, мол, и так, до каких пор будете держать в правительстве этого старого козла: ему уже скоро 80 лет, а он до сих пор шастает по бабам, в родном министерстве у него две или три любовницы... Тихонов на президиуме Совмина зачитывает весь этот бред и спрашивает: "Ну, как поступим, товарищи?" Все, понятно, затаились... А он продолжает: "Я думаю, товарищи, раз к женщинам интерес не потерял, и работать сможет..."

Как знать - может, в умении пошутить над собой и над серой обыденностью - и в самом деле один из секретов любого долголетия?

Не уходи, сказка!

Леха Колупаев - красавец-мужчина. У него пышная кудрявая шевелюра, щегольские усы, широкая грудь, заросшая густой шерстью. Ко всему прочему - и язык хорошо подвешан. Девушки к нему сами липнут... Избранным он позволяет переночевать в своей холостяцкой квартире, ничего им, впрочем, на будущее не обещая.

... Вот одна из его новых подруг просыпается рядом с ним, бесшумно выскальзывает из-под одеяла, торопливо одевается, собирая разбросанные по комнате вещи.

Леха тоже проснулся, но лежит с закрытыми глазами, делая вид, что спит. Она начинает легонько тормошить его :

- Проснись, я уйду...

Леха бормочет, как во сне, что-то нечленораздельное - "не хочет" просыпаться. Она трясет его за плечо, но результат прежний: Леха забыл, как ее зовут, и попросту валяет дурака.

Она резко встает:

- Ну, все - я пошла!

- Не уходи, сказка! - театрално-дурашливо восклицает Леха, когда она уже открывает дверь. А когда дверь закрывается, он переворачивается на другой бок и снова засыпает.

Благодарность

Ухоженная могила на городском кладбище. Уже не один год за ней присматривает пожилая интеллигентная женщина. Она делает это по собственной воле, хотя тут похоронен чужой ей человек.

Вот история этой женщины.

42-й военный год. Глухая деревенька, затерявшаяся в необъятных просторах Северного Казахстана. Школа-восьмилетка. Расшалившиеся на перемене ученики уронили висевший в классе портрет Сталина в застекленной рамке. Стекло разбилось, прорезав непрочную бумагу с изображением вождя народов.

Классная руководительница - немка с Поволжья, спецпоселенка. Она знает, что у нее есть недруг, и он тотчас сообщит о случившемся "куда следует". И она сама едет в район, идет к начальнику районного НКВД.

Обливаясь слезами, рассказывает :

- Знаю-знаю, - говорит он ей, - уже есть сигнал.

- Что же мне теперь делать? - в отчаянии спрашивает она.

- Вам надо немедленно уехать, - отвечает он, - идите в районный отдел образования за новым назначением, я позвоню заведующему.

Умный человек, он сразу понял, что дело не стоит выеденного яйца, как и то, что житья ей в школе не будет. Ее с охотой взяли в другое место, где она продолжала преподавать свою математику. Первое время ждала, что за ней придут, а потом успокоилась.

Спустя годы судьба свела их в столице Казахстана. Она подошла, напомнила о себе. Он ответил: "Да-да, я помню". Она помогла жене хоронить своего спасителя, когда он умер. Потом его жена уехала в другой город к детям. А старая учительница много лет ухаживает за могилой.

Погуляли...

Пенсионер, бывший секретарь райисполкома, рассказывал мне о том, как он лишился должности. Они вместе с водителем его начальника поехали в областной центр со спецпоручением: получить по доверенности в облисполкоме причитающиеся передовикам района правительственные награды и доставить их в райцентр... Год был урожайным, и хлебному району отвалили орден Ленина, два ордена Трудового Красного Знамени, орден Дружбы Народов, три "Знака почета" и десятка два медалей. Приняли все под роспись, попрощались... Можно было трогаться в обратный путь. Перед неблизкой дорогой решили подкрепиться в ресторане. А швейцар не пускает - мест нет. И у секретаря родился план: поскольку сам он ростом не вышел, пусть водитель, мужчина статный, представительный, оденет часть наград... Тот, поупиравшись, согласился. Не мелочась, выбрали по одному ордену всех видов, добавили к ним пару медалей. Минуту спустя перед ними уже рассыпался в извинениях швейцар, по указанию администратора тащили откуда-то с кухни столик, мигом накрыли...

И посидели на славу... Но надо же случиться такому совпадению: в тот самый день возвращался из отпуска первый секретарь райкома партии. И тоже решил перед дальней дорогой перекусить в ресторане, где и "накрыл" орденосцев. На следующий день состоялось бюро райкома с оргвыводами.

Из жизни З.Т.Набойченко

Оплошка

Захар Тарасович происходил из запорожских казаков, чем ужасно гордился. Голову брил наголо, а усы, наоборот, носил невероятных размеров. Ходил в галифе и френче сталинского покроя - даже тогда, когда они совсем вышли из моды. И всегда и всюду за председателем следовал помощник, готовый выполнить любое его поручение.

...Послепраздничное утро. Набойченко с горем пополам провел утренний наряд и теперь мучается головной болью.

- Мыкола, - обращается он к верному спутнику жизни.

- Га? - тут же украинец.

- У нас там от рябых быкив ничаго не высталось?

- Та воткуда ж, Захар Тарасыч? - сокрушенно разводит руками помощник, - ти гроши давно уси...

Речь идет о деньгах, полученных за проданную с полгод назад пару колхозных быков, которые, непонятно для каких надобностей, были закреплены за председателем. Часть суммы Захар Тарасыч оставил на "председательские" цели. ("Для устрич уполномоченных и начальства", - доступно разъяснил он помощнику, передавая ему ее для хранения). Но в экстренных случаях председатель не считал зазорным воспользоваться заначкой и для собственных нужд - обычно исключительно "для поправки".

Набойченко с шумом втягивает в себя воздух, шевелит вислыми усами:

- Так найди ж чего-нибудь, Мыкола, ну никакой мочи нема... Дома тебе ждать буду...

Спустя какое-то время Мыкола легкой рысцой устремляется к председателскому дому. Спрятанные за отворотом полушубка две бутылки водки, взятые в долг у продавщицы, греют ему душу. В темных сенях помощник, слышав голос хозяйки, второпях сует бутылки в стоявшую за дверью кадку... "Председателева жинка" весьма критически относится к мужниной слабости по части спиртного. И помощник знает это - сам не раз попадал ей под горячую руку.

- Чего ты, Мыкола? - притворно удивляется Набойченко, когда тот появляется на пороге.

- Та с райкома звонили, Захар Тарасыч...

- И што? - по инерции спрашивает Набойченко.

- Та за работу хвалить...

- Га-а, - удовлетворенно тянет Набойченко и с укоризной глядит на жену: видишь, мол...

- А в чем это у тебя руки, Николай? - вдруг живо интересуется та, - ну-ка, ну-ка - к свету...

- А в чем? - не понимает Мыкола, хотя рукава его полушубка измазаны в муке - не заметил, когда прятал бутылки в кадку с мукой.

- Ах тыж паразит, - жена председателя орлицей бросается в сени и тут же возвращается с вещественными доказательствами, - а ну, геть из дому, и чтоб ноги твоей тут не было!...

..."Поправляется" в этот день Захар Тарасыч исключительно огуречным рассолом.

Конфликт

В колхоз к Набойченко прислали уполномоченного - давнего знакомого. Сперва Захар Тарасыч его ублажал, но тот повел себя заносчиво, всюду совал нос, давал указания. И Набойченко вспылил:

- Да что ты тут раскомандовался?... Колотится, понимаешь, как хрен в жите, и я за ним!...

Тот кровно обиделся и поехал в райком жаловаться. Первый секретарь вызвал Набойченко. Пригласил уполномоченного. Тот произвести оскорбления наотрез отказался - пусть, мол, председатель сам скажет. Набойченко сказал.

- Как-как? - оживился первый секретарь. - Как хрен в жите? Ха - ха - ха! Ну, молодец, развеселил - первый раз такое слышу...

Взглянул на кислую физиономию уполномоченного и поправился:

- Нельзя так, Набойченко, нехорошо, - немного подумал и добавил: - Вы вот что - идите в буфет, возьмите бутылку коньяка да помиритесь...Набойченко, если буфетчица откажет, скажи - я разрешил...

Штрихи времени

Психология очереди

За многие годы Советской власти, особенно за последнее время, у наших людей, а у номенклатурной верхушки в еще большей степени, сформировалась устойчивая психология очереди: ненавидеть тех, кто впереди, презирать тех, кто сзади, и, по возможности, расталкивать локтями тех, кто рядом...

Приходится констатировать: новые времена в этом смысле мало что изменили.

Почем Россия.

Ходил в воскресенье на барахолку. Вот уж куда не зарастает народная тропа: не только все торговые ряды, но и все мало-мальски свободные места заняты торговцами. Их едва ли не больше, чем покупателей. Новые предприниматели хорошо знают друг друга, в случае нужды подстраховывают, обмениваются информацией. Вот одна из "коммерсанток" кричит - через торговый ряд своей знакомой:

- Вер, а Вер, почем у нас сегодня Россия ?

- Да по 57, - тут же откликается та.

Сразу никак не пойму - о чем говорят, о каком товаре речь...Оказывается, это сегодняшний курс валют - российского рубля по отношению к нашему казахстанскому тенге.

И грустно и смешно.

О природе власти

Попадая служить в коридоры власти, люди подчас меняются до неузнаваемости. Там действуют свои, совершенно особые правила игры, свой "кодекс чести", свои модели поведения. Либо ты приспосабливаешься к ним (принимая все это или, во всяком случае, делаешь вид, что принимаешь), либо эта среда быстро отторгает тебя, как некое чужеродное тело.

Но - поразительная вещь - стоит человеку вернуться в нормальную человеческую среду (то есть сменить работу, уйти на пенсию и т.п.), как к нему мало-помалу начинает возвращаться "нечто человеческое" - здравый смысл, трезвый взгляд на вещи, критическое отношение к тем самым коридорам, мифические ценности которых он еще вчера оберегал...

И это не парадокс, а своего рода закономерность. В нормальной житейской среде человек, как правило, остается самим собой - тем, что он есть на самом деле. А там он - крепостной актер и вынужден играть навязанную ему роль. При этом совсем не важно - кто стоит у власти: вчерашние коммунисты или нынешние демократы.

Время собак

Никогда прежде в нашем городе не было столько собак. Нельзя выйти во двор, в парк, на набережную, чтобы не встретить мужчин, женщин, детей, прогуливающих своих любимцев. Каких только пород и мастей тут нет: крошечные болонки и поджарые овчарки, элегантные пудели и огромные доги, разномастные губастые боксеры и бульдоги, воспитанные, причесанные колли и кровожадные свиноподобные питбультерьеры.

Собака становится неким символом времени, знаком принадлежности к состоятельному сословию.

Условно говоря, владельцев собак можно разделить на три группы. Первые, наиболее бескорыстные, заводят их, так сказать, для души, - как средство от одиночества, в какой-то мере заменяющее общение. Вторые - прагматики, и держат собаку главным образом для охраны жилья и имущества. Их тоже можно понять: надеяться сегодня можно лишь на металлические двери с мощными запорами да на четвероногого сторожа.

И, наконец, третьи приобретают собаку, чтобы в полной мере соответствовать своему новому социальному статусу хозяев жизни - это своего рода дополнение к уже имеющемуся суперсовременному интерьеру в жилище, престижной иномарке и т.д. и т.п. Многие молодые и среднего возраста женщины предпочитают рождению ребенка покупке дорогой собаки. Что тут сказать? Наверное, это одна из примет нынешнего времени - времени собак...

Из истории денег

Было время, когда наличные деньги стали страшным дефицитом. И поскольку людям как-то надо было жить, из этой ситуации находили самые невероятные выходы.

На Ермаковском заводе ферросплавов, например, ввели свои собственные деньги - напечатали бумажки разного достоинства, которые выдавались его работникам и принимались в качестве платежного средства в столовых, заводских магазинах и т.д. Инициаторами новшества были коммерческий директор Мухин и

генеральный директор Донской. Заводские юмористы тут же окрестили местную валюту МУДОНами - по начальным буквам фамилий их изобретателей.

Хороший так

Знакомый председатель рассказывал:

- Прислали на уборку уполномоченного. В селе никогда не жил, в наших делах - ни в зуб ногой, но придирчивый, как репей, - все ему объясняй, показывай.

Поехали по полям. Объясняю: "Это у нас кукуруза - убираем на силос". "Хорошая кукуруза", - соглашается. Гречиху показал, она еще цвела, запах медовый - и впрямь красота. "Хорошая гречиха, - констатирует. На бахчу заехали - пообедали, арбуз съели. Он вроде совсем отмяк: "И бахча хорошая..." И дернул же меня черт другим путем возвращаться - попали на забытый участок пара. Его за лето ни разу не обработали - везде бурьян в человеческий рост...Вижу уполномоченный мой вроде подремывает - я и скорость сбросил, чтобы не потревожить...Нет, встрепенулся, холера: а это, мол, у вас что? "Да это у нас так", - только и нашелся что сказать. "Хороший так", - пробормотал он. А я аж взмок: ну, слава Богу, пронесло...

Как рождаются анекдоты

В первые годы целины в нашем только что созданном совхозе парикмахерской не было. Стригли, как могли, друг друга или приводили себя в божеский вид во время поездок в более цивилизованные места.

Один из целинников, украинец, оказавшись по каким-то делам в Купино, зашел в парикмахерскую. Едва усадив его в кресло и взяв в руки ножницы, парикмахер заметил:

- Ну и шея!

- Не поняв? - переспросил его клиент.

- Ну и шея у вас, говорю.

-Так сало емо, - самодовольно пошутил он. Оттого, мол, и шея...

- Да ешьте вы хоть хрен с редькой, а шею мыть все равно надо! - последовало в ответ.

Случай "про шею" стал каким-то образом известен всему совхозу и, обрастая несуществующими подробностями, рассказывается уже как анекдот не одно десятилетие.

Штрихи времени.

Из районной администрации принесли статью - о том, какая проводилась работа во время месячника пожилых людей. Там и упоминались благотворительные обеды, и продуктовые наборы, и материальная помощь. Но больше всего меня поразил такой факт, о котором также не забыли сообщить районные власти: пятидесяти пожилым людям они выделили талоны на бесплатную помывку в бане. Ну, выдали и выдали...Так нет, надо еще об этом раззвонить по всему белому свету.

Песня-96

Много лет любимейшей телепередачей в Советском Союзе была трансляция большого концерта исполнителей советских песен, впервые прозвучавших в уходящем году. Концерт так и назывался - "Песня-75", "Песня-76".

И так каждый год. Концерт этот транслировался первого января, когда все дома, никто некуда не спешит.

В этом году "Песню-96" растянули аж на два дня. В числе прочих, удостоенных дипломов за слова и музыку, была песня в исполнении известного дуэта "Академия". Вот ее припев:

"Ты отказала мне два раза -

"Не хочу", - сказала ты.

Вот такая вот зараза,

Девушка моей мечты."

Этот рефрен - припев приплясывающий дуэт повторяет раз десять - не меньше - под неистовые аплодисменты зала. А телевидение транслирует едва ли не на весь бывший Союз.

Под стать этому произведению и задушевно-проникновенная лирическая песня-исповедь в исполнении не лишенной таланта Ирины Аллегровой. Суть ее: бабушка по имени "хочу" озабочена тем, где бы ей взять дедушку по имени "могу".

И содержание этих (да и не только этих) песен, и то, что они включены, если можно так сказать, в общепризнанный реестр наиболее значительных произведений этого вида искусства - ярчайшее свидетельство общего уровня культуры да и нравов вообще демократической России образца 1996 года.

Какой теперь блат

Представления о блате, как таковом, в наши смутные времена сильно поменялись. Недавно не без труда удалось устроить близкого мне человека - тетку - на работу в контору, которой руководит один мой приятель. Работает тетка-пенсионерка уборщицей - моет полы в служебных кабинетах.

В чем же блат, спросите? А в том, что в этой конторе вовремя дают деньги. В перерасчете на доллары

выходит около полсотни в месяц. Не разбогатеешь. Но тетка довольна, почти счастлива: на прежней работе ей не платили по году - полтора, пенсию приносят с двух-, трехмесячной задержкой, а тут как при коммунизме - два раза в месяц день в день.

Проглядели

Пришел на прием пожилой казах-фронтовик, принес свои воспоминания о войне. Я бегло просмотрел, сказал, что опубликуем. Вроде пора прощаться, а он не уходит, делится своими мыслями о последних событиях глобального масштаба.

- Нет, что бы ни говорили, а при Союзе лучше было...Страна была - весь мир считался. И людям лучше жилось...

И вдруг без всякого подхода, в лоб:

- Ну как же наш КГБ Горбачева проглядел? Как мог допустить на должность - он же враг народа!

Подумал, вздохнул:

- Да, при Союзе лучше было. Но как-то надо жить. Живет же маленькое государство имени Розы Люксембург...Независимое...И нашему Казахстану надо как-то жить, учиться...

Попрощались, пошел, от самой двери вернулся. Смущенно:

- А можно я привет передам?

- Как, кому?

- Ну, через газету - знакомым, однополчанам - мол, живой, здоровый.

- Хорошо, сделаем приписку к вашим заметкам.

Просиял:

- Вот спасибо. Я переживал: вроде неудобно...

Может, из-за "привета" и приходил? Вот тебе и Роза Люксембург.

Дух и тело

Как-то я приехал в гости к брату Петру, аспиранту-филологу. Дело было в разгар перестройки, и он чуть не с вокзала потащил меня на писательскую конференцию, обсуждавшую нравственные аспекты очередного переломного периода нашей истории. Какие-то нормы приличий во взаимоотношениях писателей тогда еще сохранялись, хотя разделение на два противоборствующих лагеря уже явно наметилось. При всем при том редактор "Молодой гвардии" Анатолий Иванов был все еще в силе, а Олег Попцов - пока нет, никто и предположить не мог, что он станет сподвижником первого российского Президента, основателем российского телевидения.. Были там, конечно, и другие литераторы, этих же я назвал лишь потому, что тогда они представляли, скажем так, два разных идеологических крыла российской словесности.

Конференция шла себе, ни шатко ни валко, пока слово не предоставили Вениамину Каверину. Каверин был настолько стар и немощен, что почти не мог самостоятельно двигаться. На сцену, к трибуне, его буквально под руки вывели два каких-то молодых человека. Но речь, которую он произнес, была впечатляющей - безукоризненной по форме, язвительной по содержанию, емкой. О том, что она достигает цели, было видно по тому, как наливался краской Анатолий Иванов, у него даже шея побагровела. При этом Каверин был абсолютно в рамках приличия, он не произнес ни одной оскорбительной фразы.

Закончив выступление, Каверин свернул свои листки, опустил их в карман и, отступив буквально полшага от трибуны, стал беспомощно оглядываться по сторонам - у него не было уверенности в том, что он сам сможет добраться до своего места в зале. Ему опять помогли.

Мне и потом не раз приходилось встречать людей такого рода: плоть их уже почти умерла, а дух оставался могучим, сознание - нисколько не затуманенным, ум продолжал работать, несмотря ни на что.

Моя американская одиссея

О. Н. Григорьевой посвящается

Как я чуть не поехал в Америку

- Твоя жизнь прошла напрасно, - сказала мне жена.

- Что ты имеешь в виду?

Я сделал вид, что обиделся, хотя примерно догадывался, о чем она ведет речь. Это была старая песня...

- Ну, что ты в своей жизни видел? Ты даже Черного моря не видел, не говоря уж про океан.

- Это ты брось, - осторожно начал я выстраивать линию обороны, зная, что атака - всерьез и надолго. - Я вырос в тьму-таракани и закончил столичный университет - с отличием, между прочим... Женился на тебе, детей родил...

Аргументов было явно маловато, и я сдержанно, но с достоинством закончил:

- Две книги написал...

- Скажи еще, что смородину и баклажаны на даче выращиваешь, - с презрением продолжила жена и снова

перешла в решительное наступление. - Ну почему какой-то Коровин катает каждый год - то в Японию, то в Канаду, то в Америку... А ты себе это можешь позволить?

С Коровиным мы вместе учились. У него особый талант - уметь быть нужным... нужным людям, притом всегда с пользой и для себя. Но ведь это получается не у всех... Все же я собираюсь с духом и начинаю перечислять, где успел побывать за свои сорок лет: Ташкент, Фрунзе, Свердловск, Витебск, это все, кстати, теперь за граница... Я был на запуске космического корабля на Байконуре и при взрыве последнего ядерного заряда на Семипалатинском ядерном полигоне...

Кажется, у меня вот-вот откроется второе дыхание, но надо же что-то оставить и про запас. Выдаю напоследок:

- Я стоял на берегу Финского залива... А это почти что океан...

- Как же это ты ещё про Железинку забыл? - ехидно сказала жена.

- А что Железинка, - подрастерялся я, - это моя родина, я ее люблю...

- Люблю... Дай тебе волю - всю жизнь бы там и просидел... И вдруг без всякого перехода - под дых:

- Ты мне Японию обещал?

- Обещал, - грустно согласился я.

- А Францию?

- И Францию... Но какие наши с тобой годы?

- На том свете мне будут твои Япония с Францией, - вынесла приговор жена и ушла, оставив меня наедине с расстрепанными мыслями и грудой грязной посуды.

Конечно, я был расстроен, но не так чтобы очень: разговор на эту тему был не первый и, наверняка, далеко не последний. Но вскоре случилось нечто совсем невероятное: ко мне пришли представители некоей алматинской фирмы, организовавшей вояжи наших казахстанских туристов за океан, в Соединенные Штаты, на Олимпийские игры в Атланту. Пришли они для того, чтобы предложить такую поездку мне.

- Вы что это серьезно, ребята? - меланхолично спросил я, думая о чем-то своем.

- Вполне, - веско сказал один, представившийся вице-президентом этой самой фирмы. - За нами стоит правительство рекомендует включить в группы туристов работников прессы, которые должны рассказать людям о том, как выступают наши олимпийцы. В программе поездки также посещение Нью-Йорка, Вашингтона, Майямы... Деловые встречи, семинары, отдых в отеле на берегу Атлантического океана... Да вот тут у нас проспекты - можете посмотреть...

- И сколько же это удовольствие стоит? - просматривая между делом принесенные из типографии полосы, равнодушно поинтересовался я, поскольку был все еще очень далек от того, что мне говорили.

- Семь тысяч долларов, - сказал вице-президент, который чем-то походил на вахтера из нашего гаража, - но платить можно по частям... Рекламой тоже можно...

Я прикинул: это ж сколько будет рекламы? Выходит на полмиллиона с лишним тенге... Разговор явно надо было заканчивать...

- Нет, ребята, дорого... Да я, собственно, и не собирался...

- Судьба дает вам шанс, - не сдавался вице-президент, - Америка, Олимпиада, лучшие в мире океанские пляжи... Из вашей области должны поехать почти восемьдесят человек. Ну, чем вы хуже их?

"Хорошо, что жена тебя не слышит", - с опаской подумал я и распрощался с ними, пообещав подумать.

Поразмыслив немного, созвал для совета членов редколлегии. Слегка смущаясь, изложил суть дела.

- Пуркуа па, как говорят французы, - философски заметил заведующий отделом культуры эстет Крапивин и мечтательно вздохнул: - Я бы в Париж поехал...

- Я - "за", - как всегда кратко и исчерпывающе изрек ответсек Кричевский.

- Раз в жизни, - вздохнула вечно печальная профорг Менделеева, - что тут думать?

- Посоветоваться надо, - неопределенно сказал замредактора Дубяго, переживший уже трех редакторов. Не ожидавший такой реакции (почти все - "за"), я призадумался.

Дальше все вообще было как в сказке. Пока я сидел и раздумывал - звонить или не звонить в наш местный белый дом, как мне самому оттуда позвонили:

- У нас есть к вам просьба...

"Вот и хорошо, - подумал я, - у вас к нам просьба, и у нас к вам просьба..."

- Мы просим вас съездить в Атланту, - это было сказано сразу, без всякой подготовки, как будто мне предлагали отправиться куда-нибудь в Баянаул, - сейчас как раз последняя группа формируется, у вас, говорят, были представители, а вы сомневаетесь... Не сомневайтесь... Обратите там внимание на ритуальные мероприятия: у нас ведь тоже скоро международный турнир - может, потом что и подскажите...

Все это - и тон, и аргументация - было настолько невероятным, что мне тут же вспомнилось предупреждение знакомого, настоящего гроссмейстера от номенклатуры, величайшего знатока придворных интриг. Наблюдая иной раз преувеличенную ласковость к себе со стороны властей, он хладнокровно констатировал:

- Знаем мы эти восточные хитрости - будут держать в объятиях, пока не задушат.

Меня продолжали терзать сомнения. Не то чтобы я не хотел в Америку, но как-то все это неожиданно свалилось... Некстати... На работе все в отпусках, на кого оставить дачу? Денег опять же нет - разве те, что на мягкий уголок собрали?

- Ну вот, можем, если захотим, - с удовлетворением сказала жена, когда я ей все рассказал. - А я как раз тебе летние брюки присмотрела, и недорого... В них и поедешь. Так, еще шорты надо, новую дорожную сумку... Выходной костюм есть - возьмешь, у вас же там и приемы, конечно, будут...

- Какие приемы, - вяло запротестовал я, - мы же - туристы.

- Я лучше знаю, - железным тоном сказала она, будто только вернулась из Америки, и я понял - лучше смириться.

Следующие дни прошли как в кошмарном сне - надо было собрать уйму документов, купить недостающие вещи, доделать срочные дела на работе. Помимо всего прочего, с меня затребовали характеристику с места работы, справки о зарплате за два последних года и о составе семьи, о наличии домовладения, о группе крови и резус-факторе, копию свидетельства о браке, штук шесть фотографий специального образца... Я заполнял какие-то анкеты, и все это приходилось не по одному разу переделывать. Дома пытка продолжалась.

- А куда пойдут эти документы? - спрашивал старший сын.

- В американское посольство.

- А вдруг там узнают, что ты говорил об Америке?

- Что я говорил?

- Что это сытая и самодовольная страна...

- Ну и что?

- Как что: ты позволил себе неуважительное высказывание о США, - не унимался он. - Да и американский посол тебя наверняка приметил: когда он приезжал к нам и проводил пресс-конференцию, ты задавал ему каверзные вопросы...

- С чего ты взял?

- Да её по телевизору показывали, ты ещё говорил, что их дрянные третьесортные фильмы портят нашу молодёжь.

- Ну, и правильно!

- А они тебя зарубят!

- Не ссорься, - вступала в разговор жена, - ты иди готовься к сессии (это сыну), а ты лучше проштудируй материалы об Атланте - я тут тебе приготовила. Там единственный в мире музей бабочек, музей героев фильма "Унесенные ветром"... Все посмотри, каждый вечер записывай впечатления - будешь нам рассказывать. Мы тебе список составим - что привезти.

На работе было не легче. Звонили друзья, знакомые и совсем малознакомые люди - казалось, у всего города не было других дел, кроме моей предстоящей поездки.

Пришла директор местного театра моды Райса. Увидев ее роскошные оголенные плечи, я слегка оробел.

- В Америку едете, - скорее утвердительно, чем вопросительно сказала она, - поздравляю.

- Собираюсь, - ответил я сдержанно.

- Купите у меня чапан. Шикарный - второго такого в Павлодаре нет. И недорого - всего 15 тысяч.

- Райса, - взмолился я, - ну, зачем мне чапан? В Атланте пятидесятиградусная жара - олимпийцы падают в обмороки!

- Но это же лучший сувенир, - не отступала она, - каких-то 200 долларов, и вы будете там как король...

Сестра с зятем устроили в мою честь прощальный торжественный ужин. Я пытался было протестовать: до поездки минимум две недели, вдруг сорвется, а тут расходы.

- Нет уж, - веско сказал зять, - положено. А вдруг потом не успею тебя позвать...

И мы с ним уничтожили за вечер львиную долю их запасов спиртного.

Между тем пролетали дни, мы уже перечислили фирме положенный по договору первый денежный взнос, время от времени я позванивал туда, и меня бодро заверяли, что все идет как надо, и как только меня включают в группу, мне тут же сообщат о дне вылета. А мою бедную душу опять терзал червь сомнения: я боялся, что такая огласка и все наши грандиозные приготовления могут спугнуть (если уже не спугнули) мою удачу, и поездка может не состояться.

Я знал дату вылета группы из Алматы и ровно за трое суток опять позвонил в фирму. Меня опять заверили и сказали, что надо на всякий случай заказать билет в Алматы. Я заказал. И тут же мне позвонили из фирмы:

- Вы понимаете, тут такое дело...

- Какое? - холодеющим голосом спросил я.

- Эти американцы из посольства, они все время меняют условия. То они работают в субботу, то отказываются.

То у них одни требования, то другие...

- Вы можете сказать мне, что случилось?

- Ваши документы не успевают пройти через посольство США. Но вы можете еще успеть, если сейчас же выедете в Акмолу, оттуда есть завтра утром самолет в Алматы. Вы прилетите, поедете в посольство...

- Идите вы вместе с вашим посольством, - прервал я этот словесный поток и, чтобы не уточнять, куда идти с посольством говорившему, положил трубку.

Наверное, я был похож на боксера, уже попавшего в нокаут, но еще не понимающего, что с ним произошло. Все же создал тех, кто подтолкнул меня к мысли пуститься в эту авантюру.

- Се ля ви, - сказал эстет и циник Крапивин.

- Ну, и хрен с ней, с Америкой, - сказал ответсек Кричевский, - мы с тобой лучше на рыбалку поедем.

- Как бедному жениться, так и ночь коротка, - жалостливо поджала губы профорг Менделеева.

- Может, еще не поздно через Акмолу, - заметил осторожный Дубяго.

Но я уже принял решение.

Осталось сообщить все домашним. Мудрая мать с каким-то облегчением сказала:

- Не горюй, сынок: семь лет мак не родил - и голоду не было.. Ну ее, эту Америку... Там вон на днях самолет упал, бомбу в этой самой Атланте взорвали...

А жена так и не смирилась:

- Не может этого быть, - сказала твердо, как будто с вызовом, - не верю...

Плевать мне было на Америку. Не очень-то и хотелось.

Мне жену было жалко.

Как я открывал Америку

На вечер у меня была запланирована поездка на дачу - полоть, поливать. Дача - великая вещь для нас, бывших советских граждан - скрашивает жизнь, кормит... И, вообще, там некогда размышлять о бренности бытия - работать надо...

Но что-то произошло в недрах неведомого мне таинственного механизма - провернулась какая-то шестеренка... Или на небесах кто-то замолвил за меня словечко... Когда я пришел с работы домой, мать вполне обыденно сообщила:

- Америка твоя звонила...

- И что?

- Говорят - завтра надо быть в Алматы.

Не помню уже, что я испытывал в те минуты. Но хорошо помню, что взялся составлять список неотложных дел - служебных, домашних и, наконец, связанных с предполагаемым путешествием. Набралось что-то около двадцати пунктов. И на все про все у меня была ночь и пара утренних часов - самолет улетал в 12 дня.

- Успеем, - привела меня в чувство жена, как бы между делом заметив: - Нисколько не сомневалась, что так все и будет - вечно ты паникуешь.

Как позже выяснилось, судьба моя решалась примерно в то время, когда наш самолет болтался в небе где-то между Павлодаром и Алматы - я оказался в числе немногих счастливицков, попавших в последний трамвай - тех, кому въездные визы посольство выдало буквально накануне поездки.

Говорили - мне еще повезло, меня миновала участь так называемого интервью, через которое пришлось пройти очень многим. Документы одних (как я понимаю, наиболее благонадежных - с точки зрения американцев) рассматривались заочно, а другие должны были пройти это самое интервью, то есть собеседование, в посольстве США. Процедура большей частью малопрятная, если не унижительная. Досмотр на входе с пристраемом - разве что не ошупывают. Разговор с чиновницей - в специальной комнатке - через застекленное окошко. Результат сразу не объявляется: "О решении вы будете извещены". Если верить представителям туристической фирмы, с которой мы имели дело, отсеивался примерно каждый третий. До объяснений мотивов отказа в выдаче визы чиновники посольства, само собой, не опускались.

Что же интересовало сверхбдительных американцев в наших отнюдь не богатых событиями биографиях? Ведь количество заготовленных нами справок и без того превышало разумные пределы.

Вот они, эти вопросы.

- Давно ли работаете в этой должности? (Варианты: если давно, то почему все время на одном месте, а если недавно, то почему часто меняете место работы?)

- Каков заработок? (У самих американцев спрашивать об этом, кажется, не совсем прилично).

- Какова профессия жены и каков ее заработок?

- Есть ли квартира (дом) и каких размеров?

- Кто принимал решение о поездке и кто ее оплачивал?

Оказывается, таким образом, как пояснили мне сведущие люди, определялась крепость семейно-служебно-финансовых уз потенциального туриста с Отечеством (теперь ясно, для чего с нас требовали уйму, казалось бы, ненужных справок). Многих потому и "зарубили", что заподозрили в них потенциальных "невозвращенцев"; кто их знает, этих казахстанцев - наверное, спят и видят себя американцами?

Хотя, справедливости ради, надо сказать, что не только они нас ставили в тупик своими вопросами, но и мы их - своими ответами.

- Какие виды олимпийских соревнований вы мечтаете посетить? - спросила посольская дама начинающего бизнесмена Лешу из Шымкента (так он сам всем представлялся).

- Шахматы, - ни секунды не задумываясь, ответил он.

Наверное, это было самое короткое "интервью" - во всяком случае больше вопросов Леше не последовало. И он был допущен в Америку. Наверное, оценили чувство юмора, хотя, как мы имели возможность позднее убедиться, именно его он был лишен начисто.

В конечном счете из почти тысячи казахстанских туристов, отправившихся за океан, перебежчиков не оказалось ни одного. Что уж тому причиной - наш собственный патриотизм или бдительность дотошных американцев, вовремя распознавших и отсеявших будущих нелегалов, не знаю... Мне кажется, все же наше отечественное здравомыслие...

Но не будем больше о грустном: все же мы летим в Америку, и почти все впервые... Страну, которая существует в сознании каждого как бы отдельно от всего мира: есть много стран - и еще Америка - сама по себе.

Мы открывали ее двенадцать дней. И самих себя - тоже. Мои впечатления о поездке - как детский калейдоскоп: беспрерывно меняющиеся города и пейзажи, картины жизни, неожиданные образы, много человеческих лиц... Удивление и разочарование - много всего. Целостная картина из всего этого никак не складывается - поэтому пусть будет мозаика...

* * *

В международном аэропорту Шереметьево тесно от скопления самолетов, автомобилей, людей. Кажется, здесь все - даже само здание и воздух в нем и над ним - вибрируют от напряжения. Людские реки и ручейки беспрерывно текут отовсюду, во всех направлениях, перемешиваются, разделяются и снова перемешиваются. Возникает ощущение собственной малозначительности, заброшенности, ненужности... Неуютно... Выискиваю

взглядом своих. Ага, вот он, Леша из Шымкента. Почти родная душа - вроде сразу полегчало. У Леши - своя беда: купил вчера в Алматы большую китайскую сумку - специально для поездки. Сумка необъятных размеров, а выбрал он ее еще и потому, что она на салазках, к которым приделаны колесики, чтобы сумку можно было катить. Как только он попробовал это сделать, колесики отвалились вместе с салазками... Леша расстроен чуть не до слез:

- Ну китайцы, ну паразиты - на сутки не хватило!

* * *

В Алматы на собеседовании представители туристической фирмы наставляли:

- И ради Бога, ведите себя прилично... А то наши уже отличились: устроили драку в ресторане, в бассейн наблевали...

Об этом поневоле вспомнил, когда летели еще до Москвы. В аэробусе ИЛ-86 нас было человек под триста. Едва взлетели, мужики ломанулись в хвост курить. Дым - хоть топор вешай. Это после всех разъяснений-предупреждений о том, что именно там курить нельзя, что есть специальные места для курения, надо лишь сказать при регистрации, что надо место в "отсеке" для курящих... Старший бортпроводник, молодой парень, устав от бесплодных увещаний, чуть не взмолился:

- Да поймите же, наконец, здесь хранятся емкости с кислородом - самолет взорвется!

Вроде подействовало. Но не на всех... Хотя на "американском" отрезке полета парни вели себя поприличнее - во всяком случае подобных эксцессов не возникало.

Я все пытался увидеть в иллюминатор океан, но так и не рассмотрел: то ночь была, то за облаками летели. И каков он, океан, с высоты в девять километров - не знаю...

Нас два раза плотно покормили. Набор блюд был примерно тот же, что и на предыдущем отрезке пути, за исключением разве того, что здесь перед едой подавали еще горячие салфетки - протереть руки. Это дало основание моему соседу ехидно заметить: вот, мол, тот же "Аэрофлот", а уровень сервиса отличается - это у них настоящая заграница, а наш Казахстан - серединка-наполовинку...

Слушая его добродушное (скорее, по инерции) ворчание, я вспомнил услышанный от брата, учившегося в Ленинграде, рассказ директора Пушкинского дома Скатова о том, как он и двое его знакомых писателей впервые летали в Америку. Времена были не чета нашим, такие выезды случались крайне редко, и они по известной русской традиции просто не могли не отметить это дело, для чего и прихватили бутылку коньяка. Выпить решили над океаном. Только достали бутылку - тут же возник стюард-американец, всем своим видом показывая, что готов служить. "Да ладно, мы сами", - сказал один из спутников Скатова. Но стюард не уходил. Второй поднапрягся и выдал что-то вроде: "Сэнкью, мистер! Ноу проблем!" Стюард по-прежнему стоял, готовый исполнять свой долг до конца. "Что за порядки, даже выпить по-людски не дадут!" - обиделся первый и спрятал бутылку назад.

Так в этот раз и не выпили.

Зато наши оказались без комплексов. Выпивали и закусывали предусмотрительно захваченной с собой снедью. Наш самолет чем-то напоминал караван-сарай: едят, пьют, переговариваются... У кресел преферансистов шум стоит - как на стадионе. Некоторые при всем при том еще умудряются спать... В самом конце полета случился небольшой казус. По радио объявили: скоро будем в международном аэропорту имени Кеннеди Нью-Йорка, запрещается ввоз на территорию США продуктов питания, семян, ввоз спиртного ограничивается одним литром.

Кое-кому пришлось досрочно расстаться с домашними мясными деликатесами, а у Леши из Шымкента возникла такая деликатная проблема.

- Слушайте, - повернулся он к нам со своего кресла, - у меня водки больше нормы!

- И много? - деловито поинтересовался мой сосед.

- Триста восемьдесят граммов...

- А 120 отпил что ли? - удивился сосед.

- Скажешь тоже, - обиделся Леша. - Посуда такая - плошка... Может, выпьем её?

- Поздно, Леша, - веско сказал сосед, - раньше надо было думать...

- Как же быть, мужики? - заволновался Леша. - А если меня тормознут с ней...

- Может, и не тормознут, - рассудительно сказал сосед, он явно забавлялся, - а могут и тормознуть. Скажут, пустили тебя как человека в Америку, а ты... Как думаешь, сразу домой отправят, если прижучат, или только штрафанут? - уже обращаясь ко мне, спросил он.

Я пожал плечами. На Лешу было жалко смотреть: он и скандала боялся, и с лишней водкой не желал расставаться...

Увиделись мы снова уже в аэропорту, у места сбора группы.

- Ну, как дела, контрабандист? - спросил мой бывший сосед.

- Как надо, - невозмутимо ответил Леша, любовно поглаживая баул, - никто и смотреть не стал мою сумку.

В наши сумки, впрочем, тоже никто из таможенников даже не заглянул.

* * *

Мы живем на Манхэттене, в самом престижном и дорогом районе Нью-Йорка. За окнами нашего отеля празднично шумит Центральный парк - одно из любимых мест отдыха нью-йоркцев. И мы, едва успев бросить свои вещи и умыться, устремляемся навстречу этой чужой жизни и сразу растворяемся в толпах праздных американцев.

Вторая половина воскресного дня. Играет джаз-оркестр - уличные музыканты зарабатывают себе на жизнь. А неподалеку от них пожилой негр - сам себе оркестр - наяривает какую-то сумасшедшую мелодию,

самозабвенно стуча деревяшками по старым сковородкам, тазам, кастрюлям. Не знаю, как другие, а сам он, кажется, получал от своей игры немалое удовольствие. Ему щедро подавали... Художники - совсем как на московском Арбате - продавали свои картины, и так же, как на Арбате, их мало кто покупал.

На улице пахло конским потом. Экзотические экипажи в старинном стиле с кучерами в нарядных ливреях выстраивались в очередь за желающими прокатиться... Выворачивали откуда-то диковинные двухъярусные автобусы, все пассажиры которых умещались на верхней "палубе" - наверное, оттуда было лучше видно... Американцы бродили, катили на роликовых коньках и велосипедах, обнимались, жевали, сидели на скамейках и лежали на газонах. Казалось, никому ни до кого нет дела... И в то же время во всем этом была своя гармония - умиротворяющая праздная гармония...

Ночной Нью-Йорк мне запомнился меньше. Два раза встретилась нищая - неопределенного возраста негритянка с изможденным лицом и полупотухшим взглядом. Она была одета в какую-то черную полиэтиленовую накидку. Кажется, это была ее единственная одежда.

Где-то уже к полуночи забрел в магазинчик. Сувениры, подарки, галантерея. Вдруг решил, что нужно что-нибудь непременно купить на память. Выбрал зонтик за 16 с чем-то долларов. Прикинул: ну и что ж, что за тысячу с лишним тенге - зато потом скажу: в ночном Нью-Йорке купил, на Манхэттене...

Продавец-негр глядел на меня с некоторым недоверием, и я сделал энергичный жест: не сомневайся, мол, беру... А когда рассчитался, он вдруг пришел в неопишуемый восторг: стал приплясывать, похлопывая себя руками по груди, животу, бедрам.

"Чего это он так радуется? - недоумевал я, - странный народ, эти американцы..."

Причина его веселья стала очевидной уже утром следующего дня: красная цена купленному мной зонтику была от силы пять долларов. Наверное, вчера ночью негр принял меня за сумасшедшего. В самом деле: разве станет нормальный человек в отличную погоду, в полночь, покупать зонтик в самом дорогом районе города, если завтра утром точно такой же рядом можно приобрести втрое дешевле?

Впрочем, подобным способом в ту ночь Америку открывал не я один. Ужин нам был заказан в ресторане с интригующим названием "Харлей Дэвидсон". Это позднее мы поймем, что у нас с американцами, в общем, достаточно разные представления о том, каким должно быть заведение подобного рода. А тогда... Нас провели в нижнюю часть двухуровневого помещения, где стояли столы человек на 8-10 каждый и был полумрак. Надо сказать, мы успели порядком проголодаться и рассчитывали, как минимум, на плотный ужин, а иные и на дармовую (то есть в счет оплаченных путевок) выпивку. Но пока что на столах стояла лишь "Кока-кола" со льдом да еще картофельные чипсы в одном большом блюде - сразу на всех. Общаться меж собой нам было затруднительно - в верхней части зала все гремело и ходило ходуном - там происходило что-то до боли напоминающее молодежную дискотеку.

Не дождавшись радующих глаз и волнующих душу батарей бутылок с водкой и коньяком, часть нашей казахстанской братвы заметно приуныла. И кое-кто решил взять инициативу в свои руки. За нашим столом это был начальник транспортной инспекции из Жезказгана. Он решительно поманил к себе девушку-негритянку, буквально летающую от стола к столу. Та мигом примчалась - голова в кудряшках, улыбочное лицо, глаза сияют.

- Мисс... Миссис... - на этом более чем скромные запасы английского закончились, и он уже без церемоний продолжил:

- Водка у вас тут есть? Водка...

- Йес, водка, - повторила она, улыбка не сходила с ее лица, - ван, ту, водка?

- Ты глянь, понимает, - заулыбался в ответ инспектор и повернулся к нам, - кто еще будет?

Пожелал еще один. Она принесла им по сто граммов, и поскольку про оплату речь не заходила, они повторили еще и еще.

Нам подавали какое-то первое, уже не помню его вкус, и второе, напоминающее рулет из ливера. "Харлей - Дэвидсоновская" кухня, честно говоря, пришлась мне не особенно по вкусу, и я отправился бродить по ночному Нью-Йорку. А горячим казахстанским парням пришлось выложить за выпивку (только за нее, ужин был оплачен) почти полста долларов на двоих. Итого, если перевести на тенге - примерно по полторы тысячи на брата. Не хило, как говаривает один мой знакомый, в среднем по пятьсот тенге за каждые сто граммов. Кажется, водку они в Америке больше не заказывали ни разу.

* * *

Еще мне досталось немного утреннего Нью-Йорка. Было что-то около шести утра. Не спалось - видно, сказывалась почти двенадцатичасовая разница во времени. Город еще не успел очиститься от выходного и был изрядно замусорен (сорят, оказывается, и тут, хотя чуть ли не на каждом шагу расставлены специальные контейнеры для мусора). Еще почивали на тротуарах нью-йоркские бомжи - кто с удобствами (походным матрасиком, неким подобием подушки), а кто совсем налегке - с газеткой под боком или совсем так, где-то между тротуаром и проезжей частью улицы.

Но уже спешили на службу энергичные американцы, были открыты некоторые уличные киоски, из которых тянуло запахом свежих булочек и ароматного кофе. Дворники поливали и скребли асфальт у парадных подъездов офисов. Город отряхивался от сна, потягивался, прихорашивался, начиная новую трудовую неделю.

* * *

Экскурсия по Нью-Йорку. Экскурсовод старается во всю:

- Нью-Йорк - самый американский город Америки... (Это не оговорка).

- Здесь самые высокие в мире небоскребы.
- Бродвей - самая длинная улица в мире.
- Бруклинский мост... Статуя свободы... Небоскребы-"близнецы"...
Ну, совсем как у нас в Экибастузе:
- Угольный разрез "Богатырь" - самый большой разрез в мире! Здесь работают самые высокопроизводительные в мире роторные экскаваторы!
- Дымовая труба ГРЭС-2 - самая высокая труба в мире!
- Из Экибастуза ушел самый длинный и тяжелый в мире угольный состав весом в 40 с лишним тысяч тонн и длиной четыре с половиной километра...
Иногда только со временем понимаешь, что зачастую "самое-самое" отнюдь не то, чем надо гордиться. Наверное, в какой-то мере это относится и к Нью-Йорку. Во всяком случае на экскурсию в негритянский Гарлем нас не повезли. Видно, не хотели нам портить впечатление после Манхэттена.

* * *

Здания на Брайтон-Бич стоят, тесно прижавшись друг к другу - не всегда разберешь, где кончается одно и начинается другое. Выражение "каждый квадратный метр - на вес золота" не кажется здесь слишком сильным. На Брайтон-Бич, или "на Брайтоне", как выражаются здешние жители, обосновались многие выходцы из бывшего Советского Союза. Тут много вывесок на русском языке - магазин "Черное море", ресторан "Украина". Здесь продают американские газеты на русском языке. У продавщиц некоторых здешних магазинов такие до боли знакомые - скучающие надменно-холодные лица, что начинаешь сомневаться - где ты находишься, и надо ли было почти сутки лететь, чтобы такое увидеть... В магазине телерадиоаппаратуры Глеб Жеглов втолковывает с экрана чистоплюю Шарапову: "Вор должен сидеть в тюрьме, понял?!" Идет очередная серия любимого советским народом сериала "Место встречи изменить нельзя". "На Брайтоне" торгуют с уличных лотков книгами. Нашими книгами - сказки Пушкина, "Мастер и Маргарита" Булгакова, трехтомник Довлатова. Берут, как и у нас дома, не очень.

Пожилой мужик на обочине дороги. Просит милостыню, на русском. Стоило ли ради этого ехать за тридевять земель, тем более что подают, кажется, негусто...

Бывших наших тут вообще ни с кем не спутаешь. Вот уже немолодая чета явно бесцельно бредет по тротуару. Только подумал: "Вроде наши", - как они меня уже вычислили:

- Пойди, не спеши, поговори с земляками!

Я притормозил.

- Откуда вы?

- Из Кызыл-Орды, - сказал мужчина.

- Наверное, недавно? - спросил я. - Вон еще загар не сошел...

- Уже два года.

- Ну, и как вам тут живется?

- Ничего, жить можно...

- Пенсию получаем, - добавила женщина.

Говорить, в сущности, было не о чем. Но я чувствовал: им не хочется, чтобы я уходил. Так мы и стояли какое-то время, вяло перебрасываясь фразами. Даже по тому, как заучено они хвалили свое здешнее житье-бытье, мне было ясно, что живется им не слишком здорово, а главное - одиноко... Узнал потом: я был не единственный из группы, кого они "поймали" в тот день "на Брайтоне". Просто людям хотелось отвести душу - повидаться с земляками, пусть и незнакомыми.

Обедали мы в тот день тоже "на Брайтоне", в русском ресторане "Украина". Хотя, впрочем, русским его называют по инерции (для американцев все выходцы из бывшего Советского Союза - русские), на самом деле рестораном владеет бывший боксер из Киева. Обед был обильный, хлебосольный - с привычными для нас холодными закусками (даже селёдкой с луком попотчевали), черным хлебом (по нему мы тоже успели соскучиться), борщом, картошкой с мясом и жареными цыплятами.

Правда, традиционная американская "Кока-кола" со льдом была тоже. Кое-кто и к рюмке приложился, но уже без всяких иллюзий насчет "халявы"...

Все как-то отмякли, подобрали - вроде дома побывали... И хозяин был, похоже, растроган не меньше нашего: во-первых, так сказать, оптовый посетитель (нас было человек двести), во-вторых, сколько теперь будет разговоров "на Брайтоне" о том, как он угощал земляков. А это хорошая реклама ресторану, который по нашим меркам и рестораном назвать трудно... В самом деле: не очень просторное, более чем скромное помещение, минимум всякого дизайна, зато - максимальное использование любого свободного пространства. Если есть нужда, как это было в случае с нами, в ход идут и недлинный коридор, и небольшой вестибюль - все заставлено столиками. При желании некоторым из посетителей достаточно, встав прямо из-за стола, сделать несколько шагов - и ты уже на улице. В самом прямом смысле слова: еще два-три шага - и вот она, проезжая часть.

Хотя справедливости ради надо сказать, что предприимчивостью по этой части отличаются не только наши бывшие соотечественники. В Вашингтоне мы были на экскурсии в здании бывшей железнодорожной станции, превращенной в музей. Так вот там нам был заказан обед в ресторане "Америка". А представлял он собой квадрат общего зала музея, который отгорожен канатами. За ними и стояли - впритык - переносные пластиковые столики с такими же стульями. А на обед были сэндвичи (по-нашему - бутерброды с мясом и сыром), правда, солидных размеров. Мы их жевали, запивая все той же ледяной "Кока-колой", а вокруг клубился народ...

* * *

В Вашингтоне мы были недолго, чуть больше суток. Строгость и некоторая чопорность столицы здесь (как, впрочем, и везде в Америке) соседствует с простотой нравов: буквально в нескольких сотнях метров от здания Капитолия привольно разложился на газоне пожилой негр - прямо скажем, не в смокинге, с многодневной щетиной на щеках и, похоже, давно не мывшийся. Чувствовал он себя вполне комфортно и, кажется, совсем не оскорблял своим видом патриотических чувств шествующих мимо соотечественников. В самом здании Капитолия (конгресса США) нос к носу столкнулся с Лешей из Шымкента. Он был возбужден.

- Слушай, я тут только что в туалет ходил!

- Поздравляю, - сдержанно сказал я.

- Да нет, ты, наверное, не понял - здесь, в Капитолии!

- И что, там что-нибудь особое?

- Да нет, ну не поверят же, когда дома рассказывать буду, - не унимался он, - а может, там сфотографироваться надо было?

- Конечно, - сказал я, - и это еще не поздно...

... По прохладным коридорам Конгресса текла по все стороны разномастная, разношерстная публика - в джинсах, шортах, кроссовках, легкомысленных маечках... Как-то не очень привычно было видеть среди этой пестрой праздной толпы элегантных солидных мужчин в строгих пиджаках и галстуках. Наверное, среди них могли быть и конгрессмены. И никто из них почему-то не раздражался, не жаловался на то, что празднующиеся туристы со всего мира болтаются у них под ногами, мешают работать. А может, они уже привыкли к такому соседству и в тиши им будет попросту скучновато заниматься законотворчеством?

* * *

Вечером нам устроили прогулку на теплоходе по Потوماку - реке, на которой расположилась столица США. Здесь и ужинали. В нижнем зале было тесно, шумно. За соседним столом земляки-южане праздновали очередной день рождения. Они непременно хотели водку в бутылках, а официантка доброжелательно объясняла им, что это невозможно...

- Что за порядки - бутылку на стол нельзя поставить! - возмущался "именинник", - А порциями, говоришь, хоть сколько? Так, нас пятеро... Неси пятнадцать порций... Ну, давай-давай, родная, трубы горят...

Скоро в зале стало весело, начались танцы. А я поднялся на верхнюю палубу, где было почти пусто. В темном небе кружили самолеты - рядом на берегу был международный аэропорт. Другой берег зеленел зарослями, травами - было похоже на нашу пойму. А где же тогда комары? Один все же залетел, но какой-то вялый, неубедительный... Куда ему до нашего "фирменного" с Иртышской поймы!

* * *

- Все, больше не расслабляться, - сказал я сам себе где-то в середине нашего путешествия, - пора браться за покупки.

Теоретически это было сделать нетрудно: и в Вашингтоне, и в Атланте, и в Орланде нас специально вывозили в магазины. Это называлось шопинг. Обычно мы приезжали в какой-нибудь супермаркет, как правило, огромный - с десятками, если не сотнями отделов - и разбрелись по нему - как по небольшому городу. Памятуя о первом печальном опыте приобретения зонтика, я дал себе зарок - больше не попадать впросак. Но на практике это получалось плохо. Первое время я вообще старался не ходить по супермаркетам в одиночку, боясь заблудиться. А когда чуть освоился и все же выбрал, как мне было велено, кроссовки "Адидас" для сына и "Рибок" для жены, то оказалось, что они не американского, а китайского производства... Китайскими же оказались тапочки-сланцы, которые я присмотрел для другого сына... Женские модельные туфли... Фирменные полиэтиленовые пакеты... Кепки-бейсболки... Фотоаппарат известной японской фирмы "Олимпик", который я купил, чтобы запечатлеть для истории свое путешествие, тоже был китайского производства... И стоявшие в супермаркете, телевизоры-видеомагнитофоны-видеокамеры фирм "Панасоник" и "Сони"... И все это в Вашингтоне - можно сказать, самом сердце Америки.

Сначала все мы были в шоке: над нами издеваются, что ли - у нас у самих китайского одноразового барахла пруд пруди. Но, как объяснили нам знающие люди, оснований для паники нет: да, все это китайского производства, но отменного качества. Можно, конечно, поискать и найти американские кроссовки и японскую телевидеоаппаратуру, но нет смысла: стоить это будет много дороже, а качество примерно одинаковое. Вот так трудолюбивые китайцы без рекламы и шума завоевывают Америку. И не только по линии так называемого ширпотреба. Почти никогда не пустуют здесь китайские рестораны, которые есть повсюду, и где можно поесть по самым умеренным ценам. Мы как-то заехали в один такой ресторанчик в окрестностях Атланты. Нас было человек десять, никто нас специально не ждал... В небольшом, на несколько десятков человек зале, управлялась одна-единственная китаянка. Мы довольно плотно подзаправились, заплатив каждый всего около семи долларов.

... Так что, хотел я этого или нет, а большинство привезенных мною домой вещей (и сувениров, кстати, тоже) оказалось китайского производства.

* * *

История человечества знает тому немало примеров: величайшие достижения рождались не благодаря чему-то, а вопреки. Вопреки всему - любым обстоятельствам. Сам по себе каждый такой случай - вроде бы исключение, а выстраиваешь их в ряд - получается своего рода правило.

Так и Атланта. Глубокая провинция, практически нет полезных ископаемых. Жара летом - ужасающая, до 50 градусов по Цельсию. Казалось, людям здесь вообще заказано жить. Наиболее знаменитая страница здешней

истории - некогда процветающая работоторговля...

И вот - город с четырехсоттысячным населением - один из самых процветающих в процветающей Америке. Откуда, как, почему? Если о городе говорить как о человеке, можно сказать так: он вытащил себя к этой жизни буквально за волосы. Основатели его - как всегда не только романтики, но и авантюристы, прочий люд с крепкими мускулами и челюстями - буквально боролись за существование. Первые капиталы наживали потом и кровью - как своими, так и чужими, не щадя ни себя, ни других... А потом умные и предприимчивые люди из местной элиты стали заманивать других умных и предприимчивых людей, обещая тем все, что угодно - от собственной поддержки и самых выгодных налогов до самой дешевой рабочей силы... Теперь это называется режимом наибольшего благоприятствования пришлому капиталу...

И вот Атланта имеет то, что имеет: представительства крупнейших, известнейших в мире фирм - от "Кока-колы" до аэрокосмического "Локхида", авиакомпании "Дельта", автомобильной компании "Шевроле" и множество прочих. Сегодняшняя Атланта - столица самых современных технологий.

Но Олимпиада-то ей зачем, спросит иной наш соотечественник-обыватель: это ж такие хлопоты, расходы? И будет в корне неправ. Хлопоты - да, чего-чего, а их хватает. А вот что касается расходов... Дотошные американцы прикинули, и оказалось: "олимпийский взнос" в местную экономику (за вычетом всех затрат, разумеется) может вылиться в десять миллиардов тенге. Может быть, конечно, они и подзагнули. Но то, что внакладе не останутся - это точно. Львиную долю прибыли принесут болельщики со всего мира, "население" Атланты в дни Олимпиады увеличится примерно вчетверо. На туристах сделают свой бизнес индустрия питания, развлечений, сувениров... Олимпийский город будет привлекать туристов и после того, как Игры закончатся. Так Атланта сделает еще один прорыв - уже в 21 век, подтвердив репутацию "дерзкого" города, знающего себе цену и ни при каких обстоятельствах не упускающего своей выгоды. И нашим городам, если они хотят "выйти в люди", всему этому учиться, учиться и учиться...

* * *

После Олимпиады американцев критиковали в московской прессе за то, что олимпийские объекты были слишком разбросаны вокруг Атланты, до них бывало трудно добраться; на дорогах возникали пробки, места стоянок транспорта были далеко от мест самих состязаний... Я американцам не адвокат - наверное, были у них накладки. Но мне кажется, всем нам, бывшим советским, не грех поучиться у них умению удовлетворять потребности людей на массовых мероприятиях подобного рода. На финальном футбольном матче Олимпиады, проходившем не в Атланте, а в одном из соседних с ней городов, 80-тысячный стадион был заполнен почти до отказа. Но не было никакой давки и толчеи. Не составляло никакой сложности найти свое место. Не было проблем ни с туалетами, ни с прохладительными напитками. Последние в перерыве можно было свободно купить в многочисленных киосках, устроенных в верхней части чаши стадиона, а в ходе самой игры их, чистую холодную воду (просто воду, она здесь чрезвычайно популярна), "Кока-колу", лимонад, пиво, а также мороженое разносили прямо по рядам. Поглощалось все это в гигантских, просто немыслимых количествах, но почему-то никогда и нигде (на других соревнованиях тоже) не кончалось.

Правда, цены кусаются. Когда наш турист затребовал было на все том же футбольном матче поллитровую пластиковую бутылку обыкновенной воды (жара была за тридцать) и услышал цену - четыре с половиной доллара - то гордо отказался: "Ну нет, пусть я лучше умру от жажды!"

* * *

Мы жили не в самой Атланте, а километрах в ста от города, в отеле курортного типа. Нам, можно сказать, повезло: столица Олимпиады была в эти дни перенаселена, напоминала собой гигантский разворошенный муравейник, а тут, в лесу, тишь, благодать, нарушаемая разве что нашими приездами-отъездами. Всё во имя человека, всё для блага человека! Люди постарше помнят этот лозунг, коим якобы руководствовались некогда наши родные партия и правительство в своих неустанных заботах обо всем остальном народонаселении. В Америке, насколько мне известно, ничего подобного не провозглашалось, но именно здесь, как это ни странно, воплощен с наибольшей полнотой наш звучный коммунистический лозунг. Собственно, просто отелем то место, где мы обитали, назвать нельзя. Когда-то тут был девственный лес, его частично вырубил, оставшиеся массивы основательно почистили, превратив их в полулес-полупарк. Устроили несколько озер, разбили газоны. Гости селятся в трехэтажных капитальных корпусах или на уединенных виллах в лесу.

При этом везде - максимум удобств, включая бассейны с jacuzzi и кондиционированный воздух. Последнее - отнюдь не мелочь, если иметь в виду, что жарой в 40 градусов летом тут никого не удивишь.

Едва поселившись, мы с моим коллегой - редактором Семипалатинской газеты - взялись считать белые махровые полотенца. Вышло по семь штук на брата, размером от половины простыни до большого носового платка.

- Это, наверное, банное, после душа, - рассуждал сосед, - это для рук, это для ног, это - для лица... А остальные зачем?

Так мы с ним до конца и не разобрались... Потом он заглянул в туалет и присвистнул:

- Да тут жить можно!..

При отеле был бассейн, работавший круглые сутки. Тренажерный зал, где каждое утро разминалась пожилая американская чета - оба сухие, подтянутые. Пока мы усердно набивали животы, он упорно крутил педали велотренажера, не отрываясь при этом от газеты, а она занималась гимнастикой, попутно смотря по телевизору утреннюю программу новостей. Нас, казахстанских туристов, было в отеле человек 300, в тренажерный зал не зашел ни один.

Иногда мы наблюдали, как respectable отдыхающие играют в гольф (рядом с отелем, прямо в лесу,

было разбито несколько специальных лужаек). К мячу после удара играющие не шли и не бежали, а ехали на специальной машинке - вроде мини-трактора.

- Ну ты посмотри, что вытворяют - двадцать метров пройти не могут, - выражал свои чувства Леша из Шымкента, и было непонятно, восхищается он или возмущается.

Есть анекдот - о том, как отдыхает миллионер. Сначала на место предполагаемого отдыха выезжает его личный представитель. Осматривает уединенный уголок песчаного океанского пляжа и попутно дает поручения: "То, что никого нет, это хорошо - шеф любит отдыхать один... А вот песочек на пляже вам придется заменить - мой любит, чтобы песочек был покрупнее и желтый-желтый... Да, и позаботьтесь о том, чтобы волна была покруче - шеф недолюбливает штиль... И облака никуда не годятся - мой любит, чтобы не густые и не темные, а пышные, белые, как сугробы..." Его заверяют, что все будет сделано... И вот приезжает сам миллионер, выходит на пустынный берег океана. Ни одного человека - красота, песок на берегу крупный, желтый, на воде крутая волна, и даже облака - как по заказу - пышные, белые как сугробы... Чуть не заплакал от умиления миллионер и подумал: "Вот оно все, о чем мечтал, вот оно - счастье... И не надо мне никаких денег..."

Я вспомнил этот анекдот, когда нас как-то вывезли на пару свободных часов на одно из озер, также принадлежащих отелю. Было часов девять утра, отдыхающих немного, и песок на берегу оставался девственно чистым - на нем не только не было мусора, но и вообще каких бы то ни было следов. И лишь приглядевшись, я понял, что это "домашняя заготовка": всё сделано с помощью специальных граблей - для того, чтобы вчерашние следы на песке (следы ног - и ничего более) не раздражали взор тех, кто придет сегодня...

Хочешь - купайся, хочешь - загорай, хочешь - уди рыбу (рыболовными принадлежностями тебя снабдят в отеле), хочешь - катайся на водных лыжах. А еще можно взять велосипед напрокат и одному или всей семьей обследовать окрестные леса и озера... Или поехать на экскурсию в сад цветов. Мы там побывали тоже. Если на земле есть рай, то, наверное, он выглядит именно так. Влажный горячий воздух напоен ароматами цветущих кустарников и деревьев. Порхают яркокрылые бабочки размером с небольшого воробья, и тут же птицы-колибри, которые меньше бабочек... Но меня лично доканало не это: здесь, среди всех этих магнолий и озалий, я увидел нашу степную полынь, которую холят и лелеют как экзотическое растение. И она даже пахла - почти как у нас дома...

* * *

В Америке мы почти непрерывно перемещались, переезжая из города в город на закрепленном за нами автобусе. Мы пересекли территорию одиннадцати штатов и, наверное, провели в дороге в общей сложности что-то около двух суток. И эти перемещения, в общем, не были утомительными. Во-первых, в Штатах отменные дороги, а во-вторых, автобус оказался очень комфортабельным - с обязательным кондиционером и даже туалетом. Чтобы закончить тему кондиционеров, замечу: к тому известному факту, что Америка - страна небоскребов и автомобилей, я бы сделал добавление - это еще и страна кондиционеров. Они тут есть всюду: в отелях, жилищах, магазинах, ресторанах, туалетах, автомобилях... И никакая это не роскошь - в Америке летом жарко, а американцы любят комфорт...

Но я, собственно, хотел сказать о другом - о том, что все эти дни с нами в дороге был один-единственный водитель. Даже на перегоне Вашингтон-Атланта, занявшем около 14 часов, он обошелся без сменщика. Его звали Сальвадор, или сокращенно Сал. Это был разбитной, нахальный латиноамериканец, попортивший нам немало нервов. Но речь сейчас не о его отвратительном характере, а о том, что нагрузку он в иные дни нес колоссальную. Без напарников вели свои машины и водители других туристических автобусов. Как же так, недоумевали мы, ведь есть же у них профсоюз, должны быть ведомственные инструкции, устанавливающие границы нагрузок... У нас за 400-600 километров из Павлодара в Омск и в Усть-Каменогорск пассажирские автобусы обязательно идут при двух водителях, а тут расстояние - вдвое больше. Наверное, мне могут возразить, что там и качество техники, и состояние дорог - не чета нашим. Все так. Но их американскому профсоюзу, оказывается, наплевать, сколько часов в день крутит баранку член их юниона (союза), это его личное дело. Но когда мы, возмущившись очередной выходкой Сала, потребовали заменить водителя, нам вежливо дали понять: это невозможно, его права защищает профсоюз. Так мы и мучались с Салом до конца нашего путешествия.

* * *

Это неправда, что американцы сплошь худощавы и подтянуты. Здесь довольно много полных и даже очень толстых людей. Леша из Шымкента на второй или третий день нашего путешествия заявил:

- Посмотрите, как много тут негров, какие они упитанные! Ни за что теперь не поверю, что их в Америке угнетают.

А отличаются американские толстяки и толстушки от наших, пожалуй, тем, что абсолютно не испытывают комплекса неполноценности по поводу необъятности своих телес: они энергичны и жизнерадостны, не стесняются носить шорты и маечки.

В основной своей массе американцы прекрасно выглядят, и у мужчин, а тем более у женщин, загорелые, ухоженные лица, у очень многих - этакая младенческая розовощекость, будто с рекламного проспекта сошли. Еще они непрерывно улыбаются. Хотя мне трудно избавиться от ощущения, что иные делают это настолько автоматически и без каких бы то ни было чувств, что раздвинутые в улыбке губы напоминают открываемые двери метро или лифта. Но ведь все равно улыбаются! Поневоле и сам начинаешь улыбаться, встретившись с кем-нибудь взглядом...

Еще они непрерывно извиняются, даже если не за что. На каждом шагу только и слышишь: "Сори!"

Экскьюзми... "

Но, наверное, самое распространенное здесь выражение "О кей!" Это выражение имеет огромное количество значений и может означать все, что угодно. Во всяком случае у нашего водителя Сала это мог быть и вопрос, и ответ, и радостное восклицание, и еще много чего, хотя элементарный перевод этого слова на русский звучит как "все хорошо, все в порядке..." "

Американцы, конечно, не столь задавлены жизнью, как мы: они живут, а не выживают. Может, еще и потому чаще нашего улыбаются.

* * *

Изобретательность американцев по части организации своего быта, отдыха, развлечений поистине беспредельна. Здесь создана даже не индустрия, а настоящая империя развлечений. И распад ей, между прочим, пока не грозит. Скорее наоборот. О Диснейленде, например, нельзя рассказать - это надо видеть. Просто поразительно, сколько ума, фантазии и труда вложено в создание этих сказочных городков. У истоков большинства диснейлендовских аттракционов - оригинальнейшие изобретения, высочайшие технологии. И еще: побывав тут, начинаешь понимать, что фантазии человека в его стремлении к комфорту и роскоши вряд ли имеют границы. У нас была прогулка на теплоходе по каналам Майами, составленная организаторами с таким расчетом, чтобы показать нам виллы, расположенные по их берегам, и яхты небедных американцев. Хозяин одной виллы устроил на ней раздвижную крышу, чтобы иметь возможность в хорошую погоду любоваться звездным небом. Вилла другого - точная копия (слегка уменьшенная) Белого дома. На яхтах можно совершать многомесячные путешествия по океану. Стоимость таких жилищ и средств передвижения от пяти миллионов долларов и выше. Но есть, оказывается, здесь же, в Майами, "Остров звезд", где и виллы, и яхты покрупнее тех, что мы видели. Но экскурсии туда для простых смертных, вроде нас, конечно, не проводят.

* * *

В Атланте с нашей группой работала координатор Ирина - энергичная, напористая женщина неопределенного возраста и лишенная каких бы то ни было комплексов.

- Я американка, - гордо заявила она нам с первых минут знакомства и подчеркивала это впоследствии много раз и без всякого повода.

Она наша бывшая соотечественница, выпускница престижного Ленинградского Герценовского института, лет двадцать назад эмигрировала в Израиль, откуда потом перебралась в Соединенные Штаты. В каждой стране имела по мужу, нынешний, третий, американец. Она учитель иностранного языка, преподает детям эмигрантов-латиноамериканцев испанский и английский.

Перипетии судьбы, бесспорно, наложили свой отпечаток как на характер, так и на внешний облик Ирины. В споре она могла свободно противостоять доброму десятку своих бывших соотечественников, которые, как известно, тоже за словом в карман не лезут.

Мы ее звали между собой "Потрясающая Ирина" - из-за неумеренного употребления ею этого эпитета ("Вы будете жить в потрясающем отеле! Здесь потрясающая кухня! Мы поедем в сад цветов - это что-то потрясающее!") Другим любимым ее выражением было: "Вы в свободной стране и можете делать все, что захотите!"

Иногда ее, скажем так, раскованность граничила с развязностью. Вот едем в магазин, и по автобусу разносится усиленный микрофоном ее голос:

- Мужчины, хотите, чтобы ваши жены пахли, как я, подходите - нюхайте... Я скажу вам, какая это косметика.

Всегда с пренебрежением говорила о водителях наших автобусов:

- Что вы хотите - они же все от замороженные (т.е. помешавшиеся на деньгах), - и неизменно добавляла с брезгливостью: - Лезут все в Америку.

У Ирины квартира на Гудзоне (в Нью-Йорке), вилла в Калифорнии, две автомашины. Все это ей дала ее преподавательская деятельность.

- Больше всего на свете я люблю говорить, - не раз признавалась она через микрофон всему автобусу. Но очень часто, едва начав рассказ о чем-то, тут же вскрикивала: - О, мое горло, я боюсь потерять голос... А мой голос - это мои деньги!

Ирина не раз (даже как будто с некоторой обидой) говорила нам, что она волонтер, то есть работает с нами, не получая денег.

- Если бы мой муж-американец узнал, что я работаю здесь бесплатно, он точно бы упрятал меня в сумасшедший дом, - жаловалась она. И конечно же, лукавила. У нее очень большой отпуск, и часть его она по собственной воле решила провести здесь, обслуживая группы туристов из Казахстана. Работа, в общем, непильная фирма обеспечивает ее полный пансион (питание и проживание в отеле), к тому же Ирина имеет возможность посетить многие состязания Олимпийских игр (опять же за счет фирмы).

По правде говоря, "Потрясающая Ирина" за несколько дней так утомила нас своей словоохотливостью, раскрепощенностью на грани приличия, что, расставаясь, мы вздохнули с облегчением. Её одной на нас всех было слишком много.

К счастью, другая американка, с которой нам пришлось иметь дело, - координатор Люба, оказалась полной противоположностью Ирины. Общаясь с ней, мы просто отдыхали... Люба - тоже из бывших советских.

Приехала вместе с мужем и своими родителями. Мне показались любопытными и существенными некоторые её суждения. Дети, как она считает, быстрее и легче всего приспосабливаются к жизни в новой стране. Вот и ее 14-летний сын - чистый американец, ее тревожит, что, кроме телевизора и компьютера, сына мало что интересует.

Родители, наоборот, будто никуда не переезжали. Как не знали ни слова по-английски - так и не знают, и

учить не собираются... Ругают все здешнее, покупают газеты на русском языке, смотрят по кабельному телевидению российские телепередачи.

Люба с мужем - не бедные люди. Зачем ей эти хлопоты с казахстанскими туристами?

- Устала от дежурной здешней действительности, - просто сказала она, - захотелось пообщаться с бывшими соотечественниками.

* * *

Пожалуй, пора что-то сказать и о том, что собой представляет наша группа из сорока с лишним человек, приехавших из шести-семи областей Казахстана. Условно я бы разделил её на три неравные по численности подгруппы, которые, можно сказать, существовали автономно, мало соприкасаясь с другими - даже когда летели в самолете, ехали в одном автобусе, ели в одном ресторане.

Одну часть нашей группы, притом достаточно колоритную, составляли туристы от номенклатуры, представляющие местную исполнительную власть и её ветви. Держались они особняком, никого в свой круг не допускали, а вели себя зачастую так, будто находились в своих собственных кабинетах, на подвластных им территориях. Их главным занятием - в самолете, автобусе, отеле - был преферанс. Ему они отдавали большую часть наших перелетов и переездов, дни и ночи. Как-то утром надо было выезжать на соревнования очень рано. Бегу в начале шестого утра к автобусу, вижу в приоткрытую дверь номера - еще не ложились, играют... Вторую, не очень многочисленную часть группы, составляли те, кого бы я условно назвал "крутыми" - "новые русские" и "новые казахи" (бизнесмены, банкиры и т.д.). Этим трудно было чем-то удивить, они хорошо знали, чего хотели, иные уже успели побывать за границей, и не по одному разу, и потому держались с уверенностью, подчас переходившей в самоуверенность, и тоже особняком. У одного из "крутых", путешествующего с женой и ребенком, на каждые два пальца рук приходилось в среднем по золотому кольцу или перстню. В первом же супермаркете он купил широкополую ковбойскую шляпу, зонт - в виде трости и уже не расставался с ними до отъезда.

У "ковбоя", как я его про себя окрестил, жесткий взгляд и вызывающие манеры хозяина жизни. Жена всюду следует за ним, как за своим господином. У нее надменное лицо, холеные руки. На людях они между собой никогда не разговаривают.

Пока мы "пилили" из Вашингтона в Атланту на автобусе, "ковбой" с семьей и еще несколькими туристами своего круга проделали этот путь на самолете, а из аэропорта до отеля - за сто километров - на такси. И обошлось им это удовольствие "всего" по три с половиной сотни долларов на брата.

Когда в очередном супермаркете жаждущие дешевых покупок туристы устремлялись в отделы, где торгуют бросовыми однодолларовыми товарами, эти, не раздумывая, приобретали супермодные чемоданы и престижные видеокамеры. Если их не устраивал вид соревнований, на которые мы должны были ехать по программе (и куда были оплачены билеты), они шли туда, куда хотели, выкладывая за раз от сотни долларов и выше из своего кармана.

Когда большая часть группы отправилась в скромную 17-долларовую экскурсию по каналам Майами, они уплыли в открытый океан ловить акул, хотя это удовольствие стоило во много раз дороже. На ужине в китайском ресторане они не морщились и не отворачивались при виде устриц и креветок, а поглощали их в огромных количествах.

И наконец, третью, самую многочисленную часть группы составляли все остальные. Это была пестрая, весьма разнородная публика: тут были и представители власти, не вошедшие в элитный круг; не успевшие заматереть бизнесмены; любимые жены мужей, состоящих у власти или руководящих солидными предприятиями, которые по каким-то причинам не смогли поехать сами, но зато смогли оплатить поездку своих дражайших половин; тут были счастливики, вроде меня, которым просто повезло с этой поездкой; чьи-то непонятные протеже, разного рода индивидуалы... Невесть как затесался в группу семидесятилетний старикан, экономивший везде и на всем.

Несмотря на всю свою разнородность, несопоставимость социального и имущественного положения, все эти люди составляли некую устойчивую общность... Их роднила неуверенность в себе, боязнь отстать от группы (они всюду стайкой ходили за координатором, как цыплята за кочкой). В магазинах они также боялись потеряться и не знали что выбрать, а самая дорогая покупка, на которую они все же отважились, был фотоаппарат-автомат, именуемый за несложность в эксплуатации "мыльницей", стоимостью в сто долларов. Они отдыхали только по программе и, кажется, заскучали по дому, еще не перелетев за океан...

Это были, пожалуй, самые дисциплинированные, самые благодарные туристы, но чаще всего до них никому не было дела. С ними обращались, как с бедными родственниками.

Конечно же, среди нас сразу возникли свои "западники" и свои "патриоты". Первые реагировали на американскую действительность бурными восторгами: "Посмотрите - какая роскошная машина (отель, магазин, небоскреб, ресторан и т.д. и т.п.)..."

"Патриоты" в противовес "западникам" заведомо снижали планку оценок: майамские пальмы казались им слишком низкими, а нью-йоркские небоскребы - слишком высокими, здешние огурцы с помидорами пришлись им явно не по вкусу, холодный фруктовый чай со льдом вызвал возмущение, а обычай obsługi выдавливать чаевые они и вовсе расценивали как дикость...

Вообще говоря, отправка столь разнородных и столь разнонацеленных людей едиными группами, притом по сорок с лишним человек, затея явно неудачная. Как тут можно совместить интересы, когда один требует каждый день шопинг, другие хотят в музей бабочек, третьи настаивают на выполнении программы (в которой, кстати, никому не интересная гребля на байдарках и каноэ), четвертые стремятся на бокс, а пятые - на экскурсию по городу. Базар возникал всюду, где бы мы ни появлялись. Наверное, поэтому, в отелях нас и кормить предпочитали отдельно от всей остальной публики. Впрочем, не только поэтому. Все, кто хоть раз

выезжал за границу, имеют представление о том, что такое "шведский стол". Это самообслуживание и принцип разумной достаточности: подходишь к раздаче и сам берешь, что хочешь. Можешь подойти второй, третий раз... Иные из наших туристов набирали сразу столько, что не могли осилить. Прихватывали впрок фрукты и одноразовый чай в бумажных пакетиках. Запасались после ужина самодельными бутербродами из булочек, бифштексов и сосисок. За всем этим бесстрастно наблюдала в Атланте бригада негров-официантов. Ничто не отражалось на их темных лицах, но их глаза, мне кажется, глядели на нас с сожалением...

Если же нам доводилось ужинать в ресторане вне отеля, где были, кроме нас, другие посетители, они старались отойти в сторону, когда мы толпой устремлялись к раздаче блюд... И подходили лишь тогда, когда мы со своими тарелками рассаживались за столами.

Нас вообще ни с кем нельзя было спутать: ни в ресторане, ни в отеле, ни на улице. Уже на второй день после приезда все, а особенно мужчины, выглядели, как близнецы-братья: белые кроссовки, белые носки, шорты, кепки-бейсболки. Это была своего рода униформа... На общем фоне бледновато, если не сказать вызывающе, смотрелись несколько человек, упорно не желающих менять свои непрезентабельные штиблеты на "аидасы". Да, нас нигде и ни с кем нельзя было спутать. Мы вносили сумятицу и смуту в размеренную жизнь отелей, магазинов, ресторанов. В Майами нас уже через день безошибочно узнавали продавцы окрестных магазинчиков (а ведь туда заходили не только мы) и приветливо восклицали: "О, Казахстан! Салиам Алейкум!". В международном аэропорту Майами, откуда отправляются самолеты в десятки стран мира, именно мы устроили толчею с очередью у машинки для упаковки багажа... Никто, кроме нас, не боялся почему-то за сохранность своих вещей. Упаковщик не успевал нас обслуживать. Своему товарищу, прибежавшему на шум, он сказал одно-единственное слово "Аэрофлот" - и тот понимающе улыбнулся...

Что ж, мы такие, какие есть, и, наверное, еще долго не будем другими...

* * *

Деньги в Америке делают буквально на всем. Нас повезли на экскурсию, на смотровую площадку, устроенную на 86 этаже 102-этажного небоскреба. Красотами Нью-Йорка с высоты птичьего полета мы любовались от силы пятнадцать минут. Остальные 45 у нас заняли сувениры: значки, майки, кепки-бейсболки, авторучки, открытки и масса всего прочего с обязательным изображением небоскреба. Энергичный негр не успевал штамповать памятные брелки из одноцентовых монеток: он нажимал какой-то рычаг и монетка приобретала очертание небоскреба. Две-три секунды у него уходило на каждое изделие, продавал он их по доллару. Я прикинул: он на одной нашей группе заработал за полчаса долларов сто. А ведь тут и кроме нас было порядочно народу.

Сувениры сопровождают вас в Америке всюду: в аэропортах, отелях, во всех магазинах, на заправочных станциях - буквально везде. У нас же почему-то, несмотря на то, что мы вроде семимильными шагами идем к рынку, индустрия сувениров по-прежнему в зачаточном состоянии.

По-своему зарабатывали водители наших автобусов. Когда мы, запыхавшись, прибежали с футбольного матча, после трехчасового путешествия по Диснейленду или еще откуда-то, у них всегда было наготове корыто со льдом, полное банок пива и "Кока-колы". Банка - два доллара. Редко кто отказывался, многие брали пару-тройку банок... А покупали все это водители в окрестных магазинах минимум в два раза дешевле.

Водители отеля под Атлантой зарабатывали на нас тем, что выдавливали чаевые. В окрестностях отеля много экзотических мест, езды до них от силы пять-десять минут... Вот мы собрались, сели, а автобус не трогается, водитель делает вид, что чем-то страшно занят... А не едет он, оказывается, потому, что ждет чаевых... Или по этой же причине "забудет" включить кондиционер, и машина тут же раскаляется как консервная банка на огне. Приходилось платить, хотя эти услуги отелем по идее предоставляются бесплатно.

В Майами нас возили на экзотический остров, где растут диковинные деревья, сидят в клетках яркие тропические птицы, продаются индейские сувениры. А немолодой индеец здесь забавляет публику тем, что заходит в клетку с крокодилами, подтаскивает одного из них к себе за хвост, садится верхом и, заворачивая ему назад голову, как барану, раскрывает своими руками его пасть... Зрелище, в общем, не для слабонервных: крокодил весит не меньше центнера, зубы в пасти никакие не бутафорские... Индеец для публики смельчак, герой. Но вот трех-пятиминутное представление окончено. Индеец берет пластмассовое ведро и по кругу обходит туристов, которые бросают ему смятые доллары. И перед нами уже никакой не герой, а просто усталый пожилой человек, который таким способом зарабатывает себе на хлеб.

* * *

В Орlando нас повезли на ужин в небольшой китайский ресторан. Все было как всегда: шведский стол, много зелени, куриные крылышки и баранина в сладком соусе и даже креветки, которых большинство из нас отродясь не видело и потому не знало, что с ними делать. А на десерт, кроме фруктов, йогуртов, было еще мороженое - сортов десять. Оно мне так понравилось, что я решил взять еще. Пока ходил - это заняло минуты две-три - мой стол уже убрали... Не знаю уж, почему так вышло - может быть, я должен был кого-то предупредить, оставить какой-то знак, что я вернусь... Словом, стол чист, заново сервирован, и к нему уже пристраиваются трое посетителей. Поскольку я в английском не силен, говорю им по-русски: "Я здесь сидел!" - и показываю жестами: мол, ужинал здесь, отошел за мороженым. Они явно не понимают: стол-то уже убран, им наверняка на него указали как на свободный.

- Понимаете, я здесь сидел, еще не закончил, куда мне идти? - снова пытаюсь объяснить.

Вижу - вроде обижаются. Тогда показываю им жестом: садитесь, мол, я вам не помешаю, съем быстро свое мороженое и уйду. Не садятся. А я сел. Они стоят. Думаю: ну вот, только скандала еще не хватало - международного...

К счастью, этого не произошло. Появившийся откуда-то расторопный китаец быстро увел всю их компанию. А

я стал в гордом одиночестве доедать свое мороженое, которое уже не казалось мне таким вкусным.

* * *

Самый фешенебельный отель, в котором мы жили, как нам говорили, четырехзвездный. То есть достаточно высокого класса, но не самый дорогой. Мы жили в очень удобных уютных двухместных номерах. И хотя на улице было очень жарко, влажно, здесь мы этого не ощущали, а спали под теплыми одеялами - так здесь работают кондиционеры. В нашем номере (и в других тоже) был бар-тумбочка со спиртными напитками, марсами-сникерсами и прочей снедью. Но все это находилось под замком. Чтобы воспользоваться баром, надо было предварительно заплатить депозит (что-то вроде залога) в размере 250 долларов. Кажется, такой возможностью не воспользовался ни один из нас. Но мне интересно другое: это правило - оставлять залог и только потом пользоваться - распространяется на всех постояльцев отеля или только на нас? Мне почему-то кажется - только на нас. То же и с телефонами. Мы жили в пяти отелях. Из любого можно было позвонить домой, но также лишь предварительно внеся залог. Везде он был почему-то разным, а самым дешевым в Орландо - всего 20 долларов. Из наших отелей нельзя было бесплатно позвонить даже в город - для этого существовали специальные автоматы внизу, где за каждый звонок надо было платить отдельно.

* * *

У подножия отеля ворочался, вздыхал, поудобнее устраиваясь на ночь, Атлантический океан... В это было трудно поверить, но это было - бесконечный Майамский пляж, силуэты кораблей на горизонте и океан, который можно потрогать...

* * *

После почти одиннадцатичасового перелета из Майами в аэропорту Шереметьево нас загнали в тесноватое неуютное помещение для паспортного контроля. Сразу возникло несколько внушительных очередей. Мужики ломанулись в туалет. Из двух имеющихся в наличии писсуаров функционировал лишь один. Мужики стали привычно выстраиваться в затылок друг другу. И кто-то из задних не сказал даже, а выдохнул:
- Ну все, теперь точно дома.

Алматы - Москва - Нью-Йорк - Вашингтон - Атланта - Орландо - Майами - Москва - Алматы.

Японская мозаика

В полет отправлюсь из детства

Картинка из детства. Кто-то из моих друзей, уткнув палец в мою грудь, лукаво вопрошает:

- Ты за луну или за солнце?

Я интуитивно чувствую подвох, пытаюсь тянуть время, уклониться от ответа...

- Нет, ты за луну или за солнце? - настаивает приятель.

Лихорадочно соображаю, но в голову ничего не лезет... А - была-не была - без луны вроде еще можно обойтись, а без солнца-то как?

- За солнце?

Тут же следует издевательское:

- За пузатого японца! За пузатого японца!...

- А "за луну", оказывается, за советскую страну.

Розыгрыш как розыгрыш, не очень, может быть, удачный - в нашем детстве мы шутили как могли - как получалось.

И вот жизнь сыграла со мной еще одну шутку - на этот раз куда более удачную. Мне предстоит встреча с этой самой Японией.

Жизнь вообще порой очень лихо закручивает свои спирали... Двадцать пять лет назад я прилетел в Алма-Ату на четырехмоторном ИЛ-18 поступать в университет. Это был самый дальний в моей жизни перелет, до этого я лишь пару раз летал по родному Железинскому району на "кукурузнике"... 1972 год, старенький тесный аэровокзал, нового еще не было... Душная июльская ночь, ощущение неуютно и неуверенности...

Спустя четверть века я снова в этом здании, в котором теперь международный терминал алма-атинского аэропорта. Таможенный контроль, пограничники... И почти то же самое - двадцатипятилетней давности - ощущение неуютно и неуверенности. Хотя, казалось бы, теперь-то чего тушеваться? Маршрут известен, через неделю вернемся, есть с десятков знакомых лиц... А на душе неясная тревога. Наверное, это уже неизлечимо - натуру не переделаешь...

Пока что и в Японию еще мало верится, но факт остается фактом: "боинг" корейской авиакомпании "Асеана" уже преодолел воздушное пространство над территорией Казахстана и - через Китай - держит курс на Сеул, а оттуда мы должны перелететь в Токио. Мы - это около сотни казахстанских туристов. Помимо всего прочего, мы должны как болельщики поддержать наших казахстанских спортсменов, впервые представляющих суверенное государство на Зимних Олимпийских играх. А проходить они будут в японском Нагано... Лететь до Сеула больше шести часов. Есть время подумать. И я мысленно пытаюсь собрать воедино свои скудные знания о Стране Восходящего Солнца. Выходит нечто отрывочное, эпизодическое, бессвязное...

Кроме пузатого японца - совсем немного... Да, кстати, а почему, собственно, пузатый? Может, тут скрыта давняя обида уязвленного славянина за державу, позорно проигравшую Японии войну на море начала века? Или отголоски печально известного тридцать седьмого года, когда японские шпионы обнаруживались даже в наших казахстанских степях, где доселе никто и никогда в жизни не видел ни одного японца, не говоря уж о самой Японии? А, может, в качестве насмешки "пузатый японец" был избран просто как некий символ - символ чего-то непонятного, чуждого, ненашенского?.. Так вроде нет...

Когда мой одноклассник и друг Леха Клименко, терзая гитарные струны, заводил своим хриловатым голосом песню про любовь моряка и японки - "Уходит капитан в далекий путь, целует девушку из Нагасаки..." - мы им двоим скорее завидовали... А когда по ходу песни какой-то там мерзавец "однажды накурившись гашиша зарезал девушку из Нагасаки" и вовсе готовы были уронить слезу...

Нет, тут что-то другое... В нашем восприятии Японии всегда присутствовало больше загадочного, неведомого, нежели негативного, отрицательного. Япония в нашем сознании всегда существовала в виде магического ряда - как нечто полумифическое-полуреального, на грани возможного...

Вот они эти символы магического ряда - саморай, харакири, кимоно, гейша, Хиросима и Нагасаки, Куросава (это для достаточно малого количества людей)... Уже в наше время в этом ряду появились "Сони" и "Панасоники", "Тойоты", "Ниссаны" и "Мицубиси"...

Это, так сказать, на уровне массового обывательского сознания.

Мне лично из детства помнится радиоспектакль с продолжением "Кто вы, доктор Зорге?" Собственно, о Японии, как таковой, из него я почти ничего не помню, кроме того, что там действовал и погиб наш легендарный разведчик. Помню еще малоизвестную повесть Евгения Евтушенко "Пирл Харбор", напечатанную в журнале "Юность", - главным образом историю про любовь американского военного моряка к японской девушке-проститутке.

Что еще? Была прекрасная книга "правдиста" Всеволода Овчинникова о Японии "Сакура и дуб", были яркие, почти незамутненные идеологией, телевизионные репортажи о Японии журналиста Владимира Цветова...

И уж, конечно, известный всем и давно зашедший в тупик территориальный спор России и Японии - о том, кому принадлежат Курильские острова...

И - что поделаешь - от великого до смешного один шаг - едва ли не весь полет вертелась в мозгу хулиганская частушка бывшего замредактора нашей газеты Побережникова:

Я не знаю, как у вас,
А у нас в Японии
Три врача в... "туда" смотрели -
Ни хрена не поняли.

Отправляясь в чужую страну (такую страну!) с подобным багажом знаний, едва ли можно было рассчитывать на то, что он сильно обогатится после недельного в ней прибывания. Но что-то в памяти отложилось. О том и расскажу - не надуваясь и не пыжась... Пусть это будет "Японская мозаика" - ни к чему не обязывающий (ни автора, ни читателя) калейдоскоп впечатлений, фактов, картинок жизни...

Халява, плиз!

Южно-корейская авиакомпания "Асеана", взявшаяся доставить нас из Алма-Аты в Токио, буквально на днях открыла этот прямой рейс из нашей южной столицы в Сеул. То есть мы были едва ли не первыми ее клиентами. Может быть, поэтому, а, может быть, это просто уровень работы южнокорейцев на международных авиалиниях, но сервис на данном отрезке пути был высочайшим. Стюардессы - как на подбор - одинакового роста, точеные фигурки, красавицы, каждая просто излучает бездну обаяния; каждая - вся внимание и доброжелательность. "Где они их берут таких - в специальных вольерах выращивают, что ли?" - пробурчал мой сосед, скорее, впрочем, восхищаясь, нежели выражая недовольство...

Едва самолет набрал положенную высоту, стюардессы, сменив так идущую им форменную одежду на элегантные комбинезоны, появились в проходах, толкая перед собой тележки на колесиках. Кроме традиционных воды, соков и пива, тут было и спиртное. Мой собственный, более чем скромный, опыт путешествия на международных авиалиниях подсказывает, что в подобных случаях надо вести себя спокойно: сок, вода, банка пива входят в услуги авиакомпании, что же до горячительного, то за него, увы, придется платить... А это, учитывая заоблачные цены, бывшему советскому человеку далеко не всегда по карману. Но тут произошло нечто из ряда вон выходящее. Не знаю, с чем это было связано - никто нам ничего не объяснил - скорее всего авиакомпания в связи с открытием нового, весьма выгодного ей авиарейса, решила угостить своих первых клиентов. (Другого объяснения я просто не вижу, потому что в дальнейшем ничего подобного не было - ни на перелете в Токио, ни при возвращении обратно).

Итак, стюардессы-корейки везут свои столики, мы демонстрируем сверхскромность и сверхвоспитанность ("Какое спиртное - да мы тут почти сплошь трезвенники!"). До тех пор, пока кто-то не раскусил, что выпивка - то дармовая - как в том анекдоте про сомневающегося на иностранном приеме бедного русского ("Пить - не пить, вдруг денег потребуют, а их кот наплакал!"), которому разносящий напитки слуга с обезоруживающей улыбкой поясняет: "Халява, сэр!"

Куда делся языковой барьер! (Мы ни слова по-английски, а тем более по-корейски, а стюардессы - ни бельмеса по-русски и по-казахски, лишь чуть-чуть - по-английски). Только и слышалось со всех сторон:

"Уиски", "уодка", "коньяк" (тут и напрягаться не надо!). Ну и задали же мы жару бедным стюардессам - вряд ли они когда-то до этого работали с такой нагрузкой. Они буквально с ног сбились, удовлетворяя наши разыгравшиеся аппетиты... Жаль только закуски вместе с выпивкой не полагалось - зато вволю было соков, ими и запивали...

Сосед отправился в туалет и вернулся слегка смущенный и возбужденный.

- Чего это с тобой? - спросил я.

- Да, ты знаешь, там в туалете полно всякой всячины: одноразовые бритвы, зубные щетки, расчески... Я взял по одной - все равно же для нас припасли: думаю, вдруг пригодятся...

Я сдержанно кивал: ну, конечно, мол, чего тут церемониться...

Он как-то приободрился:

- Знаешь, там еще шампунь была, но я подумал - это уж будет слишком.

- Напрасно скромничаешь, - сказал я, - сходи, может еще успеешь.

Сосед обиженно засопел и отвернулся.

... Самое удивительное, что в Сеуле, куда мы прибыли уже под утро, ни одного пьяного среди нас не оказалось. Кое-кто еще и рассвет здесь встретил, приняв на грудь уже отечественной водки, предварительно захваченной из дома. А уж на посешок на обратном пути тут же, в международном Сеульском аэропорту, пришлось раскошелиться на заморский коньяк. Знакомый редактор размышлял вслух: "Все равно что-то надо пить - или валидол или коньяк... Ну, валидол-то я дома чуть не каждый день пью... К тому же остались еще доллары, что их обратно везти? Ну, давай - за равное количество взлетов и посадок!"

Олимпийский Нагано

Мы жили в Токио и трижды выезжали в Нагано, где, собственно, и проходили Зимние Олимпийские игры. Говорить об Олимпиаде после того, как о ней многократно рассказали газеты, вряд ли имеет смысл. Поэтому - кратко - лишь о некоторых моментах и связанных с ними ощущениях.

От Токио до Нагано по прямой чуть больше двухсот километров, а по автомагистрали - все триста. На автобусе этот путь с одной двадцатиминутной остановкой занимает три с половиной-четыре часа. А на суперэлектropоезде, который идет по сверхскоростной железнодорожной магистрали, мы его преодолевали за полтора часа. Не случайно этот поезд окрестили "пулей" - он движется со скоростью до 250 километров в час, так быстро, что не спеваешь из окна полюбоваться красотами японской природы. И при всем этом - полный комфорт: не трясет-не качает, читай, пей кофе, отдыхай. Кто-то из наших туристов умудрился даже позвонить из тамбура, где стоят телефоны-автоматы, домой в Алма-Ату.

И автомобильная дорога, и сверхскоростная железнодорожная магистраль построены к Олимпийским играм. Как, впрочем, и многие другие объекты, среди которых стадион на 50 тысяч зрителей, где проходили церемонии открытия и закрытия соревнований. Самое поразительное, что предприимчивые японцы умудрились сделать этот стадион одноразовым. В будущем такое вместительное спортивное сооружение городу просто не понадобится, поэтому его соорудили из легкосборных металлических конструкций и демонтируют после окончания Олимпиады.

А вот два других стадиона, в которых проходили состязания по хоккею, конькобежному спорту, фигурному катанию, будут служить и после Олимпиады. Оба они многофункциональны, но их никак не спутаешь - один имеет внешние очертания морской волны, а второй сделан в форме капли. И в этом тоже проявляется стремление японцев к красоте.

Не буду описывать церемонию открытия - все, кто хотел, видели ее по телевизору. Скажу лишь о собственных ощущениях во время этого грандиозного, красочного, тщательно продуманного торжественного действия.

Именно в такие минуты начинаешь верить в то, что, действительно, не существует границ для людей доброй воли, мечтающих быть вместе, именно в эти мгновения задумываешься о том, что во всех нас куда больше того, что роднит, чем того, что разъединяет... И что давно знакомая всем фраза "О, спорт - ты мир!" - не просто слова...

Эти непонятные японцы

Каковы японцы вблизи? Что они за люди?

Да, такие же, в общем, как и большинство из нас и, кстати говоря, среднестатистический японец никакой не пузатый - скорее наоборот - худощав, подтянут, сосредоточен. Доброжелателен. Кажется, мы не ошутили на себе ни одного косога взгляда со стороны жителей этой далекой страны, даже если подчас этого заслуживали.

Феномен поразительного успеха японцев в развитии собственной экономики - в разумном общественном устройстве, законах, создающих базу для устойчивого экономического развития и поддерживающих отечественного производителя. А еще в невероятной добросовестности и трудолюбии японцев, их поразительном умении "схватывать" все лучшее, что есть в мире в области новых технологий, и затем улучшать это лучшее.

При этой своей удивительной "технологической" восприимчивости японцы, как и прежде, остаются верны себе во всем том, что касается их обычаев, традиций, внутреннего мира. И этот поразительный симбиоз, вероятно, помогает нации сохранять некую внутреннюю стабильность, позволяет японцам, опережая на полшага-шаг самых быстрых в мире конкурентов, оставаться при этом самими собой.

Японцы очень прагматичны. В Иокогаме - город с 3, 5-миллионным населением вблизи Токио - мы приехали в день государственного праздника - Дня основания Японии. Внешне праздник никак не ощущался - не было ни

торжественных шествий, ни флагов с транспарантами, ни концертов на улицах, ни приуроченных к празднику спортивных состязаний. Зато почти на каждом балконе многоквартирных жилых домов, на крошечных балконах индивидуальных жилищ японцев было развешено белье всех видов и мастей - от детских ползунков и полотенец до простыней, верхней одежды и даже матрасов и одеял. Это была какая-то всеобщая демонстрация сушки белья - будто "иокогамцы" таким образом выражали свое отношение к празднику. Между тем объяснение всему этому очень простое: жилье у них, как правило, тесноватое, сушить и проветривать белье негде, а тут прекрасный солнечный день, какие в эту пору бывают не так часто, и почему бы не воспользоваться такой возможностью?

В один из дней наш гид Аня-сан с какой-то особой торжественностью сказала:

- Сегодня мы едем в древний буддийский храм. Там вы сможете молиться нашему японскому богу.

Я сразу вспомнил покойного отца и улыбнулся: японский бог или еще японский городской - это были часто употребляемые им выражения, правда, по весьма специфическим поводам и с вполне определенным, отнюдь не божественным, подтекстом... Знал бы отец - при каких обстоятельствах я буду вспоминать об этом...

... Мы были в нескольких буддийских храмах. И везде - постоянное коловращение народа, вездесущих многочисленных туристов. Меня больше всего поражало явное несоответствие торжественности, значительности того, что делают японцы, приходя и приезжая сюда, с тем, что происходит вокруг. Каким-то образом им удавалось отрешиться от всеобщей суеты, снующих туда-сюда, жующих и смеющихся людей. Японцы всех возрастов останавливались около специальной дымокурни, где сжигались ими же купленные ароматические травы, упакованные в бумагу на минер сигарет, с серьезностью направляли на себя дым, прихлопывая его ладонями к частям тела, которые хотели бы защитить от болезни или оздоровить... Затем шли к самому храму, к изваянию Будды, с шумом бросали монеты в металлический ящик, молитвенно складывали руки и о чем-то говорили со своим японским богом, совсем не обращая внимания на то, что происходит вокруг...

Наверное, в этом тоже проявляется их пластичность, умение приспособиться к обстоятельствам и все тот же прагматизм. Что поделаешь, ведь другой возможности совершить этот ритуал все равно нет...

Мне запомнилась встреча с Большой Буддой На Открытом Воздухе - так его нам представила экскурсовод.

Будда и впрямь был очень значителен, строг, сосредоточен - свыше полутора десятков метров в высоту с шестнадцатикилограммовой серебряной шишкой на лбу - знаком его божественного предназначения... А от других изваяний это отличалось еще и тем, что внутри будда - полый и за символическую плату в двадцать иен (я даже не знаю, купишь ли за эти деньги хоть что-нибудь в Японии) можно войти внутрь и продолжить общение с японским богом, что многие посетители и делают...

Японцев бывает трудно понять... В Нагано один из них подрядился возить на микроавтобусе делегацию правительства Москвы от гостиницы до места соревнований. Каково же было изумление москвичей, когда они узнали о том, что их частный извозчик на самом деле миллионер - со всеми сопутствующими атрибутами, включая собственный вертолет.

Московский мэр Юрий Лужков сказал по этому поводу: "Никогда еще меня не возил владелец личного вертолета!"

Повествующая об этом случае популярная российская газета ничего не пишет о том, что побудило миллионера на столь необычный для нас поступок. Может быть, он просто рассудил: ехать все равно надо, зачем же гнать микроавтобус порожняком, если есть возможность попутно заработать...

Хотя было бы в высшей степени опрометчиво считать японцев такими сухарями-рационалистами. Нет, они также романтичны, созерцательны, умеют понимать и ценить прекрасное... Наверное, как никто другой, японцы умеют наслаждаться красотами природы. Если день был солнечный, экскурсоводы обязательно приглашали нас полюбоваться видом "прекрасной священной горы Фудзи". Одна из давних традиций японцев - подниматься на Фудзияму и на ее вершине встречать рассвет первого дня Нового года. Можно ли себе представить хоть что-то подобное у нас?

Проведенный международный социологический опрос показал, что японцы - самые счастливые люди в мире: более 70 процентов жителей Страны Восходящего Солнца в ходе него признали себя абсолютно счастливыми.

В других процветающих странах таких людей как минимум вдвое меньше. Может, и в этом проявляется мудрость японцев: нельзя гневить судьбу, надо дорожить тем, что имеешь, уметь радоваться жизни...

Реакция японцев на некоторые вещи подчас непредсказуема. Японская пара фигуристов выступила на олимпийских соревнованиях крайне неудачно, по сути провально - партнерша упала во время танца раз восемь-десять... И что же? Японские болельщики, а их в зале было, конечно, большинство, буквально завалили своих земляков цветами. Чемпионы не имели и части того. Наверное, тем самым болельщики хотели сказать своим фигуристам: "Не расстраивайтесь, мы любим вас и верим в вас, и, вообще, жизнь прекрасна!"

Перед отъездом в Японию я все же успел полистать, по-моему, очень хорошую книжку об этой стране Всеволода Овчинникова "Сакура и дуб". В ней он касается и такой неисчерпаемой темы, как взаимоотношения японских супругов. Описывает он их так: жена должна безропотно терпеть поздние приходы своего супруга, его нередкие отлучки. Здесь бытует такое выражение: "вернуться домой на тройке". К знаменитой русской тройке оно не имеет никакого отношения. Означает это, что глава семьи в изрядном подпитии вваливается домой среди ночи, поддерживаемый с двух сторон девицами из бара. Вместо полагающегося по нашим понятиям скандала жена обязана пригласить их обеих в дом, напоить чаем, уточнить, не должен ли супруг заведению, и только потом с благодарностью отправить их восвояси. Не подобные шалости мужа, а ревность жены выглядит аморальной в глазах японцев.

По правде говоря, мне не очень верится в подобную идиллию супружеских отношений. Спрашивать об этом у нашей Ани-сан как-то постеснялся. Но вот что она рассказывала сама. У японцев есть специальный день благодарения. В этот день глава семейства и ее кормилец остается дома, отдыхает от трудов праведных, а

супруга всячески ублажает его - потчует лучшими блюдами, предупреждает все желания супруга, воздавая ему должное... И это при том, что многие женщины, как и мужчины, работают. Попробуй пойми их, этих японцев. На это не хватит не только наших восьми дней, но и, пожалуй, восьми лет...

Аня-сан и ее семья

Все восемь дней, проведенных в Японии, с нами неотлучно находилась наш гид Акико-сан, которую мы сразу окрестили на русский манер Аней. Она даже ночевать домой не ездила, оставаясь с нами в отеле.

В известной мере Аня-сан олицетворяла для нас традиционный образ японской женщины: доброжелательно сдержанной, очень нешумной, обстоятельной, деликатной, не лишенной чувства юмора.

Меня Аня-сан интересовала и как объект исследования - через нее мы получали массу сведений о разных сторонах жизни в Японии. Больше двадцати лет назад Аня-сан закончила факультет иностранных языков университета. Специалист по русскому языку. К сожалению, ее профессия остается большей частью невостребованной. Поэтому она вынуждена довольствоваться скромной ролью домохозяйки и подрабатывать от случая к случаю, обслуживая нечастые группы туристов из бывшего Советского Союза, иногда - и официальные российские делегации.

Семью содержит ее муж - профессор университета, специалист по английской литературе. Семью также можно считать типично японской: муж, жена и двое детей-студентов. Живы и матери Ани-сан и ее супруга, которые предпочитают жить отдельно от детей.

Вот как складывалась жизнь супругов после их женитьбы. Они снимали крохотную квартирку в Токио, но мечтали о своем жилище и смогли купить квартиру лишь в префектуре Иокогама, расположенной в нескольких десятках километров от столицы. И тут им улыбнулась неслыханная удача: город Иокогама стал стремительно развиваться, стоимость жилья здесь резко подскочила. Квартиру, купленную за три миллиона иен (около 30 тыс. долларов), они смогли продать через несколько лет почти в пять раз дороже и купили на окраине Токио участок земли в 120 квадратных метров (это обошлось примерно в 190 тыс. долларов) и выстроили собственный дом (за 130 тыс. долларов). Обращает на себя внимание тот факт, что строительство дома (весьма, впрочем, скромного) обошлось им в полтора раза дешевле стоимости самой земли размером 11 на 11 метров (чуть больше сотки!). Иначе говоря, один квадратный метр стоил полторы с лишним тысячи долларов. Между тем в Токио есть районы, где цены на землю в десять и более раз дороже.

Около десяти лет назад семья прикупила квартиру в центре Токио. Очень небольшую, в две комнаты, общей площадью в 45 квадратных метров. Обошлась она в 250 тыс. долларов.

Откуда такие деньги в семье, где работает один человек, к тому же, по нашим меркам, не так уж много зарабатывающий? У японцев не принято интересоваться размерами их доходов. Сама Аня-сан отнесла свое семейство к семьям со средним достатком. Значит, не так уж мало зарабатывает профессор университета в Стране Восходящего Солнца, если может один содержать семью из четырех человек, где двое детей-студентов, за обучение которых надо платить, и покупать недвижимость...

Когда я поделился с Аней этими своими глубокомысленными выводами, она понимающе улыбнулась: "Да, мы не самые бедные, но мы и не богаты... А за дом и за квартиру еще платить и платить - мы их приобрели в кредит, уплачивая первоначально лишь часть стоимости..." Аня-сан помолчала, словно сомневаясь - надо ли продолжать - и, вздохнув, подытожила: "Я даже боюсь думать о том, что муж может потерять работу, молюсь, чтобы с ним ничего не случилось... Куда мы без него, что с нами будет?..."

Выплачивать кредиты за жилье, говорила мне Аня-сан, помогают и ежегодные премии, которые пару раз в год выплачиваются мужу как хорошему работнику - в общей сложности это полтора-два млн. иен (15-20 тыс. долларов) в год.

Дети живут отдельно от родителей. Дочь - будущий медик, заканчивает аспирантуру. Учится она в другом городе, в государственном университете, но за учебу все равно приходится платить - около пяти тысяч долларов в год. Примерно в такую же сумму обходится обучение сына, изучающего биохимию. Сын живет в бывшем доме родителей (один или с бабушкой), а дочь снимает квартиру за 600 долларов в месяц.

За будущее дочери мать более-менее спокойна: профессия медика в Японии востребована, высокооплачиваема. А вот найти работу сыну, жаловалась Аня-сан, будет весьма проблематично... Впрочем, она считает, что он может попытаться счастья в США, где охотно берут на работу японских выпускников - специалистов подобного профиля. С языком проблем быть не должно - во-первых, школьники в Японии поголовно изучают английский, а, во-вторых, семья год прожила в Англии, куда приглашали на стажировку мужа, и там дети посещали английскую школу.

Вся вместе семья собирается нечасто - в лучшем случае несколько раз в год. Вкусы родителей и детей во многом разнятся: родители спят на полу, на татами, и предпочитают рыбу, а дети - на диванах и выбирают мясо... И сын, и дочь подрабатывают в подготовительных школах, натаскивая будущих студентов перед поступлением в вузы и колледжи. Приработок невелик - до 30 тыс. иен (250-270 долларов) в месяц. Но все же какие-никакие деньги...

Машины у семьи нет. Не потому, что муж не может этого себе позволить. Ему проще и удобнее добираться до работы, где не обязательно бывать каждый день, на электричке (час и 20 мин. в один конец). На машине при сверхзагруженности токийских улиц быстрее доедешь не всегда, к тому же в центре, где они живут, сверхдорогие стоянки. Поэтому оба они предпочитают общественный транспорт и... велосипеды, на которых иногда отправляются в ближайшие магазины за покупками.

Ударники капиталистического труда

В один из дней нам устроили поездку на завод всемирно известной автомобильной компании "Ниссан". Нет смысла рассказывать о том, что это за предприятие. Уместно, наверное, будет привести несколько цифр. Только в 1997 году заводы "Ниссана" внутри страны произвели миллион шестьсот тысяч автомобилей различных модификаций, да еще миллион с лишним выпустили филиалы компании за рубежом. "Ниссановский" автомобиль предпочел другим моделям император Японии Акихито - этим все сказано. Мы встречались с менеджерами "Ниссана", объехали территорию завода, побывали в двух цехах - сварочном и сборочном.

В первом смотреть было особенно нечего - людей тут нет, работают роботы-манипуляторы. А вот на сборочном конвейере, где изготавливают столь популярные на просторах СНГ, в том числе и у нас в Казахстане, "Максимы", нам наглядно продемонстрировали, что такое интенсивный капиталистический труд. Здесь несколько десятков рабочих мест, у каждого остов будущего автомобиля останавливается на считанные секунды. Мы, человек семьдесят, шли вдоль конвейера (это метров сто-сто пятьдесят) с остановками минут пятнадцать-двадцать. И за все это время ни один из сборщиков ни разу не удостоил нас ни малейшим вниманием: никто не улыбнулся, не помахал рукой в белой перчатке, ни на секунду не приостановился. Всем им было не до нас. Они работали. Иные чуть ли не бегом, подчиняясь неумолимому движению конвейера. Так что используют тут сборщиков на полную, по-нашему выражаясь, катушку. Без преувеличения - эксплуатируют.

Я обратил внимание на то, что на сборке заняты в основном молодые люди. Пожилым, вероятно, такой ритм просто не под силу.

Нам сказали, что средняя зарплата на "Ниссане" - три тысячи долларов в месяц. По японским меркам не так уж много. Впрочем, на конвейере, наверное, зарабатывают побольше. Но мы видели - как людям даются эти деньги.

Что здесь почем

По нашим представлениям, Япония - безумно дорогая страна.

Я интересовался ценами везде, где только мог и, как ни старался соотносить их с довольно высоким уровнем жизни в этой стране, не мог к ним привыкнуть.

Вот, скажем, мясо. Самое дешевое - от двух тыс. иен, или минимум 15 долларов, то есть больше тысячи тенге за килограмм. А самое дорогое, "мраморная", особым способом выращиваемая говядина, - от 10 до 15 тыс. иен, или до 150 долларов (свыше десяти тысяч тенге).

Но это не показательный пример. Во-первых, японцы не едят столько мяса, сколько мы (у них на первом месте рис, затем рыба и морепродукты), а во-вторых, несопоставимы и уровни доходов - их с нашими (об этом речь позже). А пока еще о ценах. Буду называть их в долларах - так легче ориентироваться читателю (курс доллара - примерно 76 тенге).

Итак, рис, самый употребляемый японцами продукт питания, его покупают сразу по 5-10 килограммов, стоит примерно 3, 5 доллара за килограмм, рыба: от 15-20 долларов (дешевые иваси и ставрида, кета) до 40-45 долларов - дорогой морской окунь за килограмм; молоко - 1, 5-2 доллара за литр.

В Японии продается очень много полуфабрикатов, и люди здесь охотно их покупают, предпочитая экономить время.

Хлеба японцы едят немного, гораздо меньше, чем мы. Стоит он около одного доллара за сто граммов - опять же по нашим представлениям очень дорого.

Я записал цены на овощи и фрукты у уличного торговца в Токио. Капуста - около двух долларов, лук - один доллар, свежие помидоры - три доллара, картошка - чуть больше доллара, бананы - около двух долларов, свежая клубника - четыре доллара, мандарины - до четырех долларов за килограмм. Тут же продавались яйца - по полтора-два доллара за десяток.

Разброс цен на обувь и одежду очень велик: от сопоставимых с нашими до запредельных. Цены на японские товары значительно выше, чем на зарубежные (Корея, Китай, Гонконг, Малайзия и т.д.). При этом надо иметь в виду общеизвестное - японские товары всегда отличаются высочайшим качеством.

Достаточно дороги здесь пиво и спиртные напитки. Самое дешевое пиво в нашей гостинице было не меньше 2, 5-3, 5 доллара (330 граммов). В ресторанах - не менее 5-6 долларов, а в одном из тех, где мы ужинали, даже десять долларов порция. Саке - японское рисовое вино крепостью до 18-20 градусов - в магазинах стоит дешевле - пол-литра можно купить за 5-6 долларов. Пачка недорогих сигарет обойдется в два-три доллара. Некоторые из нас пользовались такси, которых здесь огромное количество. Тоже весьма дорогое удовольствие. Ехали минут двадцать (или километров 12-15), заплатили четыре тысячи иен, около 35 долларов. Километр обходится больше трех долларов.

Наверное, имеет смысл сказать о ценах на транспорт, стоимости билетов на олимпийские соревнования. Стоимость одной поездки на скоростном поезде из Токио в Нагано (примерно 200 километров) - 80 долларов. Столько же стоили наши билеты на хоккейные матчи. А на церемонию открытия - 160-180 долларов. Самые дорогие билеты были на финал хоккейных матчей и на церемонию открытия - до 200-300 долларов, хотя на отдельные виды состязаний можно было купить билет с рук и за 15-20 долларов. Кстати говоря, перекупщиков-продавцов билетов у стадионов было предостаточно.

Недешево стоит и отечественная телерадиовидеотехника. Приличный телевизор - не менее тысячи долларов, самая дешевая видеокамера - не менее 500, а с "наворотами" - до полутора тысяч и больше. Наших туристов это не остановило - многие "затарились" телевизорами, "ямаками" и прочими престижными японскими товарами.

Представление о ценах на здешние автомобили мы получили в выставочном центре "Тойота", где на нескольких этажах красуется не менее четырех десятков легковушек, джипов, микроавтобусов этой марки стоимостью от 20-25 тыс. до 70-80 тыс. долларов.

Очень дорогое в Японии жилье. В префектуре Икокогама мы проезжали мимо ухоженных однотипных домишек в двух уровнях, и Аня-сан пояснила, что это престижный, экологически чистый район, в котором живут состоятельные японцы. Средняя стоимость коттеджей, которые выглядят ничем не лучше многих наших павлодарских "лесозаводских" - 800 тыс. долларов.

Но дорожке всего в этой стране, конечно, земля. На токийской улице Киндза один ее квадратный метр стоит 14-16 тыс. долларов, а в годы строительного бума цена здесь "прыгала" до 20-25 тыс. долларов за квадратный метр.

Конечно же, в Японии, как и везде, живут люди с очень разным уровнем достатка. А средний годовой заработок в стране составляет 6 млн. иен, или примерно 50 тыс. долларов. Так что сопоставляйте с ценами и сами решайте, насколько богат или беден "среднестатистический" японец.

Как мы ели шабу-шабу

Организаторы нашего путешествия по Японии позаботились о том, чтобы познакомить нас с различными видами здешних кухонь. Среди них преобладали европейские (с японской, разумеется, спецификой), где кормят по типу известного многим шведского стола. И хотя далеко не всегда в таких случаях мы понимали, что едим, худо-бедно в обстановке ориентировались... Пока не попали в японский ресторанчик в Нагано.

Весьма скромное, тесноватое помещение с узким проходом, по обе стороны от которого расположены разделенные перегородками отсеки. В каждом пара столиков - низких, как казахский дастархан, но прямоугольной формы - человек на десять. Такое впечатление, что сидеть придется, скрестив ноги, по-мусульмански. Но мы - народ привычный, в проходе разуваемся (это обязательно), пробираемся на четвереньках к своим местам и только теперь обнаруживаем, что под столом есть углубление - ниша, куда можно опустить ноги. Под мягкое место полагается подушечка - так что комфорт полный. Если в ресторане прохладно (а бывает и такое), то ноги под столом вам укутают одеялом.

Ждем хлеба, закусок, вилок-ложек. Но пока на столах лишь бокалы, наполненные холодной водой со льдом (это тоже традиция) да деревянные палочки. Потом приносят и ставят в центр стола, куда вмонтирован электронагреватель (что-то вроде не обнаруженной нами сразу электроплитки), большое металлическое блюдо с углублением в середине и широкими, как у шляпы-сомбреро, полями. В углублении плещется какая-то жидкость, а по краям блюда - крупно нарезанные овощи - лук и, кажется, капуста. Затем приносят второе блюдо - с тончайше нарезанным розово-мраморным мясом.

Когда вода в первом блюде закипает, надо палочками уцепить лоскут мяса, опустить в кипящий бульон, слегка прополоскать, не отпуская, и - буквально через минуту-полторы - вытаскивать и есть, окуная в крохотную пиалку с бордовым соевым соусом... Дело вроде нехитрое, но сказывается полнейшее отсутствие сноровки: палочки тебя не слушаются, мясо то не цепляется, то сразу по два лоскута... Ты его теряешь в бульоне и потом не знаешь, где твое, а где соседское... Некоторые сразу затребовали хлеба, вилок, но официантки-японки с обезоруживающими улыбками развели руками - мол, "не держим-с". Вот sake, пожалуйста... Некоторые из наших соотечественников предпочли предусмотрительно прихватившую с собой из дома отечественную водку. Наверное, приносить с собой спиртное и распивать по здешним правилам не полагается, но официантки сделали вид, что ничего не замечают.

Что же до палочек, то кто-то быстро приноровился, кто-то орудовал обеими руками... Гарнир - рисовую лапшу - каждый также варил себе сам, тем же способом. И как бы там ни было, голодным не ушел никто. Наоборот, все были довольны: экзотично, а главное, вкусно! А называется это традиционное японское кушанье - шаба-шаба.

Похожим, но уже корейским блюдом нас потчевали в корейском ресторане. Опять ни хлеба, ни столовых приборов - только палочки. Обычный столик на пятерых человек, в середине - что-то вроде газовой плитки. Поворачиваешь тумблер - загорается огонь, над ним сковородка в форме выпуклой полусферы. Приносят блюдо со все той же "мраморной" говядиной. Берешь палочками лоскут, укладываешь за эту выпуклую сковородку, слегка поджариваешь, переворачиваешь, опять поджариваешь и ешь, обмакивая в тот же остро-кислый соевый соус. Такая вот своеобразная форма самообслуживания.

Сковорода быстро раскаляется, с нее во все стороны летят горячие брызги, мясо у нас то пережарено, то сыровато, многие перемазались, как малолетние дети... Гид успокаивает: не волнуйтесь - слегка измазаться за столом - у японцев признак хорошего тона, это свидетельствует о приличном аппетите, то есть здоровом мироощущении... Думаю, в том корейском ресторане, несмотря на некоторые неудобства, мы продемонстрировали эти последние качества в полной мере. И, что тоже немаловажно, ни у кого на следующий день не было никаких проблем с желудком, хотя мы изрядно опустошили мясные закрома ресторана.

Еще один экзотический ужин состоялся в китайском ресторане. Ресторан выдержан в строгих белых тонах. Еда - салаты из овощей и морепродуктов, рыба, моллюски, мясо, включая утку по-пекински, и другие деликатесы. И снова никаких приборов - только деревянные палочки. Столы - круглые, человек на 10-12 каждый. Сердцевина стола - вращающаяся, на ней и стоят все блюда, на больших общих тарелках. Искусство застолья, насколько я усвоил, состоит в том, чтобы крутнуть к себе стол и, быстро орудуя палочками, положить себе желаемое... При этом нельзя слишком долго испытывать терпение всех остальных - они ведь тоже пришли сюда "в рассуждении чего бы покушать..." И ушами хлопать нельзя: зазеваешься - уйдешь голодным. Такое вот иезуитство, воспитывающее в человеке, с одной стороны, ловкость рук, а с другой -

хорошие манеры...

Так что "гастрономическая" часть нашего путешествия по Японии была далеко не самой скучной. Скорее - наоборот.

Канадка Хайди

Наша группа была сугубо казахстанская, но невесть как в нее затесалась канадская фотожурналистка Хайди. Ей около тридцати лет, с 23 лет живет в Москве, снимает видных российских политиков для самых престижных газет и журналов.

Чем-то неуловимым Хайди сразу выделялась из всех нас. Нет, она не держалась особняком, не была высокомерной - наоборот, коммуникабельной, доброжелательной, улыбчивой... Слегка вздернутый нос, лицо в уже весенних конопушках... Она была с нами и в то же время как бы сама по себе. Мне это трудно объяснить, наверное, дело в том, что у нас просто разный менталитет. Не люблю это слово, но ничем иным не могу объяснить эту нашу несхожесть.

Я подарил Хайди свою книжку. Она показала мне альбом своих фотографий - "Лики оппозиции" - Зюганов, Жириновский, Лапшин, Руцкой, Брынцалов. Портреты мастерские, ей безусловно удалось "схватить" что-то очень важное в облике этих столь непохожих людей.

Хорош был и Кирсан Илюмжинов - в искусно отделанных белых национальных одеждах, мягких сапогах - этакий современный молодой Чихисхан. Хайди сказала, что у них с Кирсаном хорошие отношения, он брал ее с собой за границу и, вообще, он интересный растущий политик.

Я не стал проявлять учтивость и сказал, что, судя по недавним публикациям в "Известиях", с которыми сотрудничает Хайди, и в "Комсомолке", вместо обещанного Илюмжиновым рая земного в его родной Калмыкии дела с каждым годом идут все хуже, зато у президента появляются наполеоновские замашки.

- Ну, что вы, - отвечала Хайди, - он столько делает, он построил буддийский храм... Мы были с ним у тибетского Далай Ламы, и он с таким интересом слушал Кирсана...

И, видя, что эти примеры меня не слишком убеждают, Хайди с поразительной непосредственностью привела еще один аргумент:

- Он мне машину подарил...

Что ж, подумал я, это другое дело и сразу утратил интерес к дальнейшему разговору.

Вечер с гейшами

Нас едва ли не в первый день предупредили, что под занавес путешествия нам уготовано так называемое шоу "Гейша". И некоторые сразу размечтались, ожидая встречи с чем-то "этаким-таким" - сверхэкзотическим и (чего греха таить!) отчасти неприличным... Тем более, что нам чуть ли не ежедневно напоминали о скорой встрече с гейшами.

Насчет этих самых гейш существует немало заблуждений. Пытаясь восполнить пробелы в наших знаниях по этой части, Аня-сан со свойственной ей деликатностью, в сверхосторожных выражениях объясняла: с очень давних времен японцы делили женщин на три категории: жена - для домашнего очага, продолжения рода; для плоти - ойран, фактические проститутки; и, наконец, для души - гейша. Гейша в буквальном переводе - "человек искусства". Она - искусница развлекать мужчин - пением, танцами и, разумеется, своей образованностью.

С такой и предстояло нам провести один из вечеров, в специальном театре, расположенном на тихой улочке в центре Токио. Нас набралось человек семьдесят, и, кажется, мы были единственными его посетителями в тот вечер. Мне запомнился небольшой, сумрачный дворик, влажная дорожка, выложенная из камня, экзотические растения... Нас провели в зал - почти квадратное помещение, напоминающее кинотеатр средней руки, со сценой, где и должно было происходить загадочное представление.

Хозяйка заведения, пожилая японка с высокой замысловатой прической, знаками показала, что мы должны снять обувь и занять места в зрительном зале. Таковым его, по нашим представлениям, можно было считать лишь условно: ни стульев, ни кресел, а лишь небольшие "загончики" с невысокими перегородками и дощатыми полами, каждый - человек на 10-15. Тут же низенькие столики, на которых стояли чайники и маленькие пиалки.

Мы разулись, прошли... Нам было предложено выделить из своих рядов мужчину - господина, приход к которому должны изображать гейша с ее помощницами. Роль господина мы доверили красавцу Рашиду из Петропавловска. Его увели за кулисы, и скоро он появился на сцене в сопровождении главной гейши и четырех ее спутниц. Рашида усадили в красный угол, главная гейша (как пояснила нам Аня-сан, гейша высочайшего класса) церемонно подавала ему пиалу с сакэ, "употребила" и сама, исполнила песню и небыстрый танец и присела, уступив место помощницам...

Честно говоря, мы были слегка разочарованы. Главная гейша оказалась весьма пожилой женщиной, а ее спутницы - чуть ли не девочками. Лица нельзя было рассмотреть - густой слой белил превращал их в безжизненные маски, а красные (тоже накрашенные) веки выглядели и вовсе пугающе. Сложные высокие прически, яркие одежды, скрывающие очертания тел (главная гейша из-за своих многочисленных нарядов была едва ли не квадратной), - все это походило на нарочито театральное действие. И уж, конечно, в нем не было даже намека на какую-то ни было пикантность, "клубничку".

Впрочем, винить в своих разочарованиях мы должны были лишь самих себя. В театре нам показали один из традиционных ритуалов - своего рода сцену из спектакля. Она дает представление об атмосфере вечера в обществе гейши, ее одеждах, видах искусства, которыми владеет гейша. Уставший от больших трудов, мужчина должен в такой атмосфере расслабиться, отвлечься от забот...

Длился весь этот спектакль минут 15-20. Нам сказали, что мы одни из последних его зрителей. Скорее всего, театр будет закрыт из-за не востребоваемости: ни самих японцев, ни даже туристов уж не привлекает некогда загадочный ритуал.

Мы - это мы...

Просторный вестибюль гостиницы заставлен коробками. Телевизоры, видеомагнитофоны, музыкальные центры... В багажники двух автобусов все это не помещается, и, чтобы доставить наши покупки в аэропорт, заказан специальный грузовик.

Японцы вежливо интересуются: казахстанские туристы собираются по возвращению на родину делать бизнес? "Да нет, - разъясняет кто-то, - себе купили, друзьям, родственникам". "А что, у вас принято делать такие дорогие подарки?" - не понимают японцы.

В каких-то вещах нам действительно трудно понять друг друга. Например, когда в японской семье рождается дочь, то бабушка с бабушкой дарят ей набор кукол, очень дорогой, стоимостью от 3 до 15 тыс. долларов. И никого в Японии это не удивляет. А наши туристы, подчас преодолевая немыслимые трудности, везут за тридевять земель заморские товары. И у нас это тоже никого не удивляет, хотя теперь эти товары почти за ту же цену можно купить дома.

Такие уж мы есть, нас не скоро переделаешь. Нас вообще трудно с кем-либо спутать... Кто еще, например, станет пить водку в шесть часов утра в международном сеульском аэропорту перед вылетом в Токио? А среди нас такие были.

В аэропортах мы отличались тем, что создавали толчею на регистрации и посадке; в ресторанах со "шведским столом" мигом опустошали его, зачастую не успев насладиться по-настоящему вкусными блюдами... Мы почти всегда опаздывали к намеченному времени сбора, и поэтому гиды вынуждены были назначать его с солидным запасом. Когда наш гид вела нас по улице или токийскому вокзалу, неся над головой, как знамя, табличку с надписью "Казахстан", японцы старались посторониться и с нескрываемым интересом поглядывали на нас... Надо полагать, здесь так уже давно не ходят.

У ворот буддийского монастыря в Токио мы встретили рикшу, который вез в высокой коляске чету немолодых японцев. Кажется, это был единственный рикша, которого мы видели в Японии... Наши его тут же обступили, стали фотографировать друг друга на столь экзотическом фоне.

В глазах нанявшего рикшу японца читались изумление, растерянность, обида (с какой стати его задержали эти незнакомые люди?), сам рикша все время порывался тронуть с места, а мы продолжали удовлетворять свое любопытство... И когда, наконец, посторонились, рикша рванул с места, как застоявшийся конь...

Или вот еще. На своем экскурсионном автобусе мы ехали вдоль Тихоокеанского побережья. Это была наша единственная встреча с океаном, и водители автобусов, отклонившись от маршрута, сделали короткую незапланированную остановку. Спустя несколько минут двое наших были уже в воде... Что из того, что февраль он и в Японии февраль, пусть и без снега? Что из того, что каменистый берег, обрамленный к тому же специальным ограждением, отнюдь не был предназначен для купания? Может, парни всю жизнь мечтали окунуться в океанские воды, а что момент не самый подходящий, так другого ведь может и не быть... Канадская фотожурналистка Хайди пришла в неописуемый восторг: "Какие молодцы!" и непрерывно щелкала фотоаппаратом... Аня-сан напротив была близка к шоку: "Что они делают? Это же зима... Здесь нельзя... Меня отстранят от работы..."

К счастью все обошлось.

Разные разности

Я знал, что Япония - островное государство, но, кажется, даже не догадывался, что, кроме четырех главных, на которых, собственно, и живут японцы, здесь еще две с лишним тысячи островов и лишь 340 из них имеют площадь больше одного квадратного километра.

Здесь на каждом шагу находишь подтверждение тезису: все лучшее далеко не всегда рождается благодаря чему-то, скорее наоборот - вопреки всему. Так, в Японии почти нет полезных ископаемых, у нее, можно сказать, крошечная сверхнаселенная территория, стране не хватает пахотнопригодной земли... То есть, казалось бы, минусов куда больше, чем плюсов. Ну и что, говорят в ответ всему миру японцы, и отвоевывают у моря территорию отсыпкой грунта; соединяя острова, перебрасывают через проливы уникальные мосты и прорывают в дне морей тоннели...

* * *

Японцы иногда шутят: у нас так тесно, что даже собаки в целях экономии пространства вынуждены махать хвостами не из стороны в сторону, а по вертикали - вверх-вниз. Как и во всякой шутке, в ней есть доля правды: жилые дома, особенно в городах, стоят так тесно, что от одного до другого, кажется, можно достать рукой, рядом с ними почти не бывает свободной земли, в лучшем случае лишь крошечные дворики...

Я поражался, как умудряются развлекаться водители автомобилей на здешних сверхузких улочках...

В Токио транспорту не хватает места, и поэтому он карабкается вверх - автостреды и железнодорожные линии очень часто идут по крышам двух-трехэтажных домов, поднимаются на уровень четвертых-пятых-шестых этажей зданий. И этому очень быстро перестает удивляться, как, впрочем, и качеству здешних дорог...

* * *

В японской столице великое множество автомобилей и... велосипедов. Во всех людных местах устроены специальные стоянки, на которых один к одному, очень плотно, в два-три ряда, дожидаются своих хозяев десятки, а иногда сотни велосипедов. Почти у каждого впереди вместительная корзина-авоська, в которой предусмотрительные японцы возят купленные продукты, другие нужные им вещи. На дорогах велосипедистам не хватает места, поэтому они лихо разъезжают по тротуарам, ловко объезжая прохожих.

Я видел на велосипедах и школьников, и пенсионеров, и многих представительниц прекрасного пола. Одна из них, лет 30-35, подрулила к офису с телефонными аппаратами, ловко соскочила с сиденья, что-то там замкнула маленьким ключиком... Быстро позвонила, вышла, отомкнула своего двухколесного друга, закурила и порулила дальше, ничуть не смущаясь тем, что была она в довольно короткой юбке.

* * *

Здесь мало земли, пригодной для выращивания сельскохозяйственных культур. Может быть, именно поэтому возделан и обихожен каждый свободный ее клочок. С чем это можно сравнить? Да, пожалуй, с отношением иных павлодарских дачников к своим земельным наделам в пять-шесть соток. Теперь могу лично свидетельствовать: по этой части некоторые из нас ни в чем не уступают японцам.

* * *

В Японии невероятно развита сфера услуг, в которой занято огромное количество населения. И это тоже один из признаков цивилизованности. Хотя иногда тут встречаются и такие экзотические виды услуг, которые слегка шокируют бывшего советского человека. Наши туристы забрели в специализированную парикмахерскую и со смешанными чувствами (смятение, восторг, негодование!) рассказывали потом остальным, как сразу несколько мастеров обихаживали одну крошечную собачку.

* * *

Японию часто называют Страной Восходящего Солнца. Я бы еще назвал ее страной белых перчаток. В них работают сборщики на конвейере, где собирают "Ниссаны", в них были все водители наших экскурсионных автобусов, швейцары и другие служащие гостиниц, полицейские... На улицах немало людей (правда, это, в основном, мужчины) без головных уборов, зато в белых перчатках.

* * *

Нам не довелось увидеть цветение сакуры - японской вишни. В Токио вообще мало деревьев - им здесь просто не хватает места. Но зато ствол каждого укрывается на зиму специальной тканью - на случай холодов, и каждое имеет подпорки-ограждения. И это - отнюдь не показная забота. Нам привели такие цифры: почти 70 процентов непахатной земли занимает в Японии лес, свыше 40 процентов здешних лесов - это новые посадки.

* * *

Об отношении японцев к природе. Талисманом Олимпийских игр в Нагано стали снежные совы, которые гнездятся на склонах местных гор. Эмблемой Игр был снежный цветок - местное альпийское растение с трепещущими лепестками.

Японские защитники природы накануне Олимпиады потребовали изменить место проведения соревнований по биатлону, так как они могли нарушить покой гнездящихся здесь ястребов.

* * *

Японцы очень почитают своего императора Акихито, который не обладает реальной властью. У императора и его супруги Мичико трое детей - двое сыновей и дочь. Сам император занимается изучением рыб. Он автор ряда научных трудов по рыбам. Наверное, это единственный случай в мире, когда венценосный монарх занимается столь экзотическим и мирным делом.

* * *

Японская семья всегда была очень дружна. И эту традицию, к счастью, не смог изменить наш сумасшедший двадцатый век. Даже сейчас около 12 процентов японских семей, состоящих из трех поколений (дети, родители, дедушки-бабушки), живут вместе. Здесь по-прежнему достаточно редки разводы: на тысячу семей приходится 1, 57 развода. Для сравнения: в Англии - 2, 9, в США - 4, 8 развода на тысячу человек.

* * *

В Японии самая высокая продолжительность жизни в мире: 76 лет у мужчин и почти 83 года у женщин. Вместе с тем этот безусловный успех порождает и немалые проблемы: уже сейчас четверть японцев - люди пенсионного возраста. А с учетом снижения рождаемости (в 1930 году на каждую женщину приходилось по 4, 7 ребенка, а теперь - 1, 5) через несколько десятилетий Япония будет иметь и самое пожилое населения в мире.

* * *

Мы ужинали в дорогом ресторане, где-то на тридцатом этаже. Было часов девять вечера, в просторном зале полумрак - лишь небольшие свечи мерцали на столах. Сверху отлично виден ночной Токио - во все стороны

море огней - зрелище просто фантастическое.

В этом ресторане было два любопытных эпизода. Встретивший нас внизу служащий провел группу к лифту и, услышав русскую речь, решил блеснуть своими знаниями:

- До свидания! - белозубо улыбаясь, выдал он, едва мы вошли в лифт.

Мы всё сразу поняли, засмеялись:

- Не рано ли, еще и не здоровались...

Он понял свою оплошку и поправился:

- Я вас люблю!

- Ну, это другое дело, - согласились мы.

Всё в ресторане настраивало на лирический лад, кто-то из наших решил шикануть: нет ли у вас, мол, нашей русской водки. Тут же принесли покрытую изморозью "Столичную". Удовлетворившись единственной рюмкой (порция - 50 граммов), соотечественник по-царски выложил официанту купюру в тысячу иен (что-то около десяти долларов) и знаком дал понять - все, спасибо, сдачи не надо. Тот же почему-то не выражал благодарности и не уходил. Позвали гида. Та, смущаясь, пояснила: "Это престижный ресторан, и спиртное здесь стоит дорого, надо еще двести иен.

Мы потом посчитали: эти пятьдесят граммов "Столичной" обошлись нашему земляку почти в 800 тенге. И в самом деле - круто!

* * *

Пришли из ресторана часов около одиннадцати - размягченные, разомлевшие от сытости и всего увиденного с высоты птичьего полета. Переоделись в кимоно (услуга отеля!). Взгрустнулось немного.

- Ну, сиди-не сиди, а дело надо делать, - озабоченно заметил сосед.

- Какое еще дело? - лениво любопытствовал я, - двенадцатый час ночи...

- Стирать надо - носки, трусы, рубашку, - отвечивал сосед и тут же занялся этим делом в ванной.

Ну что тут скажешь? Проза жизни, она и в Токио проза.

* * *

Нам были заранее взяты билеты на хоккейный матч Белоруссия - Япония. И на нем нас оказалось немного - всего десятка полтора человек. После первого периода один из туристов-киргизов, бывший в составе нашей группы, сказал: "Пошли в сектор к белорусам - их там совсем мало, надо помочь... Все же у нас единое таможенное пространство - может, еще снова объединимся..."

И мы пришли, ошарашив немногочисленных белорусов своим появлением и своим напором. Мы так болели, что сначала проигрывавшим белорусам все же удалось свести этот матч вничью.

* * *

Наш гид Аня-сан прилично говорит по-русски. Правда, она иногда путает буквы "р" и "л", из-за чего возникают всевозможные казусы. Скажем, когда Аня говорит слово послать, у нее получается нечто совсем иное... У нас хватило такта не обращать на это внимание.

Аня произносит "скурьптура", "мудзэй" и иногда по-детски подшмыгивает носом, что придает ее речи особое очарование.

В каких-то вещах она по-детски наивна. В знак благодарности за ее сверхзаботливое к нам отношение мы подарили ей в день государственного праздника, который она также провела с нами, недорогой набор чайной посуды.

Аня-сан выглядела совершенно обескураженной:

- Да? Почему? Я совсем не ожидала...

И мы поняли, что поступили очень правильно.

* * *

У нас есть еще один гид, ее зовут Акиё-сан. Она почти полная противоположность Ани-сан - стройная, с черными, как смоль, прямыми волосами, постоянно приоткрытым ртом; и это, как ни странно, ей очень идет... Акиё-сан, кроме японского, свободно владеет английским. Она часто говорит по сотовому телефону - будто строчит из автомата. И еще она непрерывно переодевается - даже во время наших передвижений на автобусе и суперэлектropоезде.

Акиё-сан опекает нас как квочка цыплят, и, когда мы шествуем - впереди она с табличкой "Казахстан", а за ней мы нестройной толпой - обычно сдержанные и невозмутимые японцы с интересом поглядывают на нас: мол, что это за делегация?

К концу нашего пребывания в Японии Акиё-сан, уже выговаривает отдельные русские и казахские слова: "Джур, Казахстан!"... "Холёдно..." и другие.

* * *

В Японии, как и во всех странах, есть безработица. Если вам удастся оформить все соответствующие бумаги и получить статус безработного, то в течение полугода вам будет выплачиваться специальное пособие - полторы тысячи долларов в месяц.

Иначе говоря, побудь кто-то из моих знакомых павлодарцев японским безработным, он смог бы за полгода сколотить по нашим меркам приличную сумму и купить новые "Жигули" престижной модели или трех-четырехкомнатную квартиру.

* * *

В вестибюлях японских магазинов, отелей, ресторанов, других присутственных местах устроены специальные гардеробы для... зонтиков. Что-то вроде большого ящика с ячейками. Вошел, оставил зонт и занимайся своим делом сколько угодно. Руки свободны - очень удобно.

* * *

Восемь дней это, оказывается, очень мало. Я так и не побывал в традиционном японском доме, не видел чайной церемонии, не был в саду камней. Я не видел японской деревни и еще очень многого... Но все же Япония была и теперь уже всегда будет в моей жизни...

* * *

Проходим таможенный досмотр в токийском аэропорту Нарита. И вдруг приходит мысль: хорошо бы сесть сейчас в самолет - и сразу попасть домой, без всяких промежуточных посадок.

Блёстки

Это чувство возникает у меня всякий раз, когда я время от времени начинаю ворошить свои старые бумаги. В "отработанном" журналистском блокноте (где-нибудь прямо на обложке - чтобы позаметнее), на обрывке замызганного тетрадного листа или потертой сигаретной пачки, на украшенной замысловатыми вензелями старой визитке нет-нет да и встретишь короткую, сделанную второпях запись... За ней чем-то захватившая тебя когда-то житейская ситуация, картинка с натуры, понравившийся образ, а то и вовсе одна единственная фраза.

Что-то теперь воспринимаешь равнодушно, уже не помнишь - зачем писал и по какому поводу, а что-то по-прежнему обжигает, рождает цепь воспоминаний, будоражит душу... И почти всякий раз охватывает досада: сколько слов отправлено в белый свет, а вот эти, куда более сочные, искренние, томятся взаперти. В "правильные" журналистские материалы они не вписались, поскольку не могли не нарушить привычный строй мысли, рассказами тоже не стали... Мне кажется, пришла пора выпустить их на волю. И я это делаю с неожиданным для самого себя волнением.

Я называю их "Блёстки".

Эрудит

Одну из своих публичных речей в колхозном клубе Иван Секретарев (а выступал он практически на каждом собрании) начал так:

- Уважаемое аудиторное присутствие!

На собрании в очередной раз утверждали на должность старого председателя. Иван высказался против и обосновал свою позицию:

- Да будь у него хоть семь пятен во лбу, я все равно скажу "нет" : разве можно доверять колхоз человеку, который полностью атрофировался от коллектива.

В зале смешки, легкий шум. Уставшие от долгого сидения, надоевшей всем процедуры, люди не прочь отвлечься...Однако председательствующий требует порядка, урезонивает Ивана:

- Не носи ахиною, а то лишу слова!

- Может, еще скажешь - галиматню, - парирует Иван и, перекрывая хохот в зале, громогласно заканчивает:

- Ну, нет, теперь-то уж я точно в принцип встану!

Ультиматум

Недавний выпускник зооветеринарного института, назначенный техником-осеменатором, через несколько недель самостоятельной работы приходит к председателю колхоза:

- Выбирайте в конце концов: или я - или бык!

Непосредственность

В совхозном клубе идет собрание, посвященное итогам уборки урожая. Чествуют комбайнеров-победителей. Директор объявляет фамилию механизатора, занявшего третье место, и сообщает о том, что ему полагается ценный подарок - стиральная машинка. Называется второй и причитающийся ему приз - телевизор. В зале гремят аплодисменты. Розовые от смущения героини жатвы принимают подарки.

Доходит очередь и до победителя. Ему, единственному из всех, директор вручает почетную грамоту и, не успевая сообщить, что к ней еще полагается мотоцикл, слышит вместе со всем залом его раздосадованный рокочущий бас:

- Так это что ж...получается? Мне, выходит, почти что ни хрена?

Правда жизни

Бабы-соседки обсуждают своих мужей. И так выходит, что ни одного путнего: тот пьяница, тот неумеха, тот любитель сходить налево...

Вдовая немка Фрида, обычно в подобных разговорах не участвующая, неожиданно вставляет одну-единственную фразу:

- Лучше без хлеб, чем без мужик!

Бабы умолкают и быстро расходятся.

Сюжет для небольшого романа о семейной жизни

Когда-то им нравились даже недостатки друг друга, а теперь и достоинства раздражают...Между "когда-то" и "теперь" - их совместная жизнь. Вот о ней и надо рассказать.

Образ любимой

Друг отца, дядя Саша Агеев, звал жену - "моя опасна".

Беспечность

Бабы, собравшиеся вечером посудачить, сочувствуют соседке:

- А твоего-то, Настена, опять под утро у Верки видели. Настена (она не выговаривает "ч") беззаботно машет рукой:

- А серт с им, небось не сотрется...

Одиночество

Зимний вечер. Пригородная электричка. Несколько припозднившихся пассажиров скучились на сиденьях в центре пустого вагона. Холодно, неуютно, тоскливо. Все молчат.

Вдруг с визгом отодвигается дверь, и в вагон вваливается мужик - в унтах, шубе, мохнатой шапке, огромный - во весь проем...Решительно направляется к сидящим. У них и вовсе душа в пятки.

- Не возражаете, если посижу с вами, - утробно басит он и, не дожидаясь ответа, сконфуженно оправдывается: "А то сижу один на весь вагон - жутко..."

Ответственность

Тетя Шура Горлова совсем уж было собралась помирать. Но преодолела хворь, встала на ноги. Сыну свое "неожиданное" выздоровление объяснила так:

- Как же я умру, если ничего вам не наказала - кому что достанется.

Оптимизм

- Не смотрите, что я худой и кашляю, - горячился старик, - у меня все почки в сале.

Характер

Богатый сосед нанял тетю Веру Шарубину садить картошку. А когда она все сделала, вдвое урезал обговоренную плату. В ту же ночь (благо, она была лунной) тетя Вера всю картошку выкопала.

Несправедливость

Парень смолоду был мал ростом и получил обидную кличку - Окурочок. Вырос, стал мужиком, детей завел - кличка осталась. Состарился, умер...Так и схоронили - Окурочком.

Любовь

Когда дядя Коля Хухорев стал ухаживать за моей теткой Ниной, своей будущей женой, она отрубила топором

каблуки на своих туфлях, чтобы не так заметна была их разница в росте.
Прекрасная получилась пара - до сих пор им многие завидуют.

В гостях

Молодой человек, желая произвести впечатление, в гостях разговаривает с собакой по-немецки. Хозяйка, мать пригласившей его девушки, простодушно советует:
- Да вы с ней лучше по-нашему, она иностранным языкам необученная.

Припел
(история одного знакомства)

- Мы жили с ним в одном поселке, мельком встречались, но не были знакомы. Надо было наточить коньки, посоветовали - пойди к Василию. Пошла...А он вместо этого четыре часа играл мне на баяне и пел. Так познакомились, а потом поженились...
Других привораживают, а он меня припел!

Бог - не щепочка
(Из рассказа матери)

-Мне от отца часто доставалось - и за дело, и просто так. Один раз, уже не помню по какому поводу, за столом вырвалось: "Пап, ну ей Богу!" А он меня выпорол. Я стерпела, потом спрашиваю: "За что?" - "А не божишь, не подумав...Тебе Бог что, щепочка?"
Между прочим, в Бога он не верил.

Обида

Прадед, муж моей прабабки по отцу, любил выпить, за что получил от нее презрительную кличку "алкогол". Во хмелю он бывал буен и как-то, взяв квашню с мукой, вышел на улицу и развеял ее по ветру. Прабабушка пожаловалась околоточному (дело было до революции). Супруга привели в участок и всыпали ему 30 розог. Она уже жалела, что так вышло, и все пыталась взять мужа под руку, когда они отправились домой. Он ее руку отталкивал и повизгивал:
- Иуда-христопродавец! Христа продала!
Так и не простил, до самой смерти поминал:
- Иуда-христопродавец! Христа продала!

Учеба

Иван Кузьмин, мой двоюродный дядька по материнской линии, рассказывал, как дед Тимофей, материн отец, отучал его от курения.
- Я курить рано начал - лет в восемь. Тайком, конечно. Как-то сижу за сараем возле таганка, он дымит, и я потихоньку дым пускаю, чтобы незаметно было. А дед Тимофей меня застучал...Весь зад оббил хворостиной...
- Потом я уже из Армии пришел, родня собралась - гуляем. Тут дед заходит, а я с сигаретой. Как увидел его - у меня зад сразу заныл...Я одной рукой за зад, а другой сигарету в пепельницу...А он сразу все понял, смеется: "Чего уж теперь, кури - раз куришь, анчихрист..."

Верующий человек

Один из моих дядьев очень своеобразно верил в Бога. Крестился, когда другие крестились, при этом приговаривая:
- Слава тебе, Господи, что я не хохол!

Откуда берутся клички

Бабушка рассказывала, как на всю жизнь получил кличку один из ее дядьев - Григорий. Он чуть не загнал свою лошаденку, догоняя загулявшего купчишку, который спяну обронил сумку с деньгами. Тот сумку принял, заглянул внутрь, покряхтел и выдал награду - 20 копеек.
В сумке было целое состояние. А к дядьке в деревне намертво приклеилась кличка - Гришка-дурачок.

Яблоко от яблони

К нам пришли гости. Мой приятель - проныра и баламут Крутьев с женой и трехлетним сыном Котей. Сын - точная копия отца, и повадки у него те же.

Я вышел за чем-то, а когда вернулся, Котя уже надел мою бейсболку.

- Откуда у тебя эта кепка, старик? - миролюбиво спрашиваю я.

- Классная бейсболка, - невозмутимо замечает он, - посмотри, как она мне идет!

Новатор

Новый редактор был грубоват и прагматичен. Он поломал прежний распорядок дня, требовавший от сотрудников сидения на работе "от" и "до", отменил каждодневные планерки и недельные летучки, после чего провозгласил главную задачу, стоящую перед коллективом.

- Ваши задо-часы мне не нужны. Вы - пчелы, собирайте нектар действительности, перерабатывайте и несите в редакционный улей - на полосу. Это и будет мед нашей жизни.

Всем сразу понравилось: образно, точно и очень понятно.

Разделение труда

У нашей официальной газеты разделение труда с нашими конкурентами из независимых изданий. Мы публикуем соболезнования и некрологи, а они - объявления о знакомствах "с клубничкой".

А роднит нас то, что все мы берем за эти специфические услуги деньги.

Критерий

Один мой приятель, несостоявшийся поэт, смолоду подававший большие надежды, так определял суть настоящего творчества:

- Есть в стихах романтическая дурь - есть и поэзия. А нет ее - и поэзии нет.

Прогресс

Старый журналистский волк - студенту-третьекурснику:

- А ты вырос: раньше тебя надо было переписывать, а теперь можно сокращать целыми абзацами.

Детская клятва

Честно, мама, честно, папа, честно всех вождей.

Легкое счастье

Детское ощущение счастья многогранно и многолико. Хорошо оттого, что мать с утра затеяла блины; оттого, что утро светлое и солнечное, а в открытое окно задувает ветер; оттого, что вечером в совхозном клубе обещали новое кино...

Где оно, все это, куда подевалось мое легкое счастье? Теперь даже крупная удача не трогает, скорее, тревожит, про себя думаешь: ну вот, повезло - теперь жди неприятностей.

Сон

Жене приснился сон. Умер один из наших сослуживцев. Он лежит в гробу, на диване в вестибюле редакции и, слегка приподнимаясь, пожимает руку каждому входящему.

Очень на него похоже.

Хитроумная няня

Одна из сотрудниц нашей газеты несколько лет проработала воспитательницей в детском саду и сохранила в памяти немало курьезных случаев из той своей жизни. Два мне показались интересными.

* * *

Детсадовские дети очень разные: кто-то привыкает к новому образу жизни быстро, кто-то - с трудом, кто-то не привыкает никогда. Вот один из таких "неприспособляемых" плачет в раздевалке, зовет маму.

- Ну, где я тебе ее возьму? - возмущается грубоватая няня, - нарисую, что ли...

- Нарисуй! - ещё пуще заливается он.

Няня, не долго думая, черкает на первом попавшемся листке нечто совершенно невообразимое и сует рисунок мальчишке:

- На тебе твою маму!

И происходит удивительное: тот мигом успокаивается, всюду носит листок с собой, в "тихий" час прячет под подушку.. И больше у этой няни проблем с воспитанником нет.

* * *

Той же самой няне предстоит кормить детей. Она знает, что манную кашу они не едят, и пускает в ход "домашнюю заготовку":

- Дети, что я принесла?

- Ка-а-су! - отвечает нестройный хор.

- А помните стишок, который я вам в прошлый раз рассказывала?

- По-о-о-мним!

- Кто расскажет - тому и каша, - объявляет она.

Это уже игра, это интересно. Все наперебой тянут руки.

- Ну, давай ты, - выбирает она одного из самых бойких, зная, что после него и другие смогут повторить.

- Каса манная, ночь туманная, посулила - не дала, окаянная, - заученно, как на уроке, выдает тот.

- Молодец - получай кашу...Кто следующий?

Детям от двух до трех лет, многие толком еще говорить не научились. Им совершенно неведом смысл прибаутки. Но это в данном случае и неважно. Главное, дело сделано - ненавистная каша будет съедена.

Новое время- новые песни.

Старший сын пришел из школы.

- Как успехи, - интересуюсь я, - что получил?

- Твикс, - мрачно отвечает он, сбрасывая с плеча сумку с книгами.

- Не понял...

- А что тут непонятного, - встревает в разговор младший, второклассник, - ты что рекламу не смотришь:

"Твикс" - сладкая парочка".

Все ясно - двойка. У нас говорили - "пара", бывали еще и "колы". А у них - "твикс".

Джон Браун из семейства Федоровых

Телевизионная пропаганда американского образа жизни из всей семьи наших друзей Федоровых наиболее сильно повлияла на их младшего сына, шестилетнего Пашку. Ему нравятся американские машины, американские мультики, американский флаг и "американский" язык (то, что это язык английский, он отвергает напрочь). И вот еще одно, уже крайнее проявление симпатий к далекой и такой привлекательной Америке.

- Мама, а можно мне взять другое имя? - спрашивает он.

- А какое ты хочешь?

- На букву "Д"...

- Даня, Дима (так зовут его братьев), Денис?

- Нет, - шепчет он ей на ухо, - я хочу Джон!

Мать от ошеломления не может сразу прийти в себя, а он, приняв ее растерянность за согласие, продолжает допытываться:

- А можно мне и фамилию другую?

- А какую бы ты хотел?

- А какие есть американские фамилии?

- Ну, я не знаю, Вильсон, Джонсон, Стоун, Браун...

- Вот эту, - ухватывается он, - я хочу Браун.

Так в семье Федоровых едва не появился Джон Браун.

Путем долгих увещаний удалось, правда, отговорить его от этой затеи. И самым весомым, пожалуй, оказался аргумент бабушки, без всяких дипломатий заявившей Пашке, что от своих имен и фамилий отказываются только предатели, и, если он не одумается, она будет его звать на американский манер ласково "Жапоня"...

Так что с идеей ему пришлось расстаться. Хотя американское для него и теперь еще - самое лучшее.

Проза жизни

Рабочая столовая. Обед закончился, работницы столовой поели сами и допивают чай. Посудомойка Валида, сорокалетняя татарка, встает из-за стола первой - идет звонить сыну. Все остальные вслушиваются в разговор.

- Линарик! Из школы пришел? Пришел... Костюм в шкаф повесил?... Повесил... Ой молодец (звучит как "молодец"). Пообедал? Пообедал... И посуду помыл?.. Уй ты моя умница (у нее выходит "умнисса").
Короткая пауза. Снова ее голос - с тревогой и надеждой:
- Линарик, а по математике спрашивали?.. Спрашивали...Как двойка, Линарик? А по контрольной... Сволышь ты, а не Линарик, билят ты...
Валида кладет трубку, сморкается в передник и, плача, идет мыть посуду.

Отчего человеку хорошо?

Говорили о женах - мужьях, семейной жизни, разводах, и женщина 45 лет мечтательно сказала:
- Я до сих пор помню те свои чувства. Поздняя осень, но еще тепло...Тротуар весь в палых листьях...Я в новом сером пальто, в туфлях на шпильках...Иду из суда, где нас только что развели...Все мое существо, каждая клеточка поет: "Все, его больше не будет в моей жизни, мне не надо больше его видеть... Я свободна..." Я не иду, а лечу...Я счастлива, как в детстве...

Случай из хирургической практики

Знакомый хирург рассказал мне историю из своей практики, которая не давала ему покоя всю жизнь. Вот ее суть.
Как-то он спас, буквально с того света вытащил парня с ножевым ранением в сердце. Это была его первая операция на сердце, и он после нее почти двое суток неотлучно дежурил у больного - даже ночевать домой не ходил. В конце концов поставил на ноги, чем очень гордился.
А парень оказался заурядным бандитом. Спустя какое-то время убил человека. Его поймали, судили, приговорили к высшей мере наказания. Когда хирург узнал об этом, захотел встретиться со своим бывшим пациентом: почему-то не верил, что, сам пережив такое, тот мог убить...
Но в свидании хирургу было отказано...А операций на сердце он больше не делает.

Заноза из детства

Бывают в жизни события, как будто мелкие, второстепенные, которые сидят в памяти, словно занозы. И саднят...
Вот одна такая заноза - из детства.
Мы крепко поругались с соседом Колькой Шарубиным, моим одноклассником. Дошло до горячего - сошлись грудь в грудь, как петухи. Вот-вот должны пойти в дело и кулаки.
Я знаю, что Колька после операции, у него недавно вырезали аппендицит, и думаю: как врежу ему в живот - посмотрим, как запоет.
Что-то удержало - не ударил.
Было это в классе в седьмом-восьмом, тридцать лет прошло. А до сих пор стыдно, как вспомню, что хотел сделать...

Просьба

Ночью позвонил университетский друг. Мы много лет не виделись, и вот неожиданный междугородный звонок.
- Ну, как ты? - громким шепотом (все мои уже спят) спрашиваю в телефонную трубку.
- Теперь уже лучше, - неопределенно отвечает он и, чуть помолчав, добавляет, - вообще-то у меня к тебе есть просьба...Давай споем "Последний троллейбус" ?
Мне неудобно объяснять ему, что семья уже спит, и....отказывать неудобно.
- Может, ты сам споешь, а я послушаю, - выдвигаю встречное предложение.
- Да нет, надо вместе...Но если ты не хочешь или не можешь...
- Ну, почему же, - отвечаю бодро, - надо - так надо...Я готов!
И мы, разделенные двумя тысячами километров, заводим речитативом нашу любимую университетскую:
Когда мне невмочь пересилить беду,
Когда подступает отчаянье,
Я в синий троллейбус сажусь на ходу -
Последний, случайный...
Мы путаем слова и куплеты, но все же общими усилиями доводим песню до конца. Мне хочется расспросить, что же у него случилось, но он говорит "спасибо" и кладет трубку.
Потом я долго лежу и думаю: что же там у него все-таки случилось?

Аргумент

Пришел пенсионер - бывший сотрудник редакции. Просит оказать материальную помощь в связи со смертью жены.
Аргумент у него такой:

- Жить на наши пенсии еще как-то удавалось, а вот умереть ей - оказалось непозволительной роскошью.

Оптимист

Когда нашего соседа Серегу Хвостова укоряли маленьким ростом, он хладнокровно парировал:
- Это ничего: маленькие они в хрен растут!

Присказка

Вскоре после того, как в нашем городе появились первые легковые машины престижной шведской фирмы "Вольво", у водителей персональных "волг" вошла в обиход присказка "Век "Вольво" не видать"...

Кличка

Секретаршу шефа - худую и злющую, вечно чем-то недовольную, по имени Айша Канапьяновна, сотрудники за глаза называли Анашой Конопляновной.

Характеристика

О вредном человеке:

- Такие рождаются не для того, чтобы жить, а назло другим.

Все в жизни относительно

Всякий раз, когда наша областная газета сообщала о каких-то изменениях в высшем руководящем органе обкома партии - его бюро, заместитель редактора Побережников философски замечал:
- И тот уж член бюро, а прежний просто член...

Стандарт

Секретарь обкома партии по сельскому хозяйству, приезжая в хлебный район на уборку, качество работы проверял так. Ставил "на попа" спичечный коробок, и если, не дай Бог, стерня скрывала его, тут же устраивал разнос всем присутствующим, начиная от бригадира и кончая первым секретарем райкома. Комбайнеров, как ни странно, он никогда не трогал.

Герб СНГ

Один знакомый нарисовал такой символ - герб СНГ: стоит осел и орет. Почему орет? Да на собственный "кардан" наступил. Больно - вот и орет. А сойти нельзя - принцип...

Гротеск

Позвонил знакомому председателю колхоза - узнать, как дела, какие виды на урожай.
- Веришь - нет - заливают дожди: сено в валках сопело, боюсь - хлеб сгниет.
- Так уж и сгниет, - усомнился я, зная его страсть к преувеличениям.
- А ты приезжай, - тут же нашелся он, - оставлю тебя на сутки в поле - точно яйца мохом обрастут.

Возраст спелого арбуза

- Как жизнь? - интересуюсь у бывшего сотрудника редакции, несколько лет назад ушедшего на пенсию.
- А какая может быть жизнь у человека, вступившего в возраст спелого арбуза, - меланхолично замечает он, - пузо - растет, конец - сохнет...

Диагноз

Из выступления оратора-антикоммуниста на демократическом митинге:
- Фундамента капитализма в Казахстане не было, стены социалистического здания возводились на песке. В результате коммунистическая крыша и поехала...

Логика

Старшина-сверхсрочник проводит воспитательную беседу с личным составом вверенного ему подразделения:
- Лежите на кроватях в ботинках - а отсюда недисциплинированность на боевом дежурстве!
- Беспорядок в тумбочках - а отсюда двойки на политзанятиях!
- В самоволки бегаете - а отсюда женитесь!

Знание жизни

Как-то был в командировке вместе с большим областным начальником. В одном из совхозов, как водится, у директора выпили, закусили. Он вышел проводить: благодарил за приезд, приглашал еще...

- Да, ладно, не усердствуй, - добродушно остановил его мой высокопоставленный спутник, - сам не раз встречал гостей - знаю: нет для хозяина ничего приятней, чем пыль с колес отъезжающего начальства.

Уступка

Мы знакомы лет пятнадцать. Года три не виделись, а она все такая же хрупкая, свежая, девчонка-подросток. И как всегда в делах: пишет сценарии, снимает по ним фильмы, собирается в очередной раз в зарубежную командировку...

- Ну, а замуж когда?

Она не обижается - смеется.

- У меня теперь шансов много. Раньше дедушка наказывал: "Смотри - только за казаха!" Потом сделал уступку: "Пусть будет мусульманин..." Затем еще одну: "Выходи хотя бы за советского!" А буквально на днях заявил: "Пусть будет кто угодно, лишь бы не негр!" Думаю, к следующему приезду получу полную свободу выбора...

Фольклор

Часть деревни находилась за лесом и звалась Прицепиловкой, а другая, располагавшаяся на задворках, по сути, единственной, а потому главной улицы - Зажопинкой.

Так и говорили: живу в Прицепиловке или на Зажопинке...

Стиль жизни

Один мой знакомый холостяк, страшный неряха и разгильдяй, чистил зубы и ботинки в двух случаях - когда его вызывали в райком и когда он шел ночевать к знакомой женщине. В общей сложности получалось раза два в месяц.

Производительность труда

Помощник большого начальника, переживший уже не одного своего шефа, после очередного вызова к нему сокрушенно вздыхает:

- Тяжело работать с молодым руководителем, очень высокая производительность - слишком много решений в единицу времени.

Афоризм

Любимое выражение председателя колхоза-ветерана:

- Хозяйство вести - не яйцами трясти.

Что такое газета

Всем известно определение, данное Лениным: газета - не только коллективный пропагандист и агитатор, но и коллективный организатор. Есть и другие: приводной ремень, подручная партии, коллективный разум, зеркало нашей жизни и т.д. и т.п... Но самое удивительное определение, которое я когда-либо слышал, сорвалось в порыве откровения с уст секретаря райкома партии в кругу единомышленников:

- Газета должна быть послушной, как любимая жена.

Результат

Знакомый представитель номенклатуры, не лишенный поэтического дара, так охарактеризовал результаты перестройки:

Опасно есть - в жратве нитраты.

Вода не водка - страшно пить.

Все небо в дырках, зад - в заплатках.

В желудке - язва, в яйцах - СПИД.

Сын своего отца

Пилим с братом дрова для бабушки. Нам помогает сын ее соседа - семилетний Сашка: крутится рядом, что-то поддерживает, что-то подает. Он весь в отца: такой же круглый, розовощекий и обстоятельный.

У него и топор свой - принес из дому.

Дрова перепилены - надо колоть.

Спрашиваем:

- Сашка, а у тебя топор-то острый?

Он - степенно:

- Ну да: папка гострил-гострил, потом я.

Оценка

Долго подступался к "Запискам об отце" - делал наброски, говорил с матерью и братьями, другими людьми, хорошо его знавшими. Потом в сомнениях писал...

Не зная, что из этого вышло, три экземпляра переплел - на память братьям и себе. Прочитала жена - ей понравилось. Средний сын, присутствующий при разговоре, не преминул встрять:

- Хорошая книга - комаров бить удобно, я пробовал.

Я не обиделся - оценил иронию. Придет время, прочитает и, может, скажет иначе.

Признание

Вечер. Семья у телевизора: бабушка, ее сын с женой, трое их детей-школьников. Только что закончилась телепередача "Песни прежних лет". Глава семьи, ни к кому конкретно не обращаясь, с досадой сказал:

- Какую страну профукали!

Подумал, вздохнул и добавил:

- И я в этом принимал участие...

Плоды просвещения

Мой друг женат на гречанке. Они живут душа в душу, имеют двоих детей. Последних друг воспитывает в духе уважения к родителям - отца они зовут исключительно на "вы". Много сил он уделяет просвещению детей, рассказывая об исторической родине их матери. И вот наконец первый блестящий результат. Вернувшаяся из школы дочь радостно заявляет с порога:

- Папа! Я сегодня сказала на уроке: первыми на земле появились динозавры и греки, но греки все равно раньше! Ты ведь так меня учил?

Из неизданного

К нам в редакцию пришло письмо из воинской части - со стихами. Там были и такие строчки:

Все солдаты спят на койках

И своих целуют жен.

Только я, как шут какой-то,

На посту стоять должен...

О чем думает утопающий

Познакомился в дороге с мужиком. Разговорились. Он рассказал мне, как недавно тонул.

- Поехал первый раз в жизни на рыбалку - друзья вытащили. Сел в резиновую лодку, оттолкнули меня от берега, отплыл... Потом неудачно повернулся - и лодка опрокинулась. Конечно, тонуть стал - плавать же не умею... И вот что в это время в голове вертится: "Как все глупо! Зачем поехал? Теперь жене столько хлопот будет - похороны, это ж такая круговерть..." В общем, не страх, а досада. Вытащили меня ребята... Воды, правда, нахлебался...

Шляпа

На большом тое довелось стать свидетелем такого разговора. Один почтенный аксакал, разглядывая велюровую шляпу другого, спрашивает:

- Как вам удалось ее сохранить? Такие уже лет двадцать не носят...

- Так и людей таких давно нет, - сразу нашелся его собеседник.

Вот такой Иерусалим...

Из читательского письма:

"...Жизнь наша протекает во тьме... Свет дают от случая к случаю... И сидим мы без телевизора, без радио, без холодильника..."

Вот такой получается Иерусалим!"

Отчего происходит искажение лица

Из письма в редакцию:

"Зарплату уже полгода не дают. А за квартиру платить надо, за продукты. О здоровье и говорить нечего, дома сижу - в больницу идти без толку - там тоже денег требуют..."

А кто это все придумал?

...А ведь я не старуха, мне всего 51 год...Но вот от всех этих переживаний и получается у меня искажение лица..."

Изысканная просьба

Объявили очередную подписку на газету. Вроде и недорого, по сравнению с другими, но все равно многим не по карману. И вот письмо в подтверждение, из села Фрументьевки Качирского района:
"Много лет я выписывала газету, и была она для меня - как свет в окошке. А теперь вот не могу - не за что...Подарите мне подписку на "Звездочку" - уж будьте настолько перпендикулярны!"
Ну можно ли отказать человеку после столь изысканной просьбы?

Деревенская валюта

Журналист нашей газеты ездил в командировку в дальний район. Привез оттуда такой факт. В одном из сел сохранился клуб, и время от времени устраивают там дискотеку (фильмов в сельских клубах уже давно никто не показывает). Завклубом остался, но денег ему тоже не платят, поскольку такой должности теперь нет. В ходу теперь разнообразная деревенская валюта. Хочешь попасть на дискотеку - неси три куриных яйца или стакан сметаны, или пять пустых бутылок...
И ходят, и носят...

"Я никогда не лебездю!"

Одно время у нас в редакции работал водитель, любивший ввернуть в свою речь что-нибудь "этакое-такое" и почти всегда попадавший из-за этого впросак.
Вот он возбужденно изъясняется с кем-то по телефону:
- Это я-то лебездю? Я вообще никогда не лебездю!
На самом деле имелся в виду глагол лебезить...
Еще в его лексиконе были "берибельда" (в смысле - белиберда), "семь пятен на лбу" (вместо семи пядей во лбу) и прочие "изобретения"...

Советы тети Лели

Знакомая нашей сотрудницы, тетя Леля, поучала подружек своей дочери:
- Не бойтесь, девки, ешьте сало - сало "не толстит".

* * *

У нее же была частушка:
Ой, бабоньки, завтра пятница:
Кто не пьет-не дает - после схватится!

Два сапога - пара

Пришла устраиваться на работу новая секретарша. Обо всем договорились, но она не уходит, мнется:
- Я должна вам сказать...Я на одно ухо не слышу.
- Тем более сработаемся - говорю ей. - Я на один глаз не вижу.

Философия жизни

Когда односельчане укоряли нашего соседа дядю Яшу Кукарекина за беспутный образ жизни, он беспечно отмахивался:
- Не вам жить - а мне. Бог даст день, Бог даст поллитру.
И, вправду, дня не было, чтобы он остался трезвым.

Контраргумент

- За хорошим-то мужем и свинка - господинка! - поджав губы, всякий раз говорила наша соседка тетя Нюра, когда хвалили ее невестку.

Неожиданное сравнение

Встретил приятеля - "нового русского". Спрашиваю - как дела.
- Да уж получше, чем у государства! - неожиданно с вызовом отвечает он.

Консенсус

Приятель делится секретами своей семейной жизни:
- У нас с моей благоверной такие отношения: я ее иногда запускаю в свой карман, а она меня - в свою постель...

Диетик

Знакомый казах-начальник говаривал в преддверии зимы:
- Ну все, перехожу на диетическое питание - теперь никаких овощей и фруктов - буду есть только мясо.

Метаморфоза

Когда они только поженились, он говорил о своей жене - маленькой и хрупкой как тростинка:
- Моя четвертинка!
Затем, по мере того, как она набирала габариты:
- Моя половина!
А когда та сравнялась с мужем объемами - просто:
- Моя!

Откровенность

Смазливая студентка пытается заигрывать с профессором в расчете на его благосклонность на экзамене.
- Милая моя, - слегка гнусавя, замечает он в ответ на эту маленькую уловку, - я уже в таком возрасте, когда согласие пугает больше, чем отказ...

Холодно

Морозный день. Только взошло солнце. Воробей на ветке нахохлился, топорщит перья - видно, так греется. И при каждом его движении можно заметить, как из крохотного клюва вылетает едва заметное облачко пара. Ох и холодно воробью! А не поможешь...

После похорон

У знакомой умерла мать. Похоронили. Едем с кладбища. Вдруг она говорит:
- Что же это я ей кофту не одела - мороз ведь какой...

Замшелость

Ко мне пришел знакомый - старый журналист. Небритый, заросший щетиной - волосы у него растут даже из ушей и носа.

Родственные души

Удивительно, как часто шоферы становятся похожи, даже внешне, на своих начальников, которых им приходится долго возить. Еще подобное случается с супругами по прошествии многих лет совместной жизни.

Отношение к жизни.

Для одного весна - сплошной праздник: скворцы прилетели, распускаются листья, зазеленела трава.
Для другого - одни раздражающие хлопоты: снег надо от дома отбрасывать, огород копать, грязь кругом...

Детская считалочка

- Шел поп через мост, поймал курицу за хвост. Это курица была Тимофеева жена. Считающий вытягивает руку ладонью вниз, все остальные подставляли к ней указательные пальцы. После слова "жена" палец зазевавшегося был уже в кулаке - ему и водить.

Не забывайся!

Такое иногда бывает. Вот, тебе удалось сделать что-то важное, значительное. Идешь по улице в приподнятом настроении, голова полна новых радужных надежд, каких-то планов...Идешь быстро, энергично, уверен в себе. И вдруг запнулся и со всего размаху - на землю! Дипломат улетел в сторону, содержимое рассыпалось, ушиб колено и локоть, измазался...

С трудом поднимаешься, приводишь себя в порядок, собираешь вещи и уже потихоньку бредешь домой...Это судьба, как будто играя, предупреждает: "Не забывайся! А то ишь ты - воспарил!"

Безотходная технология

(Рукописи не горят)

Я знал одного литератора, который говорил про себя так:

- У меня ничего не пропадает, я работаю по безотходной технологии.

Он не выбрасывал и не сжигал рукописи своих давно опубликованных произведений. Он аккуратно разрывал пожелтевшие стандартные листы на две равные половинки и складывал их в туалете - для естественных надобностей.

- Мои рукописи получили вторую жизнь, - говаривал он при этом.

Зная уровень его творений, я добавлял про себя: "Хорошо бы, если бы это была их главная и единственная жизнь".

Неожиданное признание

Знакомый редактор областной газеты признался:

- Веришь-нет, иногда ночью проснусь и думаю: твою мать, как хорошо, что бюро обкома партии больше нет. Верю, потому что знаю: в редакторах он без малого двадцать лет.

Встречи с чудом

Очищение

Такое случается, наверное, с каждым...Бессонной ночью услышишь вдруг, что дождевики стучат по железной крыше вразнобой. Или заметишь свежим морозящим вечером, что луна нынче матовая, а влажные провода блестят, как натянутые струны.

Почувствуешь горько-свежий запах опавших листьев в осеннем лесу и ни с чем не сравнимый, до боли знакомый запах пыльного зерна у совхозного тока.

Такое случается, наверное, с каждым. И невольно остается в тайниках памяти, чтобы отозваться щемящей грустью. И делает нас добрее к людям, лучше и чище...

Сила жизни

В Баянауле красивые, и разнообразные горы. Но самое удивительное здесь не они, а деревья, растущие прямо на камнях.

Каменные глыбы, как блины, пластами выходят из-под земли, наслаиваясь, друг на друга; прямо на пластах неизвестно за что цепко держатся щупальца корневищ сосен, берез... Трудно дереву бороться с камнем, гнется оно, рвется вверх вкривь и вкось, изгибается, словно в танце, но камню не уступает: глыба трескается, появляются расщелины, за которые с удвоенной силой цепляются корни деревьев... Чтобы выжить, снова дробить камень, давать потомство.

Вот она - сила жизни, которой можно позавидовать.

Мелодия дождя.

Было тепло и тихо, как бывает ночами в наших местах только в середине лета. И дождь пошел незаметно, теплый, спокойный и очень редкий. Не было слышно привычного монотонного шелета, только тишина становилась все ощутимее - в такие минуты невольно ждешь звука, который бы ее нарушил. И он пришел

также незаметно и тихо, как сам дождь: чуть слышный, но явственный - будто кто-то едва коснулся колокола. Казалось, мелодичный звон родился только для того, чтобы коснуться уха и исчезнуть. Это первая капля дождя, скатившись с крыши, попала на пустое ведро, весевшее вверх дном на заборе.

Странная и пока еще не волнующая нота родилась снова и звучала теперь громче, отчетливее. Не успев оборваться, зазвучала опять, тревожа и настораживая.

Звук был однотонный и печальный, похожий на перезвон маленьких колоколов. Он не раздразнил почему-то, только тревожил. Но это была еще не мелодия, Она пришла чуть позже - просто и ненавязчиво - звуки были теперь разной силы и тональности. Так, случается, играют лишь для себя, словно задумавшись, не мешая другим.

Ветер случайно тронул листья клена, на дно ведра упали сразу несколько капель, и этот неожиданный аккорд оборвал грустную мелодию.

Потом она пришла снова, но это уже была другая мелодия, и слушать ее уже не хотелось.

Ошибка.

Как-то осенью в Алма-Ате зацвели яблони. Странно и неприлично было видеть рядом с желтеющими и уже пожухлыми листьями маленькие и беззащитные розовые и белые бутоны.

Яблони хотели, наверное, пережить весну в одном году дважды. А это не всегда удается даже людям.

Маленьким бутонам было одиноко и неуютно холодными осенними ночами, и они не понимали, что обречены на гибель.

А синоптики объясняли все очень просто: в Алма-Ате была на редкость теплая осень.

Иней

Вечером упал туман. Сгладил очертания домов и деревьев. Яркие огни редких фонарей стали матово-бледными кругами и полукружьями. Потускнели звезды.

Всю ночь трудился туман, оседая на голые ветки доевьев, провода, окна домов и столбы.

А утром туман расстаял, словно его и не было. Завтра остались совсем седые деревья, пушистые провода, посеребренные крыши домов и столбы. На улице тихо и торжественно. Воздух свеж и прозрачен.

Но посмотришь на солнце - воздух искрится и переливается: то ветер сдувает с проводов и деревьев мельчайшие снежные иглы, еще недавно бывшие туманом. И странно - смотреть больно, а отвернуться не можешь.

Образ родины.

Умытая недавним дождем июньская степь ходит под утренним ветром волнами и лоснится, как круп молодой сытой кобылицы.

Осень

Середина октября. На берегу Иртыша промозгло, неуютно, одиноко. Лишь франтоватая сорока-чистюля бесшумно скользит меж голых черных ветвей.

Тополиная метель.

Невесомая пышная шаль липнет к заборам, укутывает калитки, прозрачным слоем стелится по земле...

Мой трехлетний сын бежит по белым островкам, взметая за собой белый туман - так, наверное, можно бегать по облаку...

Пух, гонимый ветром, лезет в нос и в уши, серебрит волосы.

- Ну, чисто буран, - говорит мать, прикрывая ладонью глаза.

Скворцы прилетели.

На совхозной улице перполох - скворцы прилетели. Сидят рядком на проводах, по-хозяйски орудуют в садах среди голых еще ветвей и кленов, наполняя округ щебетаньем и щелканьем, трелями и пересвистом. Во всех дворах царит праздничное оживление: ребетня и взрослые шарят по кладовкам и чердакам, извлекая на свет божий скворечники... А то напорядок получается - хозяева прилетели, а квартиры не готовы...

Удивительный факт: никтоне видит, когда именно и как прилетают скворцы. Просто однажды утром обнаруживается, что они прибыли, и теперь дело чести каждого двора встретить новоселов, как подобает.

Очищают от мусора и пыли старые скворечники, спешно гтовятся новые, и вот уже то там, то здесь поднимаются в небо шесты с разнокалиберными птичьими домами - выбирай, кому что нравится!

Соседям везет: дед Годун не успел как следует шест закрепить, а целых две семьи уже затеяли шумную ссору

зе право обладания жилищем...Черезвычайно довольный этим обстоятельством, дед спешит к нам поделиться радостью: "Мой-то, вишь, заселился..." Достает кисет, степенно закуриваети поучает отца: "Ты бы, Митьк, развернул скворешню к востоку - птице, ей, вишь, напротив солнца сподручней..." Я жду, затаив дыхание: остаться без скворцов было бы в высшей степени обидно и несправедливо. И вот откуда-то сверху спикировал скворец и на крышу вывешенного нами домика. Мигом обследовалвнутренности скворечника, видно, остался доволен. На его призывный пересвист явилась хозяйка...Новоселье состоится. И душа полнится рвущейся через край радостью: на улице - весна, вовсю греет солнце, скворцы прилетели...

Весной

Весна. Уже подсохли пригорки, и мы, пацанва, по вечерам играем на них в лапту...На приусадебных участках хозяева жгут скопившийся за зиму мусор, прошдогоднюю картофельную ботву, остатки ненужной соломы. Голубые сумерки...Плывет, слюится по совхозным улицам сизоватый ароматный дымок...Еще не тепло, но уже и не холодно. Душу переполняет ни с чем не сравнимое, ни на что не похожее светлое чувство. Хорошо, сам не знаешь отчего. Так подошел автобус, что хочется потихоньку петь и плакать. Нигде больше и никогда не бывало так безмятежно и светло на душе, как в те уже теперь далекие весенние совхозные вечера с плывущим по улицам слоистым ароматным дымом.

Буран

Снег пошел часов в двенадцать дня - большими пушистыми хлопьями. Снег как снег, разве что небо было чуть темнее обычного. Потом посыпало гуще, снежинки неслись быстрее и скользили по земле, словно не успевая за нее зацепиться. Ничто еще не предвещало приближающегося бурана, но гнетущее состояние, не покидавшее меня, не проходило, а, напротив, усиливалось. Появилась даже мысль отказаться от командировки. Но тут подошел автобус, как всегда переполненный. В нем было тепло, даже по-домашнему уютно, и тревога как-то отодвинулась.

Автобус шел быстро. В лобовое стекло хорошо было видно, как струится по накатанной дороге поземка. Казалось, автобус мчится не по дороге, а по тонкому льду быстрой речки, льду совершенно прозрачному, такому прозрачному, что видно, как волокнистые струи воды стремятся вырваться наружу.

Иногда автобус останавливался. Одни пассажиры выходили, реже заходили другие, и тогда становилось заметно, как быстро набирает силу ветер, разом вырывая из салона тепло и кажущийся уют.

Водитель все чаще закуривал и все реже шутил. Ему лучше других было видно, как темнеет впереди и сливается с горизонтом небо. Быстро сгущались сумерки.

Солнце еще не село - его просто не стало видно. Землю окутывал серо-белесый сумрак. Уже нельзя было различать кусты лесонасаждений сбоку дороги. За полчаса нам не попало ни одной встречной машины. Стихли разговоры случайных попутчиков. Только мотор ревел по-прежнему ровно и мощно, но к его реву примешивался таперь грозный гул снежного месива.

Сиало совсем темно. Это была не обыкновенная темнота, даже не темень, а густая и плотная серость, в которой терялись очертанияпредмета, растворялись и таяли звуки.

Шофер быстро включил фары и вынужден был через мгновение потушить их - два совсем слабых столбика света сразу уткнулись в светло-серую массу, словно запутались в ней.

Автобусуже не мчался, а полз на ощупь, как уставшее животное, и скоро стал. Водитель сидел по-прежнему наклонившись к стеклу, и напряженно всматривался в темноту, силясь рассмотреть что-то. Потом устало откинулся на спину сидения.

Ехать было некуда.

Водитель твердо знал, что где-то рядом село, но как тут отыщешь этот самый съезд нелево...

Несколько минут все оставались баз движения, потом зашевелились: в салоне становилось прохладно.

Шофер открыл дверь, и мы, те, кто стоял впереди, спустились в белую круговерть.

Ветер, казалось, дул со всех сторон сразу: небо швыряло уже не снежинки, а мелкую ледянную крупу, от которой нельзя было укрыться. И все это месиво бесновалось, ревели, как разъяренный зверь, старалось свалить ног, засыпать...Но вот сквозь вой ветра отчетливо послышалось тарахтение совхозной электростанции. Новый звук разом оборвался, пропал в прстранстве и снова возник.

Медленно, но упрямо автобус пополз вперед. Пассажиры пиникли к окнам - нельзя было пропустить поворот к совхозу...Съезд нашли, но проехать по селу уже не смогли. Машина завязла прямо посреди улицы.

Мне повезло - в автобусе оказался знакомый и пригласил меня к себе. Сто метров - не больше - нам нужно было пройти, а ветер, как оказалось (или просто казался), дул навстречу. Мы шли по улице и не видели ни домов, ни деревьев - только мутные пятна света из редких окон. По ним и ориентировались. Жесткий и колючий снег бил в лицо, выдавливая слезы. Казалось, кто-то с размаху хлещет по лицу белой веткой, методично и зло. Не помогали неи поднятые воротники, ни варежки, которыми мы прикрывали лицо. Ветер насквозь продувал пальто, теплый свитр, и я чувствовал, как коченеют пальцы ног в шерстянных носках и теплых валенках.

Горе тому, кто окажется в эту непогоду в степи.

В дом не вошли, а ввалились не два человека - два снежных чучела. Кое-как сбили с себя снег, долго грелись у розовой, стреляющей искрами печки.

Буран ревел всю ночь, не утихая. Утром оказалось, что из дома нельзя выйти - открывавшуюся наружу дверь

занесло снегом. Мне пришлось выставить окно в маленькой, промерзшей насквозь кладовой и лезть через него на улицу. С большим трудом откопал дверь, но лишь настолько, чтобы можно было протиснуться в узенькую щель.

Теперь нужно было помочь выбраться наружу соседям.

...Восемь дней одно и то же. Бется в стекло обледенелая ветка клена в проеме единственного не занесенного снегом окна, то появляясь, то исчезая в белой пыли. Воет и свистит ветер, выдувая из дома тепло и натягивая холод, от которого не спасают ни теплая одежда, ни двойные одеяла...

...Раз в двое суток поездки на буровую за водой и путь на улицу через окно кладовой...

Восемь дней одно и то же. Берешь в руки книгу и через минуту оставляешь, берешь ручку и тут же бросаешь, потому что не можешь сосредоточиться. Самое страшное, когда ничего не можешь делать.

Иногда казалось, что буран вообще не кончится, что за окном нет ничего, кроме обледенелой, промерзшей насквозь ветки, кроме белой снежной пыли; нет других звуков, кроме свиста и воя; не верилось, что где-то есть люди, которым приносят по утрам газеты, что когда-то снова будет тепло.

Не знаю, откуда у моих хозяев - бухгалтера и учительницы начальных классов - взялся барометр. Он стал самым главным предметом в доме. Восемь дней он показывал одно и то же: к обеду стрелка, если постучать по стеклу, чуть двигалась к центру, а к вечеру снова падала вниз. Я ненавидел его, этот барометр, и не верил, что когда-нибудь он сможет показать "ясно".

Я видел немало буранов. И по-своему даже любил бураны. Находил особую прелесть в рогулках в зимнее ненастье. Но все это потому, что рядом был родной дом, и когда я возвращался, милее казались и горячая печь, и знакомая старая книжка.

Хорошо, если метель - за окном родного дома. Пусть ломится за окном ветер и злобно швыряет пригоршни снега. Пусть. В доме от этого кажется теплей и уютней. Зимнее ненастье, если ты дома, можно сравнить со сказкой в детстве: немного страшновато, но мы знаем, что конец будет счастливым...

А тогда... Тогда я думал: если есть конец света, то это как раз нечто подобное происходящему на улице.

Лишь на девятые сутки, когда буран стал стихать, со случайной попутной машиной я вернулся в райцентр, где в ту пору работал.

Никогда не питал к нему особых чувств, но в тот момент показалось, что нет ничего лучше заваленных снегом улиц, по которым прежде ходил равнодушно...

- Приехал? - стою спросил вместо приветствия хозяин-старик, у которого я снимал комнату. - Что-то долго был. Заходи... Да, ноги не забудь обмыть...

Тихая охота

Грибы как люди: у каждого свой нор, свои привязанности. Всякий уважающий себя грибник знает, за чем идет он в лес, и соответственно этому выбирает.

За грибами на жареху лучше всего пойти в смешанный лес, где спокойные березы уживаются с нервными молодыми осинами и разномастным семейством тальника. Первой вас обязательно встретит нарядная сыроежка. Она вообще любит нарядные одежды и шляпку красит свою едва ли не во все существующие цвета радуги, самыми неожиданными оттенками - от бледно-желтого и малинового до светлого-зеленого и густо-синего. Сыроежка - гриб бесхитрый и неприхотливый: ее можно встретить и в березняке, и в осиннике, на опушке и в тени, она не прячется, как ее многочисленные собратья, а, наоборот, сразу бросается в глаза.

Сыроежка не слишком ценится основной массой грибников, а без нее и лес не лес...

Застенчивый подберезовик и франт подосиновик в смешанном лесу нередко соседи. Вот среди редкой травы застыл на тонкой ножке подберезовик, а рядом в осиннике, маячит густо-красная шаровидная шляпка подосиновика, корень у него забирается глубоко в землю и бывает во много раз больше головы.

Иногда ошибешься, приняв издали за подосиновик молодой мухомор, на котором еще не проклюнулись характерные пятна. Если особенно повезет, вам встретится боровик, он же белый - гриб степной и важный.

У боровика выпуклая смуглая шляпка, которую держит плотная осанистая ножка, чем-то похожая на короткую перевернутую морковку. В хороший год боровик растет все лето, но встречается он не часто, так что найти его - большая удача. Этот гриб хорош в любом виде - жареном, вареном, маринованном, его можно сушить и солить: при этом боровик всегда остается белым - отсюда, наверное, и второе название.

Ближе к осени любители тихой охоты наведываются в лес в поисках груздя. Из соленых грибов он самый вкусный. У нас растет несколько видов груздей, поэтому встретить их можно в любом лесу - березовом, осиновом, смешанном, на пойме. Поросшие травой опушки и лесные поляны облюбовали белый степной груздь - истинные грибники называют его белянкой. Сухой груздь предпочитает сумрачные осинники.

Срежьешь его, и на ножке мгновенно выступает белый сок, напоминающий молоко, поэтому такой груздь называют молочным.

Но особенно ценим у грибников житель влажного и тенистого колка - настоящий, или сырой груздь. Опытный глаз обратит внимание на характерный, едва заметный бугорок рядом с березкой. Под шапкой из листьев и прячется влажно-горький упругий, ворсистый красавец. Белый гриб почти невесом, а срезав этот, сразу чувствуешь благородную тяжесть. Вот это удача! Но не спешите. Настоящий сырой груздь не любит одиночества, гриб он семейный. У молодых груздей шляпка выпукло-вогнутая, с плавно закругленными вниз краями, у старых - широкая, в форме развернутой воронки.

Далеко не каждый год бывает урожайным на грузди, особенно сырые. Последний раз они необычайно уродились дождливым летом 1980 года. В августе и сентябре почти в каждом колке обитало несметное количество и опрятно-рыжих волнушек, а их у нас тоже далеко не каждую осень встретишь. Тот год грибники

окрестили годом сырого груздя и волнушки.

Впрочем, кто ищет - находит грибы в любой год. Вот и нынче в посадках вдоль автомобильных дорог упрямо лезет из земли неистребимое племя стойких валуев. Кое-где в колках и на пойме попадается и степной белый груздь...

Осенний лес не только красив, но загадочно щедр: случалось, подберезовики и грузди в нашем краю находили и в конце октября, по первому снегу.

Запах родины

Хорошо оказаться ранним утром, на исходе мая, в нашей павлодарской степи... Земной простор до самого горизонта, голубой купол неба - и ничего больше. Неброский, радующий взор пейзаж. Легко, привольно дышится. Тихо до звона в ушах. Накатывает легкими волнами шаловливый майский ветер, принося с собой родной, до боли знакомый запах...

Этот неповторимый, с горчинкой, запах - то внятный, резкий, то едва осязаемый - мне никогда не забыть и ни с чем не спутать, я помню его с первых мгновений своей осознанной жизни. Это запах моего детства, моей родины. Это запах полыни.

В нашем целинном крае она отвоевывала себе место всюду - на приусадебных домашних огородах, на обочинах дорог, в привольной нашей степи. На окраинных совхозных пустошах полынь вымахивала высотой в человеческий рост, и мы, пацанва, затевали в ее пахучей чащобе свои нехитрые игры с захоронками-поисками-преследованиями... Когда полынь цвела, мне нравилось срывать с ее макушек, прихватывая мелкие, узкие листья, покрытые пылью зеленоватые шарики-плоды и, растерев на ладони, нюхать... Запах был густой, насыщенный. И потом ладонь еще долго хранила аромат полыни, ее стойкую горечь.

В первые годы целины полыни в нашем краю было так много - целые дремучие заросли - что ее использовали вместо камыша как строительный материал. У некоторых наших соседей в наскоро сооруженных сараях стены были из стеблей полыни, обмазанных глиной. И ничего - десятки лет стояли! Сухими, ломкими полынными стеблями подтапливали хозяйки "походные" летние печурки, на которых готовились - прямо во дворах - обеды и ужины. А как аппетитно хрумкали зимой овцы, выискивая в степном сене полынок и курай! Считалось, что без витаминной полынной добавки для овец и корм не корм...Еще помню полынные веники - их мы заготавливали в поле из какой-то особой полыни, похожей на кустарник, с упругим, почти древесным стеблем...

Кто-то считает полынь грубым, бестолковым растением. А я ее люблю. Наверное, не меньше, чем ароматную степную землянику моего детства...

Самая удивительная встреча с полынью была у меня несколько лет назад в Америке. В штате Джорджия нас, казахстанских туристов, повезли в экзотический сад цветов, который нам показался раем земным.

Диковинные цветущие деревья, благоухающие кустарники, необыкновенной красоты растения со всего света...И вдруг у самой дорожки, посыпанной мелким гравием, такие неожиданно знакомые сероватые, с легкой голубизной, совсем крохотные кустики. Неужели полынь? Оказалось - она самая. Ее тут выращивают как редкое экзотическое растение. Не знаю, как и когда она здесь оказалась, но пахла совсем как у нас дома...

Критика

Полынь в Америке.

Деревенскую прозу не раз хоронили (и с почестями, и без них). Я стойко пытался этому сопротивляться и в душе, и в своих профессиональных ориентирах. Когда же пришло время признать, что эта литература отдала своим героям "последний поклон" и у нее, как у всего сущего, есть свой "последний срок", вдруг услышал новые интонации, и совсем рядом. Конечно, Ю. Поминов, более четверти века отдавший журналистике, и в литературе далеко не новичок. В разные годы и в разных изданиях публиковались его очерки, циклы небольших рассказов и новелл. Уже можно говорить о читательском внимании и признании. Есть и свой читатель.

Неожиданность заключалась в другом: среди многочисленных, разнохарактерных и разновозрастных героев не оказалось тех, кого мы привыкли называть отрицательными персонажами. Много написано и о разном (детство, родственники, друзья, коллеги), и нет зла. Осмелюсь сказать, что это не только характерная черта творческой индивидуальности Ю. Поминова, но и примета времени. В нашей непростой действительности это почти невероятно, зато совершенно закономерно и традиционно для русской литературы. Это один из парадоксов искусства и в то же время одна из родовых черт нашей классики. По Достоевскому, неистребимое стремление к идеалу и есть истинный реализм, или, по его же определению, реализм в высшем смысле.

Русская классика, которую мы привычно и не точно называем литературой критического реализма, оставила нам в наследство главную заповедь - увидеть в человеке человека.

А критический пафос - только фон, точнее, верность реальности, та правда, без которой нет истины, без которой великая литература стала бы великой утопией.

Но как быть с этим явлением - литературой без зла?!

В послевоенной русской прозе одним из наиболее ярких течений стала так называемая исповедная, или

лирическая проза (Ю. Казаков, В. Лихоносов).

Эта литература сознательно и даже вызывающе лишала характер своего героя исторической масштабности и даже социальности. Ее герой - странник, бродяга, отшельник - сам себе государство. Герой другого направления - деревенской прозы - хотя бы внешне социален, но эта внешняя социальность имеет принципиальное значение - именно социальный мир грубо препятствует самореализации личности, ограничивает, сужает эту личность. Таким образом социальный и природный человек имеют явные противоречия, более того, именно в этом и заключается основной конфликт, если говорить обобщенно, личности и общества (государства).

В прозе Поминова нет ни внешнего, ни скрытого конфликта. Более того, лирический герой не только не замкнут в себе, открыт миру, но именно этот мир, люди, окружающие его, больше всего и привлекают к себе. Совершенно очевиден исповедальный и даже документальный жанр повествования, и в то же время общий фон небольших новелл, безусловно, эпический. Один из лучших сборников Ю.Поминова назван "Характеры". Сразу вспоминаются шукшинские "Характеры", книга, ставшая визитной карточкой писателя. Сколько билась критика над их определением: "чудики", "маргиналы" и т.п.

Думаю, все было проще и мудрее - в очередной раз русская литература открывала для себя много раз изученную, но так и оставшуюся загадкой тайну - человека.

Этот знакомый, неведомый мир - душа человека - не оставляет в покое и Ю. Поминова. Более того, можно с полной ответственностью говорить и еще об одном герое "Характеров" - Природе. Новеллы о грибах или дожде воспринимаются как настоящая поэзия в прозе. Без преувеличения, эти новеллы - лучшие в сборнике. Причем их присутствие в книге совершенно обоснованно, потому что это тоже "характеры" - яркие, самобытные, одушевленные - живые.

Мир открыт герою, и герой открыт миру, но за внешней открытостью души, приемлющей мир, есть совершенно определенная иерархия, безошибочный отбор.

* * *

Юрий Поминов родился в Сибири, но вырос в целинном совхозе "Михайловский", в Казахстане, который расположен практически на границе с Россией (Новосибирской и Омской областью). Эта пограничная топография гораздо глубже укоренится в его сознании, в котором не окажется места границам. Родина окажется больше ее географических ориентиров.

Примерно в одно время будут написаны два очерка: один о поездке в Америку, другой - о поездке в родную деревню, на школьный вечер встречи выпускников. Америка оценена по достоинству. Есть там неподдельный интерес, удивление и даже восторг (еще бы - небоскребы!).

Но это восторг человека искушенного и, главное, крепкого, устойчивого. Сумел же увидеть за безбрежной Атлантой и заоблачными небоскребами незаметную полынь среди декоративных, почти фантастических растений в одном из многочисленных музеев. Это не просто удачная художественная находка. Родное село в другом очерке предстает полуразрушенным (нет и родного дома, вернее, есть руины).

Так вот, родина в душе, в памяти, после ее разрушения в реальности стала еще чище, стала почти святыней. Когда деревенскую прозу уже похоронили, она вдруг пробилась там, где ее не ждали; так же, как родная полынь в Америке, так и она - в памяти писателя, родившегося в Сибири, от семени, занесенного историческими ветрами с древней тульской земли, выросшего на казахстанской целине, ставшей для него той малой родиной, без которой нет большой судьбы.

В течение века три поколения одного рода трижды заново обретали родину. В итоге малая родина (целинный совхоз) - разрушена, родина родителей (сибирская деревня с вековой историей) - разрушена, историческая родина (тульская земля) - за границей. Что осталось?

Память, неистребимая, как полынь...

* * *

Героев деревенской прозы сначала пропустили через коллективизацию, потом (через время), в качестве пробной акции, объявили неперспективными (даже тех, кто еще помнил коллективизацию), а тех, кто сумел и это пережить, уже в новое время пригласили к фермерству (т.е., надо понимать, к кулачеству). Об этой исторической "вехе" деревенская проза еще не сказала или, скорее всего, уже не скажет, да это и не столь важно - "дело привычное". Важнее другое - был открыт характер и универсальная мера вещей.

Ю. Поминов начал открывать свою Матеру в то время, когда успешно и тотально шла борьба с неперспективными уже не деревнями, а регионами и когда деревенщики от высокоталантливой, но "малодейственной" художественной "формы борьбы" перешли в открытое наступление публицистикой и даже "артиллерийскому" жанру "открытых" писем.

Я не случайно упомянул распутинскую Матеру, потому что Матерой Поминова стал целинный совхоз в северном казахстанском краю, рождение которого было абсолютно партийно-волевым. Сюда приехали люди со всех уголков страны, разных национальностей. Но если у Распутина пришлые люди - "архаровцы", которым противостоят местные жители, то здесь - иначе. Казахстанская земля сумела принять десант. Было разное, и не только хорошее, были трудности, равноценные корчагинским (об этом пока не сказал коренной целинник - автор этой книги), были свои "архаровцы" (и в достаточном количестве).

Но люди прижились. А жить им не дали. Короткой оказалась судьба целинной Матеры. Люди приехали по призыву партии и правительства. А потом их подвиг был забыт. "Дело привычное".

Осталась память. Она и заставляет писать.

* * *

Книга создавалась стихийно, без заранее намеченного плана и четко просчитанного сюжета, а в итоге вобрала в себя события целого века, бурного, противоречивого, трагического, который и стал, по существу, главным героем. Как годовые кольца на стволе векового дерева нанизываются в ней судьбы, год за годом, поколение за поколением. Герои на страницах книги живут часто вопреки всему, а значит, на пороге третьего тысячелетия живы и мы. Думаю, в этом главный секрет обаяния творчества Поминова. Книга о прошлом оказалась в итоге обращением к будущему и потому состоялась. Ее финал остается открытым. Век закончился, век начинается.

Пётр Поминов, кандидат филологических наук

ПАНОРАМА МАЛОЙ ПРОЗЫ

Когда маленькая деталь становится смыслом большого повествования, поражаешься таланту, такту и уму писателя, сумевшего философски-эстетически осмыслить эпохальное явление. Но когда живая жизнь с ее масштабностью и глубиной полноценно отражается в бытовой миниатюре - тут уже думаешь о чуде жанра, способного камерно "переплавить" наиболее яркие приметы века.

Юрий Поминов работает в труднейшем литературном жанре - в жанре бытового этюда. Трудность его в том, что на страничке печатного текста (а порой в двух-трех фразах) нужно так умудриться запечатлеть частный случай, чтобы за ним "проглядывала" сложная человеческая судьба и неповторимый характер личности. А если к тому же за всем этим угадывается "лик эпохи", то перед нами уже полное торжество изобретательной малой прозы над капитальными литературными сооружениями.

Я не хочу сказать, что Ю. Поминов задался целью посрамить подобные сооружения. Вовсе нет. Он поставил перед собой другую задачу: двумя-тремя рельефными штрихами изобразить жизнь в самых будничных ее проявлениях. И, по-моему, справился с этой задачей блестяще. Его миниатюры, собранные в этой книге, с таким остроумием и нарочитой невинностью обобщают приметы нашего быта, что дают повод оптимистически прогнозировать судьбу малых жанров в хмурые дни господства толстых глянцевиных романов, когда, прочитав сотни страниц, ты не ощущаешь ничего, кроме пустоты, и сожалеешь о напрасно потерянном времени: овладел крепостью, которая тебе не нужна.

Мне попадались автобиографические описания, где детство и юность рассматривались как бы в телескоп - настолько они отдалены временем от пишущего. Ю. Поминову нечего прибегать к оптическому прибору - детские и юношеские годы не только не потускнели в его памяти, но стали нравственным стимулятором сегодня. Не в этом ли родство его "семейных" миниатюр с творческим почерком другого павлодарского автора, Людмилы Гришиной, создавшей очаровательную ностальгическую повесть "Родные и близкие"? Да, в детстве (советском) у каждого из нас было немало уродливого, но уважение к своим былым ощущениям и наивным, чистым побуждениям, романтизация быта, память о "родных и близких" определяют наш моральный облик в зрелые годы...

Вот эту мысль Ю. Поминов стремится внушить читателю не открытым текстом, а пристальным вниманием ко всем своим родственникам - кто бы они ни были: слабые или сильные, рядовые или незаурядные... Ибо если мы не манкурты, то должны осознать свои истоки.

Окно, распахнутое в прошлое, обнажает индивидуальное и неповторимое художественное мироощущение. Как много общего надо иметь со своими предками, чтобы на протяжении десятков лет после их ухода из жизни оставаться рядом с ними, совсем близко, как будто они и не уходили! В чем разгадка этой беспокойной близости? Конечно же, в непреходящей боли автора... Глубоко впечатляют мемориальные страницы, посвященные дедушке и бабушке по материнской линии. Они прожили большую жизнь, полную невзгод, и не заслужили даже легкой смерти - умерли в мучениях. Жили - мучаясь, и умирали - мучались...

А вот рассказ о бабушке по отцу - Марье Петровне. Ее долгая, долгая жизнь (98 лет), в которой отразились поэзия быта и вековая нравственность (она была неграмотной), свидетельствует, что никакая литература, никакое искусство этого не прививают - все воспитывается средой, традициями, коренится в менталитете народа. Не зря Булат Окуджава напомнил: шедевры литературы и искусства существуют тысячелетия, а в мире по-прежнему процветают зло, насилие, обман.

Сердечный интерес писателя к духовному миру родной матери определяет этическую концепцию всей книги. Какие бы "побочные" житейские истории не рассказывал автор, мы невольно воспринимаем и морально оцениваем их сквозь призму той истинно народной мудрости, носителем которой является простая русская женщина. Примечательно, что образ получился полноценным, несмотря на отсутствие авторской характеристики. Внутренний мир матери "компануется" из реплик, которые она произносит по различным поводам. Вроде бы набор цитат. А в сущности - свободная словесно-речевая реализация народного здравого смысла. Это надо уметь! "Глаза боятся - руки делают"... Да тут целая философия. Когда душа содрогается от растерянности перед нынешним днем и его непосильными задачами, в подобном взгляде на мир - свет спасения. Кто знает: может быть, мы и впрямь спасемся, если окончательно реабилитируем теорию "малых дел"...

А вот - не угодно ли? - "Богу молись, и черта не гневи!". В книге Поминова "Помню и люблю" этот афоризм был заповедью центристов. А в устах мудрой матери - это уже привитие холодостойкости при морозной погоде. Чтобы выжить. И продолжать делать свое дело. Кто сказал, что "переть на рожон" - признак большого ума?

Долг сердца подсказал писателю создать произведение "Память сердца", посвященное отцу. По формальным признакам это - повесть. Но не случайно в подзаголовке есть другое обозначение - "записки". И

действительно, перед нами опять-таки серия бытовых миниатюр, складывающихся в жизнеописание родного человека, вокруг которого группируются другие выразительные личности. "Я не буду ограничивать себя никакими жанровыми рамками, - предупреждает писатель читателя, - не буду заботиться о сюжете и композиции. Я буду писать, как будет писаться". Именно потому так легко и читаются эти записки, что в них нет нарочитого "угла зрения" и показного экспериментирования по части жанровых "слияний". Это - свободно льющийся рассказ, где тонкая наблюдательность объемлет необъятное (абсолютно стихийно!) и раскрывает объективный характер прекрасного, таящегося в самых грубых проявлениях быта. Уже в самом начале повествования, после мартиролога, запечатлевшего скорбный конец многочисленных дядек и тетек, автор сообщает, что его отец впервые заговорил лишь в пятилетнем возрасте - и сразу с маты...И в дальнейшем Поминов не всегда щадит отца, повествуя об обидах, которые он наносил людям. Но странное дело: чем чаще отец предстает в неприглядном виде, тем больше ощущаешь внутреннюю доброту его натуры и начинаешь понимать драму человека, который всю жизнь готовил себя для чего-то значительного и справедливого, но не мог этого осознать. Однако результат его неосознанной духовной целеустремленности налицо - в противном случае сыновья не были бы такими, какие они есть. Да прости мне читатель банальную истину: дети - зеркальное отражение своих родителей (хотя и не всегда). И если после их ухода наследники ощущают бездну свободного пространства, то в этом пространстве нет места памяти сердца и чистым помышлениям. Любопытен рассказ о младшем брате, ставшем кандидатом филологических наук. Жизненные перипетии, в общем-то рядовые, приобретают утонченно-юмористический оттенок, благодаря верно найденной интонации. Поэтому читать интересно, хотя читать в принципе не о чем. Вот попробуйте так написать: чтобы читать было не о чем, но чтобы ты с интересом и сочувствием следил за судьбой героя...Хотите узнать секрет? Он кроется в той же подспудной любви к "родным и близким", а легкие воздушные строки страхуют автора от разлива горячих чувств.

Очерк "Дядя Коля"... Еще одно подтверждение неутомимого интереса к своему роду-племени. Исходная мысль очерка такая: "Говорят, что когда уходит человек, вместе с ним исчезает целый мир. Я не хочу, чтобы с дядей Колей ушел его неповторимый мир... Но что я могу? Я могу рассказать о дяде Коле". И далее автор повествует о вечном трудяге-шофере, умельце на все руки, замечательном муже и отце, добрейшем человеке, который жил с достоинством и умер с достоинством. "Я всю жизнь буду ему должен", - говорит писатель в конце очерка...Да, чувство благодарности - великое чувство. И очень редкое. К сожалению...

Мне кажется, что этюды Юрия Поминова универсальны в том плане, что они в одинаковой степени рассчитаны как на тех, кто редко берет в руки книгу, так и на тех, кто давно владеет искусством чтения. Для первой категории читателей этюды могут восприниматься просто как занимательные житейские истории (это тоже неплохо), для второй - это повод задуматься над проявлением необычного в обычном. Но от опасности упустить истину не застрахован никто.

Вряд ли будет прав тот читатель, который решит, что миниатюры типа "Федя Попов" или "Гонорар за общение" носят исключительно анекдотический характер. Конечно, Юрий Поминов может и развлечь, и рассказать анекдотический случай, и это прекрасно, тем более, что любую абсурдную ситуацию автор молниеносно доводит до логической и смешной развязки. Нет, я веду сейчас речь о другом - о драматическом подтексте в наброске так называемых "чудиков" (словечко, узаконенное В. М. Шукшиным). Кто он, Федя Попов, съевший в один прием девяносто шесть пирожков - ненасытный обжора или человек, не знающий другого способа доказать свою непохожесть на других? Возможно, автор намеренно подготовил почву для мыслящего читателя, создав другой рассказ - отражательный - о серьезном волевом человеке, голодавшем долгие годы и захотевшем однажды взять реванш. В сущности, это две вариации на одну тему: персонажи - полярно противоположны друг другу, а естественность причиной последовательности событий - одинаковая. Вероятно, рассказы о "сумасшедших", одолевших редактора газеты своими фантастическими проектами, не заключают в себе никакого подтекста. Но мне хочется думать, что он все же есть, и ему принадлежит решающее значение. Безумен ли человек, предлагающий удалить внутренности ракет, просверлить корпус, а затем заполнить водой, чтобы поливать поля с вертолета? Вроде бы да. Но почему, в таком случае, мы считаем нормальным человека, который изобрел эти самые ракеты на погибель всему человечеству? Классики предостерегали нас от шаблонного мышления. В повести "Доктор Крупов" А.И.Герцен изложил парадоксальную теорию всеобщего и повального сумасшествия людей. В самом деле, кто сошел с ума: больной, вообразивший себя китайским императором, или врач, надевающий на себя все свои ордена при осмотре палат? Обратим взоры на наш повседневный быт. Кто безумен: бедолага, попавший в психиатрическую больницу, или преуспевающий бизнесмен, который решил снабдить персональным автомобилем каждого члена своей семьи, в том числе сына-четвероклассника?

Я не знаю, перечитал ли Ю. Поминов "Доктора Крупова" в процессе составления своей книги, но некоторые его этюды весьма удачно варьируют темы из старой русской классики, находясь с ними в тесном соседстве. Вот оскорбленный механизатор, получивший почетную грамоту и не расслышавший, что в придачу ему полагается еще и мотоцикл. А вот довольный трехлетний малыш, который давится ненавистной манной кашей - давится, но ест, так как получил ее "в награду" за хорошо прочитанный стишок... Разве это не отголосок толстовской теории, что в ребенке больше духовности, нежели во взрослом: сознание ребенка - чистое, оно еще не замутнено ложным смыслом материальных ценностей.

Ю. Поминов вынужден заменять некоторые действительные имена персонажей, в особенности, когда пишет о бывших партийных деятелях. Последние, впрочем, чаще всего безымянны. Тут, думаю, дело не только в писательском такте (еще живы те, которые осмеливались называть себя проводниками "мудрых" идей), но и в стремлении подчеркнуть вездесущность той или иной фарсовой ситуации. В этом отношении показательна миниатюра "Воспитательный момент". Всего лишь в одном эпизоде (анекдотическое исключение из партии беспартийного человека) запечатлена вся сущность бюрократической системы, при которой важна не суть, а

форма. При этом - полное наплевательство на судьбу человека. В сатирической концовке угадывается символ неминуемого краха тупой, бездушной системы.

Должен заметить, что Поминов решительно избегает разоблачительного пафоса. Наоборот. Подчас его ирония граничит с сочувствием и, пожалуй, с улыбочивой доброжелательностью. И это хорошо. Ведь не все партийные бонзы были бюрократами и карьеристами - они просто не соответствовали новому жизненному содержанию дальнейших времен. Одному из них, наиболее умному, эрудированному и талантливому, автор уделяет особое внимание. И есть за что. Бывший партийный вождь Павлодарской области не предал своей веры, не стал конъюнктурщиком, не унизился до отречения от своих идеалов. После краха советской власти он стал жить по пословице: "Уважай себя, если хочешь, чтобы тебя уважали" - и свой нерастраченный дар стал воплощать в стихах, которые публиковались под псевдонимом Василий Луков. Мини-очерк Поминова заканчивается так: "Готовится к выходу первая книжка его стихов. И кто знает, может быть, мы еще станем свидетелями настоящей популярности нового поэта..."

Как в воду глядел Поминов. Читатели знают: книга "Возвращение к себе" уже вышла в свет. И была положительно отрецензирована в периодике. И порадовала многими талантливыми строками. И огорчила поверхностным максимализмом. А в целом - действительно принесла автору настоящую популярность. Уж о ком - о ком, а о журналистах Юрий Поминов пишет с особым пристрастием. Тут удивляться нечему. Многолетнее пребывание на посту главного редактора солидной областной газеты "Звезда Прииртышья" позволило ему сполна испытывать и тяжесть духовного гнета со стороны властей, и горечь вынужденных компромиссов, и состояние катарсиса (очищения), после которого наступал период ясного и глубокого осознания жизненных конфликтов. Задумайтесь над этимодом "Кадры решают все". Здесь запечатлена ужасная процедура утверждения журналиста на пост главного редактора газеты. Процедура олицетворяет собой тот тип номенклатурно-бюрократического руководства, при котором контроль над умами и душами людей вызывает в памяти безудержные щедринские фантазии.

Тем, которые говорят, что "Звезда Прииртышья", руководимая Поминовым, - это конъюнктурная газета, я посоветовал бы внимательно, без предубеждения прочитать рассказ "Характеристика". Может быть, правдолюбцы поняли бы, какие усилия прилагает редактор в поисках дипломатических лазеек, чтобы сохранить свое журналистское достоинство и, идя на уступки, все-таки не стать рупором антинародных деклараций. И тогда, наверняка, прояснилась бы разница между официальными материалами и материалами, подписанными сотрудниками газеты.

...А уж образы газетных "волков"! Здесь я хочу выразить свое личное восхищение очерком "Рыба". Его герой - Семен Семенович (имя и отчество, конечно, изменены) - в галерее тех самородков, которые "прекрасны именно своей первозданностью и которым не нужна никакая шлифовка". Я знал этого Семена Семеновича еще со студенческих времен (вместе учились в КазГУ на одном факультете) и свидетельствую: характер схвачен с поразительной точностью. Бездарный журналист, не способный написать хорошо даже для студенческой стенгазеты, классический тип халтурщика и конъюнктурщика, а вот поди ж ты - милейший человек в быту, рубаха-парень, высокий и плечистый, как Маяковский, обаятельный собутыльник, способный не просто украсить любую компанию, но и взять власть над ней "тихой сапой" и громким баяном... Есть же, есть такие личности, которые, подделываясь под "текущий момент", считают, что это все - суета сует. Их незаурядность, пылкость и обаятельность проявляются прежде всего в быту. Может быть, здесь и впрямь кроется осколок истины?

Ю.Поминов рассказывает о забавных, порой трагикомических ошибках и опечатках на газетной полосе. Симптоматично, что некоторые опечатки - стихийно! - срывают покровы с лицемерия и лжи, неожиданно выявляя истинную правду во всей ее наготе. Так, например, "всенародно избранный Президент" было напечатано как "внеародно избранный Президент" - то есть "н" вместо "с" в первом слове. И подтасовка выборов стала документальным фактом, запечатленным в газете... О том, что подобные казусы могут стимулировать научные занятия дотошных лингвистов, уже не говорю.

Признаться, меня в некоторой степени умиляет стремление Поминова вырвать из общей массы личность и придать ей черты неповторимости. Ему очень хочется, чтобы человек, обреченный кануть в бездну забвения, остался бы жить хотя бы на одной страничке печатного текста. В первую очередь он пытается "спасти" своих бывших однокурсников. И он их действительно "спасает": вот красавец Вовка Беев, поражающий воображение женщин разных возрастов и специальностей; вот бесталаный ловкач, сумевший добиться сногшибательной административной должности; вот впечатлительный романтичный студент, купивший на последнюю пятерку бутылку вина, полбуханки хлеба и банку дешевых консервов, чтобы справить поминки по похороненной любви к своей однокурснице. Все эти личности, с одной стороны, заурядны, с другой - неповторимы. У автора подспудно пробивается мысль, что в природе нет ограничений для проявления качества человеческой природы. А "тревожные запросы совести и морали" (Ольга Форш) - что поделаешь! - удел не всех смертных.

Правда факта и художественная правда, как известно, - разные вещи. Порой всего лишь восемь или десять строк могут у Ю. Поминова приобрести ослепительную ширину. Миниатюру "Психология очереди" хочется процитировать полностью (не беда, если читатель прочитает ее дважды):

"За многие годы Советской власти, особенно за последнее время, у людей, а у номенклатурной верхушки в еще большей степени, сформировалась устойчивая психология очереди: ненавидеть тех, кто впереди, презирать тех, кто сзади, и, по возможности, расталкивать локтями тех, кто рядом..."

Приходится констатировать: новые времена в этом смысле мало что изменили".

Вот и все. Но сколько здесь горькой иронии, сколько глубины и точности в крохотном тексте!

Природа и труд у Поминова - главные воспитатели человеческих душ. Об этом - серия небольших очерков "Пора сенокосная". Здесь улавливается скрытая полемика с приверженцами так называемого "кнопочного

труда". Труд (подчас тяжелый, изнурительный) - это, в сущности, проверка не просто на физическую выносливость, а прежде всего - на нравственную стойкость. И вот перед нами предстает дядя Митя, тракторист, неутомимый и бескорыстный труженик, тип народного умельца и доброго человека, на котором держится земля. И - неотразимое счастье подростка, хорошо поработавшего на сенокосе: "Высокое черное небо дружелюбно подмигивает мне ясными глазами звезд. Ближе к полуночи звезды начнут падать: конец августа - пора звездопада. Надо поймать момент и загадать желание...Но неожиданно ловлю себя на мысли, что мне ничего не нужно от падающей звезды. На душе тепло и уютно: вот так бы ехать и ехать далеко, далеко...И я лежу, наслаждаясь тишиной и покоем, и думаю о том, как это здорово - жить под этим добрым небом..."

В этом финальном фрагменте выражен подлинный культ бескорыстия, о котором подросток еще не догадывается. А творческая манера автора близка к жанру "стихотворения в прозе", где мысли выражаются не столько открытым текстом, сколько самим строем художественной речи, его эмоциональностью.

Не случайно многие миниатюры в этой книге можно без всякого риска отнести уже к самостоятельным образцам этого жанра. Истинными стихотворениями в прозе я назвал бы такие этюды, как "Сила жизни", "Мелодия дождя", "Дороги", "Скворцы прилетели", "Тихая охота" (последний этюд, впрочем, уже похож на маленькую поэму). Здесь я нахожу все признаки жанра, некогда облюбованного И. С. Тургеневым, а потом - Солоухиным и Солженицыным (в "Крохотках"): богатую ассоциативность, поэтическую аллегорию, сложные обобщения. Внутренний мир отражен как в стихах - отсюда музыкальность речи... А странная выходка способна осветить человеческую душу, очистив ее от бытовой угнетенности. Такова малюсенькая новелла "Просьба". Один человек звонит по междугородному телефону другому человеку и просит его спеть на пару "Когда мне невмочь пересилить беду"...Эта новелла - о волнующей "проницаемости" истинного искусства, которое сближает людей, разделенных тысячами километров...Нужны ли после этого ученые трактаты о народности песен Окуджавы?

"Буран" - вариация на заманчивую классическую тему (Пушкин, Толстой). Вместо тройки лошадей - заблудившийся автобус, который с трудом пробивается к совхозу и, обессиленный, застревает на улице. А потом - восемь дней пребывания героя в чужом доме, пока неистовствует буран. Борьба человека с природой заканчивается вничью, вернее, общим примирением. Если бы всегда существовал разум!

Особое место в книге Поминова занимают "американские записки". Интересная бытовая живопись, вдумчивая наблюдательность, щепетильная детализация, которая трансформируется в целостное видение, а вместе с тем простота, непринужденность и юмор располагают к "семейному чтению" этих очерков вслух. Возможно, у слушателей останется и легкое чувство горечи: за блеском, сверканьем и фейерверком американского образа жизни скрывается заурядность - мало что возвышает душу. Но комфорт обслуживания - в гостинице или на олимпиаде - ошеломляет: суета сует, но облегчает жизнь, украшает ее, дает возможность почувствовать себя полноценным человеком. Раз для тебя столько делается - значит, ты чего-то стоишь...

"Живу" - такое название дал автор своей книге. О! Название не столь простое, как может показаться на первый взгляд. Попробуем разобраться.

В одной из новелл, идет речь о том, как журналист "прфукал" свою жизнь, полагая, что занимается полезным делом. В другой новелле речь о том же. Но если в первом случае герой - жертва ложного представления о духовных ценностях, то во втором - жертва "романтической дури". Эти новеллы легко сопоставимы. Ибо и в том и в другом случае человек проживает чужую жизнь.

Тайны человеческой психики... Автор принципиально отказывается разгадывать их - пусть читатель сам приложит усилие, чтобы понять, что такое истинная жизнь и истинное величие души. Вот одна из загадок.

Зек-агроном заводит в Карлаге садово-огородное хозяйство, экспериментирует, пытается вывести засухоустойчивый сорт степной вишни, и когда приходит полная реабилитация, готов повеситься на единственном дереве и... остается жить вблизи мест, где отбывал заключение, продолжая заниматься любимым делом... Не знаю, как кому, но мне сразу же вспомнилась история потомственного дворянина, поэта-декабриста Владимира Федоровича Раевского. Восланный в Сибирь, он там занимался земледелием и женился на бурятке. Получив через двадцать лет амнистию, он побывал в Москве и Петербурге, посмотрел на суету сует, махнул рукой и... вернулся к своей бурятке и к своему огороду. Что же произошло с человеком: духовное оскудение или духовное прозрение? Омертвление или воскресение души? Выдержал ли он все трудности и испытания или адаптировался, сдался? Попробуйте найти однозначный ответ.

Ну а над названием книги Юрия Поминова я не ломаю голову. Убежден: автор - Живёт! Живёт, а не прозябает. Живёт своей жизнью, а не чужой. Живёт реальными чувствами, поднимающими художественное сознание писателя и моральный долг журналиста. Живёт с подлинно человеческим отношением к людям и с доверием к ним. Чего он, несомненно, желает своим читателям.

Наум Шафер.

Содержание

Слово к читателю

Помню и люблю

Такая долгая жизнь

Дед Тимофей и бабушка Акулина
Золотое слово
Записки об отце
"Блажен, кто посетил сей мир..."
По ягоды
Пора сенокосная
Дядя Коля
Рыжие, они счастливые
У сестры
Я помню...

У нас на курсе

Гусар
Любимец удачи
Президент, или Нераспознанный талант
Похороны любви
Женитьба Степиндиата
Метаморфозы Ефимова

В одной редакции

Как я был Ломоносовым
Рыба
Беркутов
Мартыныч
"Мы пьяницы..."
Парамоныч
Странник
Редакторские были

Жизнь такова...

Кадры решают всё
Характеристика
Ошибка
Как я выполнял программу "Рыба"
Как мой друг Степан Зыков в депутаты ходил
Номенклатурные были
Характеры
Штрихи времени

Моя американская одиссея

Как я чуть не поехал в Америку
Как я открывал Америку

Японская мозаика

Блёстки

Встречи с чудом

Панорама малой прозы
Полынь в Америке